С.А. Нилус
Сила Божия и немощь человеческая

СОДЕРЖАНИЕ

Необходимое предисловие

Часть первая
Игумен Феодосии (Попов)

Часть вторая
Самоотверженная игумения

Несчастный

Из мира Божественной тайны (К двухсотлетию кончины святителя Митрофана)

Свидетельство живой веры
- I. Истинное событие из жизни княгини Анны Феодоровны Голицыной
- II. Дивные откровения в сновидениях крестьянской девушки Евдокии
- III. Видение одного послушника
- IV. Замечательное сновидение

Христос воскресе!

Вражья сила

Марко Фраческий

Повесть о пяточисленных молитвах

Необходимое предисловие

Господи, благослови!

Выпуская в свет ряд очерков из жизни близких к нам по времени православных христиан, но таких, - увы! - далеких по духу для большинства моих современников, я долгом своим почитаю, прежде всего, предварить моего боголюбивого читателя о том, что все написанное в них одна сущая правда, в которую лично я верю всем сердцем моим, всем умом, всем помышлением, и без этой веры моей, за которую готов постоять до последней минуты моей жизни, я не позволил бы себе требовать от читателя моего внимания к малому труду моему из страха грядущего Страшного суда Господня, на котором каждый христианин, а в их числе и моя христианская немощь, должен неизбежно или оправдаться от слов своих, или осудиться; и от этого страшного осуждения да избавит меня Господь!

Непрестанно сокрушаясь о всеобщем, казалось мне, оскудении веры в христианском мире, сердцем своим с великой горечью и болью отзываясь на установившееся в мировой христианской жизни зло братоненавидения и человеконенавистничества, видя, как христианский мир заливается кровью войн и усобиц, с ужасом обращая свой испуганный взгляд на богоотступничество цвета русского общества, призванного стоять во главе умственного и нравственного развития истерзанной и окровавленной Родины, этой Богом поставленной хранительницы православного духа, я, признаюсь, в законном ослеплении своем, был уверен, что угас уже истинный дух Православия в России, оскудел преподобный*, не стало праведника, и, стало быть, неизбежна для нее, а с нею, по слову великих русских подвижников духа, и для всего богоотступнического мира участь библейских Содома и Гоморры. Окружающая меня и всякого верующего христианина грозная действительность не давала ли мне права питать эти мысли?!..

---

* Пс. 11,2.

Но в глубинах народного сердца, зримых одному Богу, еще недавно жила такая полнота и сила духа Христова, так близка была еще недавно к Богу живая вера русского человека, что не могло мое сердце мириться со страшной и

братоубийственной мыслью: нет в России седми тысяч, которых соблюл бы Себе Господь и которые еще не подклонили выи своей Ваалу... И я искал их всем сердцем своим, всем помышлением моим, и, видит Бог, нашел, но не там. где светит кровавый свет мира сего, не на высотах человеческого разума, а в тайниках сокровенных народного сердца, в среде тех немудрых мира, которых от века избрал Себе Бог, чтобы посрамить мудрых, чью немощь Он предопределил, чтобы посрамить сильных, чья слава и проповедь делом Христовой любви и самоотвержения заключены не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, данных им для того, чтобы, по слову апостола, вера наша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

И многих рабов Своих нелицемерных и истинных показал мне, ищущему. Господь, и во главе их под перо мое просится одно великое для Православной и самодержавной России имя, к которому с трепетной надеждой и верой обращены взоры всех истинно русских людей и от кого, после Бога, они ждут своего спасения. Но о живых праведниках, какое бы они место в мире ни занимали, от самого великого до самого низкого, - не леть ми и глаголати*, и потому до времени сохраним имена их только в своей молитвенной памяти.

_____

* Нельзя мне и сказать.

_____

Но мир праведников, недавно отшедших ко Господу, - это уже достояние всех хотящих на их примере жати свое спасение; о них я и поведу здесь, в моих очерках, речь свою в радостной надежде, что одним, совершенным, она будет в утешение, а другим, ищущим Бога в истине, а не "в препретельных земной мудрости словесах"*, она послужит в утверждение и в вечное спасение в небесных обителях Отца и Царя нашего Небесного.

_____

* "В убедительных словах человеческой мудрости" (I Кор. 2,4).

_____

Христос Господь, Бог наш, в Троице славимый, вчера, днесь и во веки Той же, и потому в ряде очерков, предлагаемых вниманию боголюбцев, я, начав жизнеописанием игумена Феодосия Попова, во всём всем нам подобострастного

человека, заключаю свой малый труд преподобным Марко Фраческим, о котором писано с таким вдохновением четьн-минеями, столь основательно позабытыми теми, кто почитает себя цветом современной образованности.

Главнейшая же цель труда моего - на достоверных показаниях и примерах близких нам по времени христиан утвердить в сердце моего читателя непреложное свидетельство апостольской истины, явленной в словах апостола Павла в его втором послании к коринфянам: "Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на Небесах, дом нерукотворенный вечный!" (2 Кор. 5,1).

Труд мой ничтожен - он труд только списателя верного, но и за него молю и прошу того, кому он придется по сердцу, не оставить грешного моего имени поминовением молитвенным к Творцу всяческих.

Сергей Нилус

Часть первая
Игумен Феодосий (Попов)
Предисловие

"Иисус Христос вчера и днесь. Той же и во веки". (Евр. 13, 8).

Так в Духе Святом утверждает святой апостол Павел, обращая свое вдохновенное слово к Церкви верующих всех стран, всех времен до скончания века. И слово это как слово Божие измениться не может; и как Церковь Божию, так и слово апостольское не одолеют и врата адовы, - этому верит христианская вечность, должны верить и мы, православные христиане, предназначенные к вечности, к вечному спасению, к вечному радованию, к вечному царствованию вместе с Царем славы, Христом Иисусом. Такова вера наша, и с этой верой, Богу милующу, мы и отойдем в Царство света немерцающего и незаходимого.

Но как горькая действительность мало соответствует светлым христианским упованиям! Где сила Христова просвещения духа человеческого? Где подвижники духа? Где вера их? Где сила их, переставлявшая горы? Где явно действующая благодать Духа Святого? Где они, великие светильники веры,

преподобные, эти Ангелы во плоти, нас спасающие?..

Тревожное сердце христианское, недоуменно и втайне озираясь на окружающую его действительность, с тревогой, близкой к отчаянию, готово вопросить Господа своего: да есть ли теперь даже и спасающиеся? А злобный дух времени земным шепотом отступничества уже шепчет рабам своим: христианство дискредитировано, - долой христианство, долой Церковь, долой монашество, попов, долой все предрассудки и суеверия веры, тормозящие движение земной культуры, прогресса единого бога - человеческого разума! Царь мира - плоть, вечное блаженство - царство всеобщей сытости! Прочь призраки и мечтания слабых разумом, обольщенных и обольщаемых своекорыстными жрецами!..

Вот какие речи ведет к своим ученикам и последователям дух времени сего, князь мира сего, торжествуя уже близкую свою, конечную победу над ослабевшим в духе христианством. Так, по крайней мере, думает отступнический мир.

"Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк. 12, 32). На все времена сказано было это слово нашим Спасителем и Богом: во все времена стадо Христово, верное своему Пастыре-начальнику в полноте духа и истины, было не велико, потому что всегда был тесен и прискорбен путь Креста Христова и широко отверсты врата, ведущие в погибель. В конце же времен, при внешнем и кратковременном торжестве зла, оно будет казаться еще меньше, но все-таки будет Церковью, которую не одолеть всей силе вражьей.

И теперь, в наши лютые и многобедственные времена, еще живут и работают на Божией ниве незримые миру Божий трудники, те "седмь тысяч", которых соблюл Себе Господь и которые не подклонили выи своей Ваалу.

В одну из поездок моих в Оптину пустынь, за беседами с богомудрыми старцами, довелось мне услыхать об одном из членов этого святого братства, игумене Феодосии, скончавшемся в 1903 году и последние годы своей жизни приютившемся на покой под тихую сень скита великой духом Оптинской обители. И все, что рассказывали мне об этом старце, до того было близко моему сердцу, так трогательны были еще живые воспоминания, что я невольно им заинтересовался. Богу угодно было раскрыть мне душу этого молитвенника и дать мне в руки такое сокровище, которому равного я еще не встречал в грешном своем общении со святыми подвижниками, работающими Господу в тиши современных нам православных монастырей.

Сокровище это - автобиографические заметки в Бозе почившего игумена, которые он составил незадолго до своей праведной кончины. Со времени учреждения православных монастырей не было примера, чтобы кто-либо из их насельников и подвижников оставил о себе воспоминания, касающиеся самой интимной стороны жизни монашеского духа, сохранил бы подобную историю своей души, стремящейся к Богу, своих падений и восстаний, и поведал бы о силе Божией, в его немощи совершавшейся и неуклонно руководившей им на пути к земному совершенствованию в благодати и истине и к Царству света невечернего.

Тем и драгоценны эти заметки, что они с необыкновенно правдивой ясностью указывают нам, что и в наше время, и в ослабевшем нашем христианском духе, возможен и всякому доступен с Божией помощью путь спасения и соединения с Господом Иисусом, Который все Тот же, что был от создания человека и останется Тем же во веки. С необычайной живостью ведется эта летопись сердца почившего игумена и раскрывается история земного испытания этой христианской души. С редкой правдивостью, с какой автобиограф не щадит и самого себя, повествуется им и о той мирской и монастырской обстановке, в которой трудилось его сердце в искании Бога и Его вечной правды: как живые, воскресают перед читателем события недавнего прошлого, тени тех средних русских людей, из которых одни из них работали над созданием храма Божьего в сердце Православной России, а другие по слабости своей и неведению - над его разрушением.

С редкой силой, с летописной простотой ведется удивительное повествование это о людях, о событиях, о душе человеческой и о силе Божией, над всей их немощью совершавшейся, и сам игумен восстает перед читателем во всей яркости своего духовного облика.

Уверенный в особой назидательности этих заметок почившего игумена как для верующего православного люда, так и для монашествующей современной братии, я разобрал их, связал их, по силе своего разумения, в одно целое, не убавив и не прибавив в них ничего своего, самоизмышленного, и даже, по возможности, сохранив слог и способ выражения мыслей самого автора. Покойный, не получив законченного образования, не мог создать цельного литературного произведения, но природное дарование его было не из заурядных, и оно дало в его заметках такой богатый и яркий, литературный, бытовой и психологический материал, что легок был мой труд, который я теперь предлагаю

вниманию и назиданию моего дорогого читателя.

В напутствии к биографии игумена Феодосия сообщу характерную черту прозорливости великого старца и наставника монашествующей братии Оптиной пустыни и всего православно-верующего мира, отца Амвросия Оптинского, под чьим духовным крылом воспитывался и отец Феодосий.

Жил игумен Феодосий уже на покое в скиту Оптиной пустыни и, несмотря уже на известную только одному Богу степень своей духовной высоты, нередко подвергался искушению от духа уныния, столь знакомого всем, кто внимал своей духовной жизни. В одно из таких искушений прибегает старец-игумен к старцу Амвросию и почти с отчаянием плачет к нему.

- Батюшка, спаси - погибаю! Свинья я, а не монах: сколько лет ношу мантию, и нет во мне ничего монашеского. Только и имени мне, что - свинья!

Улыбнулся старец своей кроткой улыбкой, положил свою руку на плечо склонившегося перед ним и плачущего игумена и сказал:

- Так и думай, так и думай о себе, отец игумен, до самой твоей смерти. А придет время: о нас с тобой, свиньях, еще и писать будут.

Это мне рассказывал один из сотаинников жизни покойного игумена, ныне здравствующий отшельник оптинский.

Лет двадцать прошло с этих замечательных слов блаженного старца, и суждено было им исполниться через мои грешные руки, руки того человека, который в то время сам так далек был не только от подвижников монашества, но и православным-то числился по одной метрике, выданной Московской Духовной Консисторией для поступления в гимназию.

"О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!" (Рим. 11, 33).

Записки игумена Феодосия о своей жизни

I

Относительно моей родословной вот что я не раз слышал в юности лично из уст моего родителя.

Пращур наш местожительство имел в селе Медике, в двенадцати верстах от города Балашова Саратовской губернии. В то время город этот был ни что иное, как деревня, принадлежащая помещику Б... у, а селение Мелик - несколько сотен мордовских семей язычников-идолопоклонников мордовцев. Мой пращур был их старший повелитель и начальник. Когда Петр I, желая скрыть свои благодетельные и мудрые планы от наблюдения кабинетов европейских держав, строил в Воронеже флот для взятия Азова, пращур наш, без всякого со стороны правительства к тому побуждения, возымел собственное желание принести, по силе возможности, дань своего верноподданического чувства, и когда Государь нуждался в материальной помощи, он нарубил для него несколько сот вековых корабельных дубов, срубил их в плоты и собрал несколько тысяч пудов ржаной муки от всех подвластных ему племен. Все это он желал доставить в кулях на плотах по рекам Хопру и Вороне. Но, так как в то время не было в той стране хороших лоцманов, и по рекам не было открыто судоходство, то план его не осуществился, и цель не была достигнута. Плоты, которые были спущены с грузом кулей муки во время полой воды, занесло в рукава заливов, а некоторые и вовсе потонули. Только несколько плотов догнали до Новохоперской крепости. С великим горем ускорил мой пращур на лошадях в Воронеж и предстал пред лицо Державного и объяснил ему о неудаче своего предприятия. Петр не оставил без внимания усердия мордвина и пожаловал ему в знак своей милости водяную мельницу на реке Хопре, близ села Репного, в вечное потомственное владение и несколько десятин лесу с землею, на что была выдана грамота, впоследствии записанная в церквах Репинской и Беломойской.

Подаренный лес был окопан глубокой канавой, следы которой и я не раз видел, когда езжал с родителем моим на охоту с ружьем осенью за зайцами. Местность эта поднесь называется "Крутина", а прежде называлась "Лес Вагаева", по прежней нашей коренной фамилии.

В бытность свою в Воронеже пращур мой не раз удостаивался беседовать со святителем Митрофаном и был им научен таинствам Христовой веры и был крещен в реке Воронеже, а по возвращении своем в село Мелик он убедил всех жителей этого села принять Святое Крещение. Впоследствии пращур мой, по усердию своему, выслал одной из Цариц отлитый по его заказу колокол, который был цел еще и во дни жизни моей бабки. Рассказывая мне об этом событии, бабка моя сказывала мне, что мельницей и лесом мы владели до царствования Екатерины И. Когда же эта великая Государыня повелела размежевать земли по принадлежности, то в это время прибыл к прадеду моему

межевой и сказал ему секретно в его доме:

- Вагаев! Если ты не дашь мне пяти рублей, то я мельницу и лес твой отмежую в другие дачи, а тебе отрежу в другом месте, пониже.

Но у прадеда моего был на это свой особый взгляд: за что, де, я дам пять рублей? Что может он мне сделать? Я имею царскую грамоту, никого не боюсь, денег не дам, а нужно будет, и до Царя дойду.

- Эй, Вагаев! Дай - тужить будешь, - говорил землемер, - синяя - не велики деньги.

- Ладно! - отвечал ему пращур, - мы сами знаем, где Царь живет.

И уперся на своем. Земля с мельницей была прирезана к другой даче, а ему было велено построить мельницу ниже. С мельницы семью пращура выгнали, и бабушка моя со своей матерью пошли по плотине, оглашая воздух раздирающими сердце воплями. Завелась тяжба. Прадед со своей грамотой - в Петербург, и здесь, уже на опыте, хотя и поздно, узнал русскую народную пословицу: "до Бога высоко, а до Царя далеко". Истратив там порядочный куш экономией и трудами накопленных тысяч и не дождавшись чего-либо в свою пользу, он с грустью позднего раскаяния окончил в Петербурге свою жизнь, а все бывшее при нем имущество пропало бесследно. Событие это тяжко отразилось на благосостоянии его семьи. Впоследствии даже следы этой грустной истории были уничтожены господином Струковым, местным предводителем дворянства, который под видом расследования выпросил у моей бабушки крепостные документы и бросил их в печку. Мельница поступила в опись Палаты Государственных Имуществ и с того времени сдается с торгов от казны в арендное содержание.

Чтобы покончить со всей этой бесконечной тяжебной историей, начальство, во избежание возобновления наследниками дела, велело и самую нашу фамилию из Вагаевых изменить в Поповых. Хотя и поныне еще есть потомки Вагаевых, но родовая земля, лес и мельница давным-давно не принадлежат им... Такую роль в жизни нашего рода сыграла пятирублевая синяя ассигнация... Кажется, нельзя было бы этому и поверить, но, к несчастию, это правда из времен... Шемякина суда.

Еще, я помню, видел крепостные наши документы пятикопеечного достоинства. Да к чему они? Прадед и землемер давно уже в сырой могиле превратились в

тление до будущего Суда и вечной жизни, и те самые синие пятирублевые ассигнации заменены теперь государственными кредитными билетами.

Проходит образ мира сего.

Вот имена моих ближайших родоначальников:

Прадед моему отцу - Симеон, жена его - Соломония.

Дед - Иаков, жена его - Фекла.

Отец - Родион, жена его - Васса.

Родитель мой - Афанасий, мать моя - Агафия.

Братья мои: Феодор, скончался в 1846 году на двадцать первом году от рождения, Иоанн родился в 1835 году (я был восьми лет).

Сестры: Екатерина, Пелагия.

Всех же нас у родительницы было двадцать один человек, но те умирали во младенчестве - году, трех и пяти лет.

Родительница моя умерла в 1851 году двадцать седьмого сентября и похоронена на общем кладбище (Новом) в городе Балашове на пятьдесят первом году от рождения своего. Родитель скончался в 1857 году седьмого августа на шестидесятом году, а погребен в селе, бывшем городе Добром, Лебедянского уезда Тамбовской губернии, близ Тихвинской церкви.

Сотвори им. Господи, вечную память!

Прошу всех православных с поклоном до земли и с росой сыновнего усердия на ресницах, поминать их имена на проскомидии и в частных своих святых молитвах, и благий Господь в милости Своей да помянет всех нас. Аминь.

II

Говаривала мне моя бабушка: "Когда я была лет восьми или девяти, мы жили в селе Репном от города Балашова в семи верстах. Я любила очень ходить в церковь и, как услышу звон колоколов, сзывающий народ к обедне, так сейчас и бегу в храм Божий. Бывало, и в будни я так-то, ради церковной службы бросала игры с подругами, с которыми бегала по зеленой траве, ловя бабочек и как

зазвонят в церкви, так оставляю все и бросаюсь в церковь. В церкви я становилась у самого амвона, против царских врат, и зорко следила за всеми действиями священника. Причина моих наблюдений за священником была та...что однажды, бывши в праздник с моими родителями у обедни я видела над престолом, немного повыше головы священника, прямо над Святой Чашей парящего Голубя, Который был бел, как снег, и неподвижно, едва заметно трепеща крыльями, держался в воздухе. И видела я это не раз, и не два, а несколько раз, о чем я передала своей подружке, бывало, и мы всегда с нею, как только, услышим звон колокола, так и бежим изо всех сил, желая перегнать друг друга, и станем вместе у амвона, дожидаясь появления блестящего белого Голубка. И уже как же любили мы Его за то, что Он был такой беленький, такой-то хорошенький!

Но были дни, когда мы так и не могли дождаться этого чуда, которое совершалось только во время служения старика-священника (отца, если я не ошибаюсь, священников, ныне служащих Алексия и Иоанна Росницких). Только в его служение мы и видели нашего Голубка. При другом священнике этого не бывало. Когда же мы объяснили это нашим родителям, а родители сказали священнику Росницкому, с тех пор мы с подругой более не видали чудного Голубочка..."

Бабушка моя, как я ее помню, была очень богомольна: целые ночи без сна, стоя на коленках, она маливалась Богу и делала это она всегда в потемках, в спальне или в зале, где только не было людей. Когда зимой на полу стоять было холодно, бабушка становилась молиться на лежанку и, забывая, где она и что она, полагая поклоны, незаметно приближалась все ближе и ближе к краю лежанки и, наконец, падала на пол. И случалось это с ней не раз. Мы, как несмысленные дети, бывало, засмеемся, восклицая: "Ну, бабушка наша опять полетела!" А бабушка, как ни в чем не бывало, влезет опять на лежанку и опять станет на молитву. Иногда, сделав один земной поклон, она засыпала на поклоне и в таком положении храпела, что ее было слышно в других комнатах. Так продолжалось несколько минут. Скоро она опять пробуждалась и опять принималась молиться и класть земные поклоны.

Были дни, когда к ней приходили ее родные сестры, тоже старушки, одна - из села Репного, а другая - городская. Те жили очень бедно, а родитель мой жил в довольстве, и бабушка моя по жизни своей была много счастливее их... Бабушка принимала своих сестер с особой лаской и гостеприимством и заставляла меня по вечерам читать акафист Спасителю и Божией Матери, а сами старушки

становились все на колени, молясь Богу, и со слезами на глазах вслух произносили за мной: "Радуйся, Невесто Неневестная!" или "Иисусе Сыне Божий, помилуй нас!". После этого они меня заставляли читать, что я и делал с великим удовольствием, помянник, что в Псалтири, который начинается так: "Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твоя, от века сущия, ихже ради вочеловечился еси и распятие и смерть спасения ради право в Тя верующих претерпети изволил еси", и т.д. Все это сопровождалось земными поклонами. Затем шли моления за Царя и за всех, "иже во власти суть", и оканчивалось: "Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения отцем и братиям, и сотвори им вечную память".

После этих молитв, если зимой бывало еще рано ужинать, заставляли они меня читать Киевский патерик, или четьи-минеи, или что-либо из Библии - Бытия, Иова, Товита, или про Иосифа. Я читал, а семейство наше все безмолвно слушало и нередко отирало набегавшие и катившиеся по щекам слезы. Прискорбно нам тогда бывало, когда старший брат мой, Феодор, приходил из конторы и начинал читать литературные произведения светских писателей - Загоскина, Марлинского, Полевого, Пушкина и других, к чему он имел особенное пристрастие. Маменька моя любила его чтение, и он, бывало, с улыбкой на устах, скажет нам:

- Ну, отцы, убирайтесь-ка в другую комнату. А нет - так милости прошу к нашему шалашу послушать и нас, грешных.

И случалось, что мы сидели и слушали, и улыбались при чтении каких-нибудь смешных повестей; хохотали же, обыкновенно, всякий раз, как брат читал Гоголя. Бабушка послушает, послушает и закончит тем, что скажет:

- Бознать, что за галиматья! И слушать-то нечего. То ли дело Священное-то Писание: там, как в зеркале, видишь свои немощи и поплачешь о своем окаянстве. А это что? Слова нет о вечности... Зубы только скалить! Эх, вы дураки, дураки!.. Не читай, Федюшка, эти балье* читай более Священное Писание, оно более тебя умудрит и просветит ум твой, чем эти умники-то своими писаньями: время только тратят понапрасну. Умница писала, дураки читают, а полоумные слушают, да зубы скалят... Полно вам! Идите-ка молиться Богу да ложиться спать, чем празднословить.

_____

* Балье: обман (бачий - обаятель, колдун, баламут).

_____

Часто бабушка, угощая меня чем-нибудь, говорила:

- Смотри, Федя, умру - поминай меня!

Я всегда ей обещался. И все наши с ней посиделки она всегда заканчивала словами:

- Смотри, не забудь, а то и помянуть-то некому будет: я на энтих краснобаев-то уж и не надеюсь.

III

Однажды пришла моя бабушка зимой от утрени. Родитель мой еще не вставал. Побранив его за леность, она сказала:

- Встань! Запиши для памяти...

- Чего, матушка? - спросил родитель.

- Запиши: озимые хлеба будут ныне летом плохие - лебеда уродится. Ранние пшеницы вовсе не родятся, средние будут хороши; гречи мороз убьет, а проса вовсе пропадут...

Родитель записал бабушкино предсказание, и время его в точности оправдало.

На другой год пришла она тоже от утрени зимой в какой-то праздник и сказала:

- Ну, Афанасий! На лето будет страшный голод - ничего не родится.

Упросила родителя, чтобы он дал денег на покупку ржи:

- Поверь мне, - сказала она, - увидишь, что я не лгу - голод, голод и голод-то будет страшный.

Родитель дал четыреста рублей ассигнациями, и она сама ездила в село Беково и купила там сто четвертей ржи, которую родитель всыпал в порожние винные бочки, вставив дны, и они стояли до весны рядами близ подвала. Когда же началось народное бедствие от голода, бабушка с изволения родителя, взяла себе

еще другую женщину из хлеба и эта женщина только и знала, что пекла хлебы, а бабушка резала их на ломти и раздавала нищим, которые сотнями стояли у наших окон. Голод был ужасный. Что только не ел тогда бедный народ! Уже не говоря о лебеде, толкли древесный лист, кору, даже гнилушки, отчего многие пухли и умирали. Пуд ржаной муки доходил до полутора рублей серебром, что составляло по тогдашнему счету на ассигнации пять рублей двадцать пять копеек и дороже.

Бабушка моя лечивала и неизлечимые болезни и притом самыми простыми средствами: девятисилом, полынью, чернобылью и тому подобным.

Однажды ей знакомый доктор сказал:

- Смотри, Семеновна, ты со своими лекарствами попадешь в острог: умрет какой-нибудь скоропостижно, и скажут, что ты его отравила.

- А ты не смейся! - отвечала ему бабушка, - смотри - сам как бы не приехал ко мне лечиться. Знаю я вас: вы все на словах-то лекаря, а на деле-то вас и нет.

Вскоре этот доктор впал в опасную болезнь и не миновал-таки он рук моей бабушки, которая его и вылечила. После выздоровления своего от бабушкиного лечения он дивился и говорил:

- Никуда мы со всей своей медициной не годимся против Семеновны.

А бабушка моя, слыша те речи, отвечала:

- Не наука ваша виновата, а вы плохо ей учились и когда лечите, вы относите к себе. А вы бы сперва помолились Богу, да попросили бы Его помощи. А этого-то ведь у вас и в уме нет. Вы только тогда к Богу-то прибегаете, когда вас самих заберет черная немочь. А чуть прошло, ну и опять заболтаете такую дичь, что гнусно слушать... Вольнодумцы! Хоть бы уж сознавались себе, что, дескать, мы виноваты, а то - куда тебе! - хлебнут дури-то без меры, да и кричат, как безумные: Бога нет!.. Вот и слушай вас, ученых дураков!

Сходить бабушке, бывало, за десять или двадцать верст, посетить и навестить больного - это для нее ничего не значило, и дома никому о том не скажет. Выдавали бабушкины тайны иногда знакомые мужички: едут в город, встретят ее с палочкой, пешком идущую в их село, да и скажут о своей встрече моему родителю, а ее сыну. И вот вернется со своего похода бабушка, ее и спрашивают:

- Где ты, матушка, была?

Она всегда отвечала, что была по приглашению у кого-либо из богатых граждан, к которым она была вхожа. И когда мой родитель, бывало, смеясь за обедом ей на это скажет:

- А кто же это с палочкой пешком шел там-то? Бабушка улыбнется виноватой улыбкой и начинает оправдываться:

- Да, как вам сказать правду-то? Ведь вы еще браниться будете. А как не пойти-то! Человек-то бедный, старый, да и призреть-то за ним некому. Я его обмыла и лекарство составила, и попросила там таких-то, чтобы они Бога ради позаботились о нем.

За то и велика же, и сердечна была к ней признательность от черного народа. Денег же за лекарство она ни с кого никогда не брала, кроме того, что ей самой стоило лекарство, а это всегда было не дороже десяти, двадцати и много, много тридцати копеек.

Любила моя бабушка принимать к себе и странников, которых она вводила в дом на ночлег иногда даже целыми толпами. Угощала их, чем Бог послал, как родных, от всей своей полноты душевной. Маменька моя, любившая чистоту полов до пристрастия, и когда даже резко выговаривала бабушке за ее любовь к странникам, особенно, когда они, бывало, осенней порой лаптями своими нанесут грязи и запачкают полы на кухне. Во избежание брани, бабушка, накормив странников и уложив их на отдых, сама подоткнет подол и вымоет пол в угоду невестке.

Усердие ее к церковным службам было изумительное: она ни одной службы никогда, когда была дома, не пропускала, не обращая внимания ни на время года, ни на погоду. Такое усердие к Божьему храму я знал только в бабке отца Филарета, что в Площанской пустыни, и еще одну старушку, по фамилии Арбузова. Недаром все они с моей бабушкой трое были подругами с юности до самого гроба.

Кроме Богом данного искусства врачевания, бабушка моя была и замечательной по своему времени акушеркой. У кого я училась повивать, - говорила нам не раз бабушка, - старушка та жила около ста лет и очень была опытна в повивальном искусстве. Такой с ней раз был случай: пришлось повивать у дьячихи своего

села, и, когда родился младенец мужского пола, она сказала его матери:

- Смотрите, не забудьте, что я вам скажу о будущности этого младенца. Я, конечно, умру и не дождусь, когда он достигнет возраста мужества, а вы мои слова запишите: если Богу будет угодно, и младенец останется жив, то он будет большой человек, к Царю будет близок и станет большим начальником.

- Почему ж ты это знаешь? - спросили ее родные и родители младенца.

- Да, как же мне не знать, когда он и во чреве то сидел не как прочие...

Младенец этот стал впоследствии генералом Репнинским (читайте биографию Сперанского).

Особое было искусство у старушки. Понимают ли в нем что-нибудь современные акушеры?!..

И бабушка моя, тоже раз повивавши в одном доме, сказала, чтобы записали:

- Младенец этот богатым будет.

И время оправдало ее предсказание.

IV

Пришло, наконец, время и моей праведнице бабушке помирать. Я служил в это время в земле Войска Донского в Нижнечирской станице дистанционным на службе у В.Н. Рукавишникова при брате его Алексее, управлявшем его делами. Бабушка уже достигла глубокой старости. Это было в 1848 году, а во дни Пугачева бабушка была лет шестнадцати или семнадцати. Видел я сон: будто бабушка взяла меня за руку и повела внутрь какого-то великолепного, вновь отстроенного дома с роскошной внутренней отделкой и богатейшей мебелью, чудным балконом и крыльцом в дивно цветущий сад. В дому этом еще никто не жил. Глядя на всю эту роскошь, я удивился и спросил бабушку:

- Чей это, бабушка, дом, и для кого он выстроен?

Она мне ответила:

- Этот дом выстроила я для себя.

И с этими словами повела меня на крыльцо, а с крыльца - в сад. Удивляясь

необыкновенно изящной отделке крыльца, я взглянул кверху и увидел, что одной доски в потолке нету, и до самой крыши зияет дыра. Удивился я этому и спросил:

- Бабушка! Отчего это одна доска не прибита? Все так прекрасно отделано, а это оставлено: ведь сильно безобразит. Не Бог весть, чего одна-то доска стоит! Нужно бы прибить.

- Что делать, внучек, - ответила бабушка, - вот и весь дом выстроила, а одной доски и той не могу прибить. Это прошу тебя, постарайся ты доделать - я теперь уж не в силах и больше трудиться не могу.

С этими словами - "я теперь не могу, - прошу тебя, уж ты доделай" - я проснулся и долго размышлял, удивляясь и этому сну, и красоте виденного дома. Встал я с постели, зажег свечку и записал во всех подробностях свой сон, а с первой почтой написал своим родителям, прося их известить меня, что такое происходило у нас в доме ночью такого-то числа, и нет ли вообще каких новостей. Ответ был получен такой: "Этого числа, о котором ты пишешь, бабушка твоя ночью окончила свою земную жизнь и перешла к небесной вечности со всеми таинствами Святыя Апостольския Соборныя Церкви".

Так перешла в небесные обители праведная душа моей старушки-бабушки.

V

Молитвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святаго Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, святаго славнаго Пророка и Предтечи Господня Крестителя Иоанна, святаго великомученика Феодора Стратилата и прочих всех святых мучеников и мучениц, и Марии Египтянины, святых преподобных отец Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобнаго Сергия Радонежскаго и всех святых, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй и спаси нас. Аминь.

За молитвами преподобных отцов: игумена Оптинской пустыни отца архимандрита Моисея, старцев иеросхимонахов - отца Макария и отца Амвросия, и друга моего и брата моего, сотоварища от юности, иеросхимонаха Филарета (Плошанской пустыни) и прочих отцов и братии, благослови, Господи, написать и поведать о жизни моей многогрешной от дней моего рождения и до поступления на покой из Перемышльского Свято-Троицкого Лютикова

монастыря в скит Оптиной пустыни, и спаси меня многогрешного.

Многие из числа отцов и братии Оптиной пустыни, и матерей женской Казанско-Амвросиевой пустыни, всечестная игумения мать Евфросиния и другие близко мне знакомые лица неоднократно мне советовали и просили меня написать на память обо мне многогрешном кое-что из воспоминаний моей жизни. И родные мои того же желали. И вот, в исполнение, кладу перед всеми земной поклон и со слезами прошу усердно простить меня за все и не забывать во святых своих молитвах, чтобы и мне многогрешному получить кончину христианскую и благоприятный ответ в день Судный. Аминь.

Родина моя - Саратовской губернии город Балашов, а место рождения мое было того же уезда в селе Большой Карай. Случилось это в 1824 году в феврале месяце, а крещение мое было восьмого того месяца.

Когда я родился, у меня уже был брат, нареченный Феодором. А почему и мне священником в первый день, повнегда родити жене отроча, дано было то же имя Феодор, это скажется ниже. Сам же я этого не знал до десятилетнего возраста.

Родителя моего звали Афанасий Родионович Попов, а матери имя было - Агафия Андреевна, в девицах Склярова. У матери моей было три брата: Моисей, Фока и Петр Андреевичи Скляровы. Фамилия их вышла из Малороссии, а родина - Слобода Остров от города Балашова в шестидесяти верстах. Второй брат моей матери, Фока Андреевич, был очень умный человек и всю свою жизнь служил по питейной части комиссионером у откупщика Петра Ивановича Ковалева (или Коваленкова) и других его сотоварищей по откупу, Устинова и Образцова. Ковалев жил до самой смерти в городе Балашове, а с ним и мой дядя, Фока Андреевич. Третий брат, Петр, жил при Фоке Андреевиче и тоже служил по откупу дистанционным поверенным. Старший же, Моисей, жил в доме родителей своих в Слободе-Островах и был слободским всего уезда, по избранию всех обществ, земским головой.

И родитель мой почти что всю жизнь тоже был на службе по питейной части подвальным у того же откупщика Ковалева и, так как брат моей матери, Фока Андреевич, был комиссионером, а эта должность была влиятельной, то ему жилось хорошо, потому что управляющие откупами, из уважения к комиссионеру и сестре его, моей матери, были хлебосолами всему нашему семейству.

О годах моего раннего младенчества вот что я слышал от моей матери и

бабушки: после крещения моего я сорок дней лежал в люльке без крику и малейшего движения. Не подавал я голосу даже и тогда, когда меня вынимали из люльки и подносили к груди. Заплакал я в первый раз, когда, по прошествии сорока дней, меня снесли причастить в церковь и из церкви принесли домой. С тех пор я долго не переставал плакать, не давая никому покоя ни днем, ни ночью, так что вынуждены были мне нанять в няньки бедную сиротку девочку, чтобы она меня нянчила на дворе. Когда нянька, вынося меня гулять, подходила к церкви, я переставал плакать. Это было замечено, и, когда потом, я начинал, бывало, плакать, то матушка говорила няньке:

- Неси, неси его на паперть!

А церковь в селе Карае была близко от нашей квартиры. И так со мной делали всякий раз, как я начинал плакать: понесут на церковную паперть, - я плачу, а там немедленно успокаиваюсь и уже домой меня приносят спокойным надолго. Когда же я стал понимать, то сам стал указывать по направлению к церкви, давая этим знать, чтобы меня несли туда, особенно, когда я слышал благовест. Поэтому меня почасту приобщали Святых Христовых Тайн.

От 1830 по 1835 год родитель мой жил в селе Макаровке Балашовского уезда на должности подвального. Когда мне пошел восьмой год, мы с братом Феодором уже учились у местного сельского священника, отца Димитрия. Человек с тринадцать всех нас у него училось.

Изучая Священную историю и Катехизис, я узнал, что есть Ангелы, которые охраняют нас, и бесы, которые ищут нашей гибели. Не знаю, как и почему, но мне пришла мысль испытать, правда ли это? И вот, сидя на крыльце нашей квартиры, когда родители мои отдыхали после обеда, задумал я эту мысль свою привести в исполнение: встал я с крыльца, пошел на задний двор и дорогой вслух сказал:

- Послушай, бес: если ты что-либо можешь сделать, то уверь меня в этом: принеси мне в амбар тонкую, хорошую веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду в хлев, куда коров загоняют, и там удушусь на этой веревке... Вот-то удивятся товарищи мои, когда увидят меня повесившимся на перекладине!.. Ну, слышишь, бес, что я тебе говорю? Исполни ж мое желание!

На всем дворе в это время никого не было. День был жаркий, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова, я пошел к амбару, который был плотно затворен. По дороге к амбару, в голове моей мелькнула другая мысль:

удушиться, подумал я, неприятно, а лучше брошусь-ка я в колодезь на заднем дворе. Колодезь этот был очень глубокий, и вода в нем была чистая и прехолодная. Принадлежал он соседу, протопопу, и из него брал воду всякий, кто бы то ни пожелал. Был он выкопан между двумя дворами у одной из стен... И вот, подойдя к амбару, я, растворивши дверь, к удивлению своему, увидел почти целый моток новой, тонкой бичевы. Взял я его в руки и, миновав коровник, пошел к колодцу и, нагнувшись, стал в него смотреть. Глубоко, глубоко поблескивала в нем его холодная вода, а в мыслях моих точно кто-то говорил: "Вот когда я туда брошусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои да и многие другие будут удивляться, как это и почему я утонул в колодце?" Я невольно улыбнулся в ответ на свои мысли и сказал:

"Нет, бес, лучше уж я пойду удушусь. Вот тогда-то товарищи мои придут и будут удивляться, когда я буду висеть в петле!"

С этими словами, развязав найденный моток новой бичевы, я сделал петлю и завязал конец... Оставалось только всунуть голову в петлю, и жизнь моя была бы прекращена... Я оробел и вдруг громко и весело засмеялся, воскликнув:

"Лезь же ты сам, проклятый, а я тебя поддерну!"... И в это мгновение из туч на небе блеснула ослепительная молния, и раздался такой громовой удар, что я во всю свою жизнь подобного не слыхивал. Я сильно перепугался и изо всей силы бросился бежать из хлева к дому на крыльцо, а дождь после удара полил ливнем, как из ведра... Когда я вбежал на крыльцо, там стоял мой родитель; стояли с ним и другие, и все они удивлялись небывалому удару грома и необыкновенной яркости ослепительной молнии, повторяя: "Ну уж и удар! Такого мы еще и не слыхивали". Через несколько часов пришло известие, что этим ударом убита женщина в селе Потьме, за рекой Хопром, верстах в трех от села Макарова.

Об этом своем поступке я никогда никому не сказывал, но с того времени убедился, что есть злые духи, и стал внимательнее и прилежнее молиться Богу и моему Ангелу-хранителю.

VI

Верстах в трех от села Макарова было имение князя Григория Сергеевича Голицина. Княжеская усадьба была расположена на горе, и неподалеку, под горой, - винокуренный завод князя. Князь очень доброжелательно относился к моему родителю, с которым ему приходилось иметь дело по винному откупу. Любил князь утром и вечером совершать прогулки верхом на лошади. И вот,

однажды, подъехал он верхом к нашей квартире. Мы в это время всей семьей сидели за обедом; окно было открыто на улицу; день был ясный, и князь, подъехавши к окну, громко, с приветливой улыбкой сказал:

- Приятного аппетита всем вам желаю!

Конечно, родитель мой, завидевши князя, быстро выскочил из-за стола и выбежал к нему на улицу, а мы - дети и мамаша засуетились и тоже, побросавши обед, кинулись, к дверям к нему навстречу. Побежали навстречу князю, правда, старший брат мой Феодор да сестра Екатерина (ныне схимонахиня в Шамордине), а мы, несколько оробев, стояли около обеденного стола. С ласковым приветом вошел князь к нам в дом и, видя наше замешательство, весело сказал:

- Прошу всех вас и детей сесть за стол, как сидели, тогда и я с вами сяду, а иначе выйду вон.

Желание его быстро было исполнено. Князю был подан стул, и с той же приветливой улыбкой, глядя на нас, он радушно к нам обратился со словами:

- Ну, вот и я с вами буду обедать! Родитель мой сказал князю:

- Смею просить вас, ваше сиятельство, рюмкой водки?

- И прекрасно, и умно ты сделаешь, - согласился князь, - а, кстати, у меня и аппетит есть выпить рюмку, а мало - выпьем и по две.

Начали закусывать. Князь все посматривал на нас и вдруг спросил родителя:

- Это все дети твои?

- Наши, ваше сиятельство, - отвечал мой родитель.

- А что ж, учатся ли они у тебя?

- Учатся, ваше сиятельство, у приходского священника, отца Димитрия.

- А почему ж ты не обратился ко мне с просьбой, чтобы их отправить учиться в село Зубриловку, где учатся дети покойного моего брата? Дети-то его вдовы - две дочери уже почти невесты, а вот два сына - твоим детям однолетки, и учат у них все немцы да французы... Да и дети-то всех ее дворовых обучаются особыми

учителями. Вот бы и твоих туда отдать!

- Смею ли я просить о сем ваше сиятельство? Кто мы такие, чтобы дети наши учились с детьми ее сиятельства? Я и подумать-то о сем не смею, чтобы просить вас о помещении детей моих в их училище, - смиренно сказал мой родитель.

- Экой ты, братец, какой чудак! - улыбнулся князь - ты этим ей и мне доставишь большое удовольствие; нам-то приятно будет, чтобы дети твои были образованнее и умнее других, которые учатся у дьячков и отставных солдат, и даже у сельского батюшки.

Низко кланялся мой родитель князю и усердно благодарил его за великую милость. Князь улыбался радушно и на изъявления благодарности отвечал:

- Нечего, брат, благодарить прежде времени. А вот завтра собери-ка их в путь-дорожку да и пришли их ко мне часу в десятом утра, а я их при письме моем отправлю в Зубриловку. Охлопочите только поместить их к кому-нибудь из зубриловских жителей.

Тут родитель мой и бабушка сказали:

- Да в Зубриловке и священник-то отец Иоанн Андреевич Росницкий - нам родственный.

- Вот, и прекрасно, - сказал князь, - так присылай же твоих детей ко мне в дом, а я их при письме отправлю к своей свояченице.

Родитель мой усердно благодарил князя, а мать и бабушка чуть не в ноги ему кланялись. Пожав им всем руки, нам князь сказал: "Итак, в десять часов жду вас!" - и с этими словами от нас уехал.

Все мы были поражены и очарованы простотой его обращения.

Целую ночь мать и бабушка не спали: пекли, жарили, варили, готовили пирожки с запеченными яйцами, кур, яйца всмятку; наложили все в мешок, тщательно завязали - нам в путь-дорогу. А село Зубриловка от села Макарова - не более верст двенадцати. Уложили весь наш багаж, а утром, часу в шестом, напоив нас чаем, помолившись Богу и благословив нас со слезами на глазах, расцеловали нас, прося вести себя благоприлично и давая нам всякие советы и указания, как нам жить в чужих людях. Родитель мой, смотря на их слезы, улыбался и

подшучивал:

- Эк, далеко вы их отправляете! Смотрите-ка, Шутка-дело - за двенадцать верст: как тут не плакать!.. Мало вы им, вижу, кур-то с яйцами и с пирожками насовали в мешок!

Смеялся он и над нами: "Пришла экая беда: теперь уж вы недельки две-три друг с другом не увидитесь".

А бабушка, утешая нас, на слова родителя говорила: "А я вас через недельку навешу - пешком приду к вам".

Тут подали лошадей и усадили нас, целуя беспрестанно. Наконец, осеняя нас крестным знамением, родитель сказал кучеру: "Ну, трогай! Счастливый вам путь! Вези их прямо к князю, к дому и, получив от князя письмо, вези их тогда в Зубриловку, к священнику отцу Иоанну. Передай вот ему мое письмо... Ну, с Богом!"

И мы тронулись в путь; а мамаша и бабушка долго все стояли, провожая нас глазами. Мы привстали на повозке, сняли картузы и все кланялись им, пока их стало не видно.

Часа через два приехали мы к дому князя. На крыльце нас встретил его камердинер и спросил нас:

- Вы - дети Афанасия Родионовича?.. Идите по этой дорожке в сад, там и встретите князя.

Так мы и сделали и у садовой беседки встретили князя, который пошел к нам навстречу со словами:

- Молодцы, что так рано приехали! Вот вам букеты цветов и письмо к княгине. Когда приедете, передайте ей все это от меня. Отправляйтесь же с Богом. Счастливого вам пути желаю.

Мы простились и поехали к княгине. Она встретила нас ласково и приветливо, благодарила за букеты, приняла письмо и сказала, что просьба князя о нас ею с удовольствием будет исполнена. И священник нас встретил ласково и принял на житие в свою квартиру, где мы и прожили около двух лет, пока шло наше ученье в Зубриловской школе.

VII

Началось, наконец, и наше ученье в Зубриловской школе. Хотя и почиталась она князем Голицыным образцовой, но преподавание в ней было довольно-таки старозаветное: все уроки свои мы должны были учить наизусть, в долбежку - и Священную историю, и Катехизис, и арифметику. Кроме этих уроков, нам преподавали и чистописание... Княжата учились дома со своими французами и немцами, а в свободные часы приходили играть с нами. Один из них учил нас маршировать, как солдаты маршируют, варить кашицу на огне и копать землянки; а другой обучал нас охотничьему искусству: как охотиться на зверей - волков, лисиц и зайцев; как трубить в рога и трубы, давая знать о каком-либо звере.

В этой игре я исполнял обязанности гончей, и дали мне кличку - "Галка". Я был картав и, когда они меня вместе с учителями спрашивали: "Фединька! Как тебя назвали?" - громко им отвечал: "Гайка", и все тогда очень надо мной смеялись, говоря: "не гайка, а галка, - скажи: галка!" - Я не обижался, а смеялся вместе с ними, уверяя их, что так не могу сказать, потому что картав. И меня за это всегда ласкали.

В школе нас учили от восьми часов утра до пяти пополудни, после чего мы шли домой обедать; а к другому дню нам задавали уроки. Уроки требовалось, как я уже говорил, отвечать наизусть. В свободное от уроков время нам дозволялось играть в разные детские игры. Из этих игр любимыми нашими были игры "в казанки" или "шлюцки" и "в крысы", то есть бегать друг за другом и ловить. Не знаю уж сам, как и почему, но все ученики в случаях своих детских ссор или драки всегда обращались ко мне для разбора вины и умиротворения, и мне нередко случалось трепать до слез виновных, но они никогда на меня не сердились, а всегда оставались довольны моей справедливостью и беспристрастием. Особенно много недоразумений и ссор происходило во время игры "в казанки": нарушались условия игры, били в кон произвольно, и старшие неправильно обыгрывали младших, и часто из этого выходила брань и драка. И вот в это время товарищи обращались ко мне, крича: "Что ж это такое, Федя, делается! Это и играть нельзя", - и требовали не дозволять старшим бесчинничать или удалять их из числа играющих. И, когда я, бывало, стану им говорить, они поначалу начнут мне противоречить и браниться. А у меня от детства был вспыльчивый характер и, когда увижу, что неправильно обижают товарищей, да еще меня начнут бранить, говоря: "Да ты-то что за птица? тебе какое дело?" - тут сердце мое вспыхнет, я хватался за их волоса, и очень, очень

чувствительно для них бывало мое наказание. Дело всегда кончаюсь тем, что протестующие покорялись со слезами и криком: "Не будем, не будем! Федя, прости! Будет бить-то!.." А обиженные с торжеством приговаривали: "Прибавь, прибавь им еще, Федя, чтобы они помнили, как нужно играть!" - Под мою сердитую руку попадало и княжатам, и я всем, не исключая их, с криком гнева говорил: "Что же это вы делаете?

Что вы старше нас, так и обижаете несправедливо? Ступайте, жалуйтесь учителям - они лучше разберут, кто из нас прав и кто виноват!" И меня все ребятишки хвалили: "Так де, вот им надо, пусть идут жаловаться, а мы тогда оправдаем тебя".

На эти детские игры и проказы смотрели часто гувернеры и учителя и, улыбаясь, хвалили меня за справедливость.

Так продолжалось невозбранно довольно долго, пока не пришлось мне за свою справедливость сильно перетрусить.

Как-то раз играли так-то вот мы, вдруг явился к нам посланный от княгини и потребовал, чтобы я к ней шел немедленно за ним в дом. Вот тут-то я и сробел. А щедрые на посулы товарищи мои, конечно, меня предали и стали мне вдогонку кричать:

- Вот тебе там достанется на орехи! Отдерут тебя на конюшне!

С большой робостью взошел я в зал дома, где княгиня с двумя своими дочерьми и мальчиками сыновьями сидели за столом. Там же сидели и учителя детей - француз и немец. Кругом их стола лежали громадные собаки, и им наливали в миски, и подавали каждой собаке ее кушанье, но лакать из мисок они только тогда принимались, когда княгиня им по-французски даст на то разрешение. Тогда только, замахав ласково хвостами, собаки и принимались за свою еду... В страхе и трепете, с крупной слезой на ресницах, подошел я к столу - прямо к княгине... К великому моему изумлению, не с гневом, а с ласкою обратилась она ко мне: "Не бойся, мальчик Фединька, тебе ничего не будет. Эти глупые только пугают тебя. Мы призвали тебя - расскажи мне, как и за что ты бьешь детей, с которыми ты учишься и играешь в казанки?"

Я робко, заикаясь и картавя, рассказал, что бью их за то, что, нарушая условное правило игры, сильные пользуются своей силой и неправильно обижают меньших товарищей... Тут княгиня как бы с гневом обратилась к своим детям и

громко, отрывисто, по-французски сделала им по-видимому, выговор или замечание... Дети сконфузились, покраснели, а учителя улыбались и качали головой...

Сделав своим детям выговор, княгиня ласково обратилась ко мне: "Не бойся, мальчик: ты прекрасно делаешь, что следишь за порядком вашей детской игры, и продолжай следить, чтобы старшие не обижали младших". И с этими словами подала мне два больших апельсина, сказав:

- Вот тебе от меня гостинец за твою справедливость! - Тут и дочери ее, и учителя начали хвалить меня и давать с десертного стола, кто - апельсин, кто - винограду, пряников - словом, наложили мне полные карманы гостинцев. Я поцеловал руку у княгини, и она велела меня проводить обратно.

Вместо слез, таким образом, я вынес из дома княгини торжество и радость. С радостью меня встретили и товарищи, и говоря мне:

- Ай, да Федя, молодец! В какую честь попал! Но мне моя честь не даром досталась: после княжеских подарков мне учителя стали задавать уроков вдвое больше, чем другим. Я это сразу заметил: шли мы из училища с товарищами, я и обратился к одному из них:

- Ну-ка, Коля, покажи мне, сколько тебе задали к завтрему?

И тут я увидел, что мой урок гораздо более. До слез стало мне тогда и грустно, и обидно. За что это мне? - подумалось мне, - и что мне теперь делать? Это мне уж и играть с товарищами не придется!.. Не пошел я тогда, с горя, домой, а пошел в сад. В саду стоял омет соломы, а у соседа были цесарки. Заметил я по своим наблюдениям, что цесарки эти, взлетая на насест, долго на насесте не успокаиваются и час, а иногда и более, кричат и цыкают, пока-то умолкнут и заснут... Придя в сад, разложил я на земле между кустами смородины и крыжовника все свои книги и, раскрыв их на тех страницах, где были отмечены карандашом мои уроки к завтрашнему дню, упал на колени и горько заплакал, подняв руки кверху, и со взором, потемневшим от слез, стал молиться Богородице: "Матерь Божия, взгляни, что со мной делают учителя! Посмотри на мои книги - вот отметки карандашом, и все эти уроки я должен выучить к завтрему. Когда ж мне играть-то с товарищами? А не выучу, меня будут сечь розгами. Матерь Божия, Тебе все возможно, - умоляю Тебя, умножь мне память и помоги мне избавиться от наказания. Я не сейчас пойду играть с товарищами; буду твердить уроки под ометом до тех пор, пока цесарки не сядут на нашест и

не перестанут кричать, а тогда я закрою свои книжки и пойду к товарищам, в надежде на Твое, Преблагословенная, милосердие. Слышишь, Матерь Божия? Выучу или не выучу я свои уроки, а уж как цесарки перестанут кричать, я уйду играть, а на утро Ты мне дай такую память, чтобы мне сказать свой урок без ошибки и чтобы не удалось учителям меня высечь. Помоги же мне, Преблагословенная Дево Матерь Господа моего Иисуса Христа в честь и славу имени Твоего. Вверяю я себя Тебе и, как сказал, так, надеясь на Тебя, и буду делать". Положил я три поклона Господу Иисусу Христу и Пречистой, закрыл по истечении назначенного срока свои книжки и ушел играть с товарищами. Они уже меня дожидались и, увидев закричали:

- Да, где ж ты был, Федя? Мы заждались тебя... Во что играть?.. Ну, давайте в крысы...

На утро, к удивлению учителей, я отвечал все свои уроки без малейшей ошибки.

VIII

Старшему моему брату не легко давалось ученье, и он по ночам со свечкой засиживался над своими уроками, но при всем прилежании часто не мог ответить урока наизусть, за что и попадало ему от учителей. Сидел он однажды до полуночи, твердя свои уроки к следующему дню, а поутру не мог двух-трех строчек ответить перед учителем и священником, у которого мы жили. Священник назвал его болваном и с угрозой сказал:

- Счастлив ты, что я иду служить Литургию, а то отпорол бы тебя розгами. А вот, постой, приду из церкви, и если ты у меня не выучишь урока, как следует, то я прикажу отпороть тебя, болван ты этакий!

Я сидел тут же, у другого стола и увидал, как у брата слезы закапали на стол, и стало мне жаль брата: за что же, - подумалось мне, - его сечь, когда он за уроками почти всю ночь напролет не спал? Пойду я в церковь, помолюсь за брата Царице Небесной, Она меня раз послушала. Бог даст, и на этот раз не оставит.

Церковь от школы была недалеко, - за княжеским садом: стоило только перелезть через невысокую ограду, и - там... Задумано - сделано! Я вышел из училища, попросившись выйти, а сам - через ограду да прямо в церковь. Боясь, чтобы меня не увидел священник, я отворил одну половину двери и осторожно заглянул в храм. В церкви только и было народу, что три старушки, заказавшие

заупокойную обедню; священник и диакон были в алтаре, а дьячок в это время на клиросе пел: "Тебе поем. Тебе благословим. Тебе благодарим, Господи"... Быстро проскользнул я в церковь - прямо на правую сторону придела, за колонну, и поглядел на иконостас... Взгляд мой упал на икону Божией Матери итальянской живописи с Предвечным Младенцем на руках. Как живые, Они смотрели на меня. Я пал перед святою иконою весь в слезах на колени и со всем усердием стал молиться Владычице:

- Матерь Божия Преблагословенная! Я пришел просить Тебя за брата моего, Феодора: его священник обещал за леность высечь розгами, а он всю ночь не спал, твердя уроки. Матерь Божия, сотвори милость - смягчи сердце учителя, отврати от брата моего наказание. Ведь я верую, что ты родила Господа Иисуса Христа, Который за нас и наше спасение умер на Кресте и затем воскрес. Я знаю все заповеди, знаю "Верую" с начала до конца: смягчи же сердце учителя - мне жаль брата. Если уж нужно его посечь, то пусть лучше меня за него накажут: очень мне жаль брата. Дай, Матушка, брату моему побольше памяти, чтобы он так же учился, как и прочие умные ученики. Матерь Божия! Если Ты мою молитву услышишь, я всегда буду прибегать к Тебе, а - нет, ни о чем Тебя просить не буду. А я этого не хочу: я хочу всегда прибегать к Тебе с молитвой!

С этими словами я поклонился в землю перед иконой, поцеловал Богородицыны ножки и опять повторил:

- Помоги, если можешь; а я знаю, что Ты можешь! А то я не буду уже больше просить Тебя ни о чем.

В это время запели "Достойно есть, яко воистину..." и я выбежал из храма. В школе старшие ученики меня спросили, куда я бегал и где так долго был; я отговорился расстройством желудка.

Вскоре пришел из церкви и священник отец Иоанн. Я ждал с трепетом, что будет он говорить брату. Отец Иоанн подошел к нему и ласково-ласково ему сказал:

- Вот тебе в благословение Богоматери святая просфора!

Благословил ею брата и отдал со словами:

- Тебе эта просфора от Божией Матери в благословение и улучшение твоего учения. Молись Ей: Она тебе поможет, и ты будешь учиться хорошо!

Можно себе представить, как поразили меня эти слова! Я заплакал и, выбежав

стремглав из класса, пал ниц на землю и благодарил молитвенными слезами Матерь Божию за Ее великую и явную милость.

С тех пор брат стал гораздо лучше учиться и даже обогнал многих своих товарищей.

IX

Этот случай, так меня поразивший, произошел уже на второй год нашего с братом учения в Зубриловской школе.

Вскоре после этого княгиня с детьми стала собираться в Петербург, дети должны были перед отъездом ехать к князю, чтобы проститься. Княгиня велела им взять и нас с братом, чтобы повидаться с родителями, и с ними вместе вернуться в Зубриловку. Когда мы доехали до села Макарова, княжеские дети не прямо поехали к дому князя, а подъехали к квартире наших родителей и вместе с нами вошли в дом. Радостно удивились родители наши такой неожиданности. Подали чай, и за чаем княжата, улыбаясь, сказали нашей матери и бабушке:

- А знаете ли, для чего мы к вам приехали? Мама прислала предложить вам, не согласитесь ли вы своего младшего сына, Фединьку, отпустить с нами в Петербург, а там и за границу, во Францию, учиться вместе с нами?

Это предложение подтвердили и приехавшие с нами княжеские учителя... И, Боже мой, что тут поднялось! Как перепугались мать моя и бабушка! Чуть не со слезами отвечали они на это лестное предложение:

- Нет, нет, нет! Куда нам равняться с княжескими детьми!.. Да, и к чему нам французский и немецкий языки! Выучили Священную историю и молитвы, да немножко арифметики - более нам ничего и не нужно. Вот, детям княгини - другое дело, а нам - всяк сверчок знай свой шесток!

Учителя и княжата стали уверять, что расходов никаких не будет, что княгиня все берет на свой счет, что я вернусь к ним человеком ученым, помощником им и обеспеченным на всю жизнь, но мать и бабушка и слышать ничего не хотели, заплакали и объявили наотрез, что своего меньшего они ни за границу, ни в Петербург ни за что не отпустят.

- Будем молиться за княгиню и детей ее, - говорили они, - чтобы Господь умножил им Свои милости и лета жизни; пусть княгиня нам не вменит этого в

вину - нам первое утешение видеть детей наших при нас: каждому свое дитя дорого.

Так велик был испуг и горе их, что княжата и не рады были, что разговор этот затеяли и, напившись наскоро чаю и заверив их, что княгиня на них не будет сердиться, они быстро собрались в обратный путь, а нам с братом велели садиться в экипаж вместе с ними. Любезно распростились они с матерью и бабушкой, мы с ними расцеловались и к вечеру уже были в Зубрилоике. Дня через три княгиня с детьми выехала в Петербург. Перед отъездом мы получили от княжат в подарок их картузы и сюртучки, а впоследствии из Петербурга они мне прислали чудесный перочинный ножичек с пилочкой, вилочкой и иглой, а также пряников.

С тех пор я во всю свою жизнь больше их не видел.

X

В 1835 году мы выехали из села Макарова в город Балашов, где мой родитель выстроил два дома: один каменный, а второй - из вековых дубов, бывший господский дом, который родитель мой купил на снос. В этом доме поселился жить брат моей матери и наш благодетель, Фока Андреевич Скляров; здесь он и скончался, как добрый христианин, напутствованный Святыми Тайнами.

В 1836 году родитель мой, оставивший было службу, вновь поступил на место подвального в городе Аткарск.

Жизнь моя в течение 1835 года в Балашове осталась мне на всю жизнь памятной, потому что от брата своего двоюродного я научился такому греху, о котором стыдно и глаголати. Великою милостью Божиею я был спасен от этого греха, и вот каким образом.

Уже по приезде в Аткарск, как-то раз, поутру рано, родители мои, бабушка и крестная мать пили чай, а мы - все дети и другие товарищи, у нас ночевавшие, спали на полу в соседней комнате. Дверь была открыта; я в это время проснулся и понеживался, и вдруг слышу разговор между родителями и крестною моею, Любовью Ивановною, и в разговоре этом часто повторяют мое имя. Я прислушался и слышу:

- Да, что-то из него будет? - говорила моя мать, - помните, что священник-то сказал?.. Да, да! Ведь когда он родился, у нас уже был сын Феодор, а священник,

давая молитву новорожденному, подошел ко мне, - я лежала тогда на кровати, задернутой пологом, - да и говорит: "Желаю вам здравия; какое имя угодно вам дать новорожденному?" "Дайте, говорю, - ему имя Николай". Стан молиться священник и, когда нужно было дать имя, он вдруг остановился и умолк. Долго он молчал и, наконец, произнес имя - Феодор. А я ему сказала, что у меня уже есть сын Феодор. Когда он окончил молитву, я ему это помянула, а он мне ответил: "Ничего, при крещении исправим"... Пришел день крестин, и вот что мне рассказывала Фе-дина крестная: взял священник в руки ребенка, чтобы погрузить в купель и только хотел произнести: "Крещается раб Божий, младенец..." - да на слове этом запнулся и молчит. Минут пять, показалось ей, он молчал так-то, и все молчали. Слышим - погрузил ребенка с именем Феодор. Очень мы были этим недовольны. Когда кончилось таинство, крестная, - а потом в доме и мы - приступили к священнику с выговором, а он нам на это ответил: "Я вам как священник скажу - ведь, вы видели, что я стоял долго, не погружая младенца в купель. Я желал дать ему имя Николай, но вот, Бог свидетель, что я в ту минуту забыл все имена, кроме имени Феодор, и другого, при всем старании, произнести не мог - точно у меня кто связал язык. И хочу вам сказать, меня, быть может, и в живых не будет, а вы припомните тогда: будет младенец этот, когда вырастет, монахом".

Я лежал и, затаив дыхание, слушал этот разговор... Что такое - монах? - размышлял я, - никогда такого имени не слыхал я... Тем разговор обо мне и закончился, но врезался глубоко мне в память.

Впоследствии я стал расспрашивать бабушку о том, что такое монах и какие вообще бывают монахи, и бабушка мне все разъяснила и рассказала о Киево-Печерских святых отцах и о нетленных их мощах, почивающих в Киевских пещерах. Ярко запечатлелся этот бабушкин рассказ в моей памяти, и я просил бабушку, чтобы она, когда будет в Киеве, купила мне книгу о киевских угодниках, что бабушка вскоре и исполнила, сходивши в Киев на богомолье. Помню я вечера с бабушкой по возвращении ее из Киева: зазовет она, бывало, меня к себе в комнату и заставляет читать ей вслух Патерик и, слушая, поясняет мне жития преподобных. С тех вечеров зародилось у меня горячее желание, рано или поздно, побывать в Киево-Печерской лавре и все там самому увидеть, - о чем пишут и о чем говорит бабушка.

Тем временем пристрастие мое к греховному навыку, приобретенному от двоюродного брата все усиливалось. И вот приснился мне страшный сон: вижу я, что будто умер, и мое тело лежит бездыханным; а сам я, будто, своей душою

стою рядом, гляжу на свой труп и удивляюсь... И вдруг увидел я двух Ангелов - один как бы мой хранитель, и другой - как бы его начальник. Этот старший Ангел и говорит моему хранителю: "Что же ты стоишь?"

И Ангел мой как будто поднял меня на воздух и уже хотел лететь со мною кверху, на небо, но старший Ангел остановил его и сказал:

- Куда ты хочешь лететь с ним? Ему не туда дорога, вон - его место! - и Ангел указан своим перстом вниз.

И когда я взглянул на указанное старшим Ангелом место, то увидел море огня пламенеющего, и в нем кишмя-кишели многие тысячи людей. Такое это было страшное видение, что я и высказать не могу. Старший Ангел, указывая рукой, опять сказал: "Вон ему место!"

И когда я взглянул в том направлении, то увидал огонь синий и зеленый, и в этот-то огонь и бросил меня мой Ангел хранитель... Боже мой! Сейчас содрогаюсь при этом воспоминании - такой, ни с чем несравнимый ужас и жгучую боль ощутил я тогда. А в огонь этот я был погружен всем телом и с головою. И я кричал от нестерпимой боли, а Ангел мой стоял и смотрел сверху на мое мучение. Тогда старший Ангел сказал ему: - Чего же ты еще ждешь?

И Ангел, который меня бросил в огонь, отвечал ему:

- Да жаль мне его - он обещает более не грешить!

Старший Ангел возразил:

- Да он не исполнит своего обещания... Господи! Как же я кричал и плакал, и уверял, что больше грешить не буду!

- Ради Бога, - кричал я, - выньте меня из этого пламени!

Тут мой Ангел хранитель взял меня за руку и вытащил. И когда меня вытащили из адского пламени, тогда старший Ангел спросил моего хранителя:

- А что, ты мне ручаешься за него? В ответ мой хранитель спросил меня:

- Обещаешься ли не делать того греха?

- Не буду, не буду! - с неописуемым страхом вопил я.

Тогда мой Ангел хранитель повернул меня к себе спиной и так меня толкнул своей рукой в затылок, что я, проснувшись, дня три ощущал боль в затылке.

Крик мой во сне был такой отчаянный, что разбудил всех домашних. Потом меня спрашивали, что со мной было, но я ответил, что ничего не помню.

С той поры я отстал совершенно от постыдного моего греха; стал ходить с бабушкой каждый день к обедне, отказался есть мясное и обедал с бабушкой, потому что она скоромное не ела и готовила себе отдельно постную пищу. Родители меня бранили, находя, что я выдумки выдумываю, прихотничаю, обвиняли в этом и бабушку. А бабушка не была в этом повинна: это я уж очень своего сна испугался. Каждый вечер в ее комнате читал я бабушке Патерик, а она мне рассказывала о мощах, о церквах, о подвигах, и я тайно стал по ночам молиться Богу, спать на дровах... Заметила это как-то сестра моя, Екатерина, и рассказала матери и брату. Узнал от них о моих ночных подвигах и мой отец и начал выговаривать бабушке:

- Это вы, матушка, виноваты: сведете малого-то с ума... Вот отпороть тебя хорошенько, - сказал он, обращаясь ко мне, - и запретить тебе с бабушкой обедать!

Но тут уж маменька за меня заступилась и уговорила отца: пусть, де, себе подвижничают с бабушкой - ничего, мол, тут дурного нет. Будет постарше, и сам не согласится всегда есть один хлеб да пить одну воду: пусть их себе молятся...

Так и оставили нас с бабушкой в покое.

А во мне все настойчивее зрела мысль: как бы это мне побывать в Киеве.

XI

Из жизни нашей в городе Аткарске врезался особенно мне в память еще один эпизод, оставивший неизгладимый след на всю мою жизнь. Эпизод этот связан с посещением Аткарска преосвященным Иаковом, епископом Саратовским, впоследствии архиепископом Нижегородским.

Объезжая епархию, он посетил Аткарск и служил в соборе Литургию. Муж он был высокоучительный и проповеди свои говорил народу всегда без тетради, экспромтом, отчего и не оставил по себе следа в церковно-проповеднической литературе. Народ любил преосвященного и с великим благоговением внимал

его поучениям. Изумительна была простота и сердечность его речи, и так она шла близко к народному сердцу, так глубоко в него проникала, что даже я, в то время одиннадцатилетний мальчик, запечатлел в своей памяти во всех подробностях одну из таких его бесед, которую и хочу теперь записать в своих воспоминаниях.

Народ считал преосвященного святым. И вот святой этот муж, совершив Литургию в Аткарском соборе, вышел в своей святительской мантии на амвон, оглядел добрым и проницательным взглядом предстоящих, заметил в их среде детей, в том числе и меня, и сказал:

- Дети! Подойдите ко мне поближе!..

Нас выступило вперед несколько человек, и впереди всех - я. Я стал прямо перед лицом владыки, и он, как бы ко мне обращая свое слово, начал говорить так:

- Хочу я, дети, побеседовать с вами о молитве. Знаете ли, как надо себя приучать к молитве?.. Нужно сперва понемногу молиться, но как можно чаще. Молитва, как искра: она с течением времени может превратиться в великий пламень, но, чтобы воспламенить эту искру, нужно неослабное усердие, нужно время и нужно уменье. Возьмем, например, два угля: один - огненный, а другой - простой, холодный. Попробуйте воспламенить этот холодный огнем другого - что для этого нужно сделать? Надо приложить холодный уголь к огненному. Но и приложив их так-то, вы холодного угля не воспламените, если не будете понемногу и постоянно дуть на огненный уголь. Если будете дуть на него слишком сильно, то из него будут вылетать искры, но холодный уголь не воспламенится, и труд ваш будет напрасен. А вот если будете дуть на огненный уголь постоянно и умеренно, то скоро весь ваш холодный, приложенный к нему уголь превратите в огонь. Тогда будут пламенеть не только оба ваши угля, но, если вы их и отдалите друг от друга на известное расстояние, загорится и все, что вы между ними поставите или положите, и тогда может разлиться целое море пламени.

Но чтоб зажечь в печке сырые дрова или воспламенить и раздуть влажный уголь, сколько для этого нужно и времени, и труда, и терпения, а, главное, постоянства!.. И вот говорю вам, мои деточки, - молитва есть огнь, и еще говорю, что она - угль горящий, а сердца наши - холодные угли. Поэтому и надо нам каждый день молиться - это все то же, что приложить холодный уголь своего сердца к огненному углю молитвы и раздувать его понемногу. Поверьте мне, дети, что если вы послушаетесь меня и будете каждый день молиться

понемногу, но постоянно, то сердца ваши воспламенятся любовью огня Божественного, но только смотрите не молитесь порывами - не выдувайте искр из огненного угля молитвы: помните, что за порывом вслед ходит лень, и искрами не воспламените угля своего сердца. Начинайте так: сперва по три поклончика, говоря "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго" и поклон, "Пресвятая Владычице наша Богородице, спаси мя грешнаго" и тоже - поклон; "Вси святии, молите о мне грешном" - поклон, - да и будет. А завтра опять, непременно, повторяйте. И так продолжайте изо дня в день и впредь; и заметите тогда, дети, что поначалу лень вас будет одолевать, как тяжесть какая, но, если вы будете постоянно класть по три поклона, то после увидите, что, вместо трех, вас потянет класть и более, и тогда, сама молитва будет от нас требовать умножения поклонов. Это уже будет означать, что уголь сердца стал возгораться силою веры и воспламеняться любовию к Богу и что постоянство ваше стало приносить вам и плоды, от которых умножается жажда молитвы...

Испытайте-ка, деточки, мои слова на деле и увидите, что это так и бывает, как я вам говорю. Прибегайте к Богу, как к родимой матери: Он благ и всеведущ, Он любит нас, как мать любит своих детей. Если вы будете просить Его, Он непременно услышит вас и исполнит вашу просьбу, если только она не противна Его святой воле. Он Сам сказал: "Просите, и дастся вам", - и поэтому смело прибегайте к Нему во всех ваших нуждах: идешь в училище, - преклони колени, но так, чтобы тебя никто не видел, кроме Бога, и попроси, чтобы Он озарил твой ум и память, и ты увидишь, что скорее и лучше будешь знать уроки, чем другие или сам ты прежде, когда не обращался за этим к Богу. Так поступайте всегда, перед всяким вашим делом. Молитесь, деточки, молитесь чаше; прощайте обижающим вас, и Бог мира будет всегда с вами. Каждый вечер и день кайся перед Господом, в чем согрешил, и моли Его благость, и в чем согрешил, уже старайся не делать более, и, если как-либо и опять согрешишь, опять тотчас кайся и говори: "Господи, я согрешил - помилуй меня и помози мне исправиться". И Он простит тебя и поможет твоему исправлению. Молитесь, дети, чаше Богу, и Он спасет вас.

Поучение это так врезалось в мою память, что вот уже сколько лет прошло, а я его записываю, как по книге читаю.

Как кончил владыка свое поучение, я принял его благословение, и с тех пор, с вечера того памятного дня, начал ежедневно класть три поклона: Господу

Иисусу, Божией Матери и всем святым.

XII

Винный откуп Ковалева кончился, и родитель мой вновь возвратился в дом свой в город Балашов и вскоре взял внаем на двенадцать лет водяную мельницу на реке Терсе, Аткарского уезда. Там же он снял и рыбную ловлю на реке Терсе и на прилежащих к ней озерах от сел Сосновки до села Матышова, где было большое рыбное озеро, в котором, случалось, в одну тоню неводом ловили лещей и судаков пудов по триста. Рыбу продавали в слободе Елани во время базарных дней. В этой же слободе была большая хлебная торговля, и в дни базарные здесь покупали и продавали тысячи четвертей пшеницы "кубанки". Купцы туда наезжали из города Ельца.

Вскоре родитель меня взял из дому к себе на мельницу, а мать наша со всеми семейными осталась при доме в Балашове. Мне было скучно жить на мельнице - я тосковал по дому и думал день и ночь, как бы мне сбежать от этой жизни и вернуться к матери в Балашов, где у меня был закадычный друг и брат по духу, уже раз бегавший от родителей в Киев к угодникам. Этот приятель мой, по пути в лавру, заходил в Оптину пустынь, был на благословении у старца иеросхимонаха Леонида в его келье, и старец, благословляя его, сказал при народе:

- Вот этот наш!

А товарищу его, купеческому сыну из Балашова сказал другое:

- Ну, этот не наш, а купец! - и еще что-то такое, не особенно лестное. Впоследствии товарищ этот сменил трех жен и скоропостижно скончался, а еще при жизни его меня и друга моего, когда мы с ним ходили в Оптину, старец Макарий предупреждал, чтобы мы с ним не имели дружбы, не были с ним откровенны и даже вовсе бы прервали общение. Сказано нам это было еще до его женитьбы.

Мысль о Киеве и о моем паломничестве в лавру неотступно преследовала меня, а тут еще привязалась ко мне скука: больно уж меня не удовлетворяла жизнь на мельнице - вдали от семейных, с отцом, который был целыми днями занят. Чтобы как-нибудь рассеяться, я ходил с удочками ловить рыбу на реку Терс. Часто уженье бывало удачно, и мне попадались на удочку крупные окуни. Это меня утешало. Ходил я и на охоту с ружьем: по лугам Терса было много озер и

из них одно большое - с песчаными островками и с большим камышом, где дичь выводила своих птенцов. В обилии, целыми стадами водились там кряковые утки, чарки, нырки и всякая другая утиная мелочь. Даже дикие гуси и те попадались большими стадами. Приволье, изобилие милой старины!.. Куда все это девалось?!..

По берегу Терса рос мелкий лесок, и в этом леске было много высоких муравьиных куч. Хаживая на охоту, я не оставлял мысли уйти в Киево-Печерскую лавру, и на реке ли с удочкой, на озере ли или в леске с ружьем, я сердцем был всегда там с великими Печерскими угодниками и чудотворцами. Особенно близок был моему духу преподобный Феодосий Печерский с его подвигами. И вот задумал я ему подражать: заходил в самую чашу леса, разрывал муравьиные кучи, снимал с себя все белье и так, опоясавшись только по чреслам, становился в самую середину разрытого муравейника. Муравьи моментально тысячами осыпали меня с ног до головы и, как мелким осенним дождем, обдавали меня брызгами своего едкого, жгучего спирта... Что это была за нестерпимая боль! Точно палящим огнем обжигала мое тело муравьиная злоба, а я, едва преодолевая добровольное свое мучение, становился на колени, возводя ум, сердце, очи и руки к небу и жарко молился Пречистой, чтобы Она удостоила меня побывать в Своей лавре для поклонения святым мощам и чудотворному Ее образу Успения. Молился я и преподобному Феодосию, чтобы он испросил у Господа милости быть мне иноком.

Такие подвиги я предпринимал почти всякий раз, как бывал в прибрежном лесочке, и, странно, нестерпимая боль подвига проходила, как только я надевал на себя белье - точно, как будто не меня кусали рассерженные насекомые, у которых я неразумно и безжалостно разрушал жилища.

XIII

Но несмотря на мое подвижническое усердие, моя мечта побывать в Киеве грозила так и остаться мечтой. Тогда я решился прибегнуть к хитрости, чтобы, так или иначе, а уже поставить на своем и развязаться с моим тоскливым житием на мельнице.

Отправившись раз на охоту с ружьем, я забрался на середину того большого озера, о котором говорил выше. На самой середине озера был остров, поросший густым камышом; туда можно было, хоть и с трудом, добраться по песчаным отмелям, которые мною были изучены в совершенстве. Под шелест камыша я

всесторонне обдумал свой рискованный план и решил, во что бы то ни стало, привести его в исполнение. Нужны были терпение и воздержание, а этому меня научили муравьиные кучи.

Залег я на своем острове и стал ждать, когда меня взыщутся на мельнице, а тогда, сказал я себе, дело видно будет. Так и просидел я до самого солнечного заката.

А между тем дома, на мельнице, меня хватились. Ждали к обеду, меня - нет; ждут к чаю, - я все не возвращаюсь. Стали расспрашивать у всех, - не видали ли где меня? Узнали, что я очень рано поутру ушел с ружьем на охоту. Давно уже мне была пора вернуться, а меня все нет. Родитель мой сильно встревожился и стал просить помольщиков, чтобы они сели верхом на лошадей и объехали бы окрестные места - по реке, в лесу, у большого озера - словом, объехали бы всюду, где можно было рассчитывать меня найти живым, или мертвым. Сочувствуя родительской тревоге, помольщики сели на своих лошадей и разъехались в разные стороны, и вскоре вся окрестность в разных направлениях огласилась криками:

- Фединька, Фединька! Где ты? Откликнись нам!

А Фединька, затаив дыхание, с трепетно бьющимся сердчишком, чувствуя в глубине совести, что творит не совсем что-то ладное, притулился на острове и из его камышей ни звука не подавал в ответ на отчаянные вопли помольщиков. Тем временем солнце уже почти закатилось, темнело, и мне на пустынном острове оставаться долее становилось жутко, и я, выбравшись из камыша, встал так, чтобы меня можно было увидеть с берега озера, с которого до меня долетали оклики разосланных за много гонцов. Меня вскоре заметили, и с криком: "Вон он! Вон он - на острове!" - ко мне по воде, верхом на лошади подъехал один из помольщиков, усадил с собой на лошадь, и все радостно вернулись на мельницу. Как обрадовался мне мой бедный, перепуганный родитель!.. Он бросился ко мне, осыпая меня вопросами, но я молчал, как воды в рот набравши: я решил притвориться помешанным... Еще более перепугался мой родитель и послал за священником, который жил от мельницы саженях в двухстах, близ церкви, за рекой Терсом. Пришел вскоре священник и начал со мной говорить, а я в ответ понес всякую чепуху, и все решили, что я сошел с ума, или объевшись какой-нибудь вредной травы, или еще по какой-либо неведомой причине. Велико было горе моего родителя! Тем не менее надо было на что-нибудь решиться, и по общему совету решено было меня запереть в чулан, где я... преспокойно и

преприятно проспал до утреннего чая. К этому времени пришел опять священник, и родитель мой, отперев дверь чулана, позвал меня пить чай... На стене чулана висела сабля, купленная родителем у какого-то прохожего солдата. На зов родителя я, как настоящий сумасшедший, быстро, вскочил с кровати, схватил со стенки саблю и бросился к двери, где стоял родитель, замахнулся на него саблей. Он быстро отскочил прочь... Я вновь и уже изо всей силы размахнулся и ударил саблей по двери, да так рубнул, что отколол половину дверной доски... Вслед за этим я заорал, что есть мочи: "Вот я вам дам!" - и понес такую околесную, что меня схватили и опять заперли в чулан... Никто не мог понять, что это вдруг со мною сделалось.

В это время приехал к нам на мельницу из Камышина двоюродный мой брат, Трифон Моисеевич, служивший дистанционным поверенным по откупу. Он ехал в Балашов для получения нового паспорта. Все ему обрадовались - в надежде, что он поможет определить, какая такая приключилась со мной душевная немочь, и рассказали ему все, что произошло. Он пожелал меня видеть, сам пошел за мной в чулан и, поздоровавшись, позвал меня пить чай. Я вышел из чулана довольно спокойно и сел за чай, молча прихлебывая из блюдечка, а потом опять, ни к селу, ни к городу, понес разную чепуху... Увидев, что мое душевное состояние нисколько не изменилось, родитель мой стал просить приехавшего брата свезти меня в Балашов, к матери, и все в один голос нашли, что меня нельзя в таком положении оставлять на мельнице, где я могу или изуродовать себя, или утонуть. Этого мне только и было нужно.

Родитель мой написал к матери письмо, и меня с письмом брат свез в город. Я выдерживал характер и все представлялся помешанным.

В городе меня не решились держать в доме, а сдали на попечение тетке, уже пожилой девице, сестре моей матери, жившей во дворе нашего дома, во флигеле, и помогавшей матери по домашнему хозяйству. Вот в этот-то флигель и заключили меня до времени, и тетка приставлена была ходить за мной. Она меня навешала в моем заключении и носила пищу. Я продолжал вести себя, как помешанный.

Уж на что умен был и проницателен дядя мой и наш благодетель Фока Андреевич Скляров, о котором я уже упоминал раньше, и того я ввел в заблуждение: он, как и прочие, поверил моей душевной болезни и посоветовал матери вызвать доктора. Сами Ковалевы, наши хозяева, приняли участие в нашем семейном горе и послали свою лошадь за доктором в село Падов, написав

ему от себя письмо. Приехал доктор, осмотрел меня, пощупал пульс, посмотрел язык, оглядел меня пристально, пожал плечами и поставил такой диагноз:

- Ничего особенно я в нем не нахожу. Со временем он придет в нормальное положение и будет здоров. Вы старайтесь ничего ему наперекор не говорить и развлекайте, чем можете, чтобы он был весел. Все пройдет со временем.

Поистине, для моих целей лучшего определения болезни сделать было нельзя!

С отъезда доктора маменька моя несколько успокоилась на мой счет и стала меня навещать во флигеле, а то прежде ходить боялась, да и горе ее было слишком велико. Я стал понемногу с ней разговаривать, иногда даже, как совсем здоровый, и однажды, подметив в ней доброе расположение духа, сказал:

- Маменька! Отпустите меня в Киев для поклонения святым мощам Печерским: я дал обет, что если вскоре выздоровею, то пойду в Киев в благодарность Матери Божией за мое исцеление. Верите, маменька, что если вы меня отпустите, я вскоре буду совсем здоров, а - нет, то я умру, мамаша!

На это мать ответила со слезами:

- Милый мой Фединька! Не в моей это воле - вот как отец согласится?!

- Да вы только, - сказал я, - от себя его поусерднее попросите: он вашу просьбу и желание, наверное, исполнит. А иначе, скажите ему, что я могу умереть. Ну что такое - отпустить меня недель на шесть не более?! И я вернусь к вам - за молитвы Богоматери и святых чудотворцев Печер-ских - здоровым.

Маменька пообещалась отпросить меня у отца, и - слава и благодарение Господу! - желание мое и просьба матери были отцом уважены.

Надо ли говорить, что я тут же и выздоровел!

Через несколько дней я уже отправился в путь к Киеву - пешком с попутчиками-богомольцами из нашего города.

XIV

И вот я - в Воронеже у раки святителя Митрофана, у Иоасафа - в Белгороде, у святого Афанасия Сидящего - в Лубнах, у святого Макария - в Переяславле, у Чудотворной Иконы Божией Матери - в Ахтырке, - и всюду - один: со своими

земляками я простился в Воронеже - дальше они не пошли. Наконец, достиг я и цели своих пламенных желаний. Солнце уже было на закате, когда я, мокрый от сильного дождя, застигшего меня неподалеку от лавры, усталый, дошел до святых ворот великой обители. Вечерня только что отошла, и богомольцы толпами расходились в гостиницы. В святых воротах мне встретился инок, остановился, взглянул на меня и неожиданно меня спросил:

- Откуда ты, мальчик?

- Из Саратовской губернии, из города Балашова, - ответил я.

- Что ж, есть у тебя здесь кто-либо из иноков знакомый?

- Вы, - сказал я, - святой отец, первый мне будете знакомый: я здесь в первый раз и никого не знаю.

- Тогда, - сказал он, - иди, брат, ко мне в келью - у меня и переночуешь. Поужинаем с тобою, а наутрие там, как Бог благословит...

И привел меня в столярную, где у него была и келья. Обласкал он меня, как отец родной, угостил ужином и уложил спать, сказав:

- Отдыхай, брат! А завтра пойдем к ранней обедне.

Можно ли выразить словами или описать, с какою радостью и восторгом вошел я в первый раз в главный соборный храм Успения Богоматери? Понять волновавшие меня чувства может только тот, кто хоть раз в жизни от всего своего сердца, от всего помышления, от всего существа своего возносил пламень своей молитвы к Богу...

Когда я, после поздней Божественной Литургии, подошел в числе прочих богомольцев к святой иконе Успения Богоматери, чтобы приложиться, я ощутил от нее такое благоухание, какого ни прежде, ни после уже более не обонял, но это не было благоухание розового масла, которым обычно умащают святые иконы, это было что-то такое чудное, с чем никакие запахи самых благовонных цветов сравниться не могут, и душа моя исполнилась восторга неземного.

Прожил я в лавре в гостинице более двух недель, как одно блаженное мгновение. Каждый день ходил в Пещеры к ранней обедне, и меня стали знать Пещерные монахи. Один из них, расспросив меня, чей я и откуда, поручил мне с ним вместе ходить со свечкой в руках - передовым с богомольцами, читать для них вслух

надписи на гробницах угодников. И я ходил, весь объятый трепетным восторгом, возглашал громким голосом святые имена тех, которых весь мир со мною вместе недостоин, клал земной поклон перед каждой гробницей, прикладывался к святым мощам со словами "святый преподобный (имя рек), моли Бога о нас", то же внушая делать и остальным следовавшим за мною богомольцам. Это добровольное и неизъяснимо для меня радостное послушание я нес почти каждодневно... О, святое, благословенное и на всю мою жизнь незабвенное время!..

Пришла, наконец, пора собираться мне и в обратный путь: побывал я во всех святых местах Киева - во всех храмах киевских, в Софийском соборе, у святой великомученицы Варвары - всюду возносил я свою пламенную молитву к Господу и Пречистой, и главной моей молитвой была просьба о том, чтобы Они меня приняли в число иночествующей братии, хотя бы на самое тяжелое послушание... Последнюю службу в Киеве я отстоял в Успенском лаврском соборе. Теснота в соборе была великая. Я стоял всю службу на коленях перед чудотворной иконой Богоматери. И жарка же была моя к Ней слезная молитва!.. Вверив себя и всю свою судьбу Преблагословенной, приложившись в последний раз к святой Ее иконе Успения, поклонившись Ей до земли, я пробрался к раке преподобного Феодосия, пал перед нею ниц и опять молился: слезы сами так и текли из глаз моих, как вешняя вода, пригретая весенним солнышком, и все об одном была моя молитва. Восторг моей молитвы дошел, наконец, до того, что я, не чувствуя себя, схватился за волосы, и с силой вырвал большую прядь волос. Со словами "вот тебе, преподобный, залог моего желания стать иноком" положил эту прядь сверх гробницы, прямо в руки изображения пр. Феодосия, и опять на коленях продолжал молиться и плакать у святой раки.

Вдруг вижу: из угла храма, где стоить рака, идет ко мне, раздвигая народную толпу, престарелый седой инок. Подошел он ко мне, нагнулся почти к самому моему лицу и тихо спросил:

- Это что же ты положил сверх раки-то на изображение преподобного?

- Это мои волосы, - тихо и ответил я старцу, - я вложил в руки преподобного, вверяя себя его святым молитвам. Он игумен здешний, и я просил, чтобы он умолил Господа - рано или поздно - быть мне иноком.

- И Бог исполнит твое желание, - тихо сказал, наклоняясь ко мне, старец и пошел обратно в темный угол, из которого вышел.

В тот же день я поклонился Киеву в последний раз и отправился в свой далекий обратный путь, на родину. По дороге заходил в Воронеж к великому святителю, архиепископу Антонию, получил его благословение и удостоился услышать из уст его ободрившее меня слово: "Подожди - рано еще - успеешь!.."

Стало быть, я буду монахом!.. Очень я был этим утешен.

XV

Как рады были родители моему возвращению из далекого странствования, всякий представить себе может. Благополучное мое возвращение внушило им ко мне такое доверие, что родитель мой нашел возможным вверить мне отдельную отрасль своих дел - свечную лавку, из которой он торговал оптом и в розницу восковыми свечами, и я стал, несмотря на свои юные годы, почти самостоятельным торговцем, приказчиком на отчете.

В это время я познакомился и близко сошелся с купеческим сыном Феодором Андреевичем Какирбашевым, торговавшим от меня по соседству - через лавку - юхтовым* и железным товаром. Сблизила нас с ним общая любовь к монашеству. Впоследствии он был наместником в Плошанской пустыни (Орловской губ.), где и окончил свою жизнь, приняв перед смертью схиму. К нашей дружбе присоединился еще и другой сосед, тоже купеческий сын, торговавший галантереею, бакалейным и колониальным товаром. Этого путь впоследствии ничего не имел общего с нашими юношескими стремлениями и надеждами. Но в то время мы все трое были, как одна душа, и стремились к одной цели, и целью этой был монастырь и подвиги иноческой жизни. Только воля родителей стояла перед нами, как стена, непреодолимой преградой к осуществлению наших пылких влечений.

---

* Юхтовый, юфтяной (от юхть, юфть): кожаный (из кожи, выделанный из чистой кожи).

Жили мы тогда так: день занимались каждый своей торговлей, а наступала ночь - мы собирались вместе в теплушку к галантерейщику и там по целым почти ночам молились, читая акафисты. Псалтирь, каноны, а когда изнемогали от трудов бденных, то, прочитав молитвы на сон грядущий, помянник и главы три из Евангелия и Апостола, ложились спать, укрепляя себя взаимным примером и

добрыми советами. Ночным караульщикам наших лавок было вменено в обязанность будить нас в три часа утра, и в этот ранний час мы опять становились на молитву. Кроме того, мы каждый день стали ходить и в будни к утрени и к обедне, прислуживали в алтаре, носили подсвечник, подавали кадило, читали часы. Нам из всего города принадлежал первый почин подавать просфоры на проскомидию о здравии и упокоении, чего раньше в Балашове не было в обычае. На нас глядя, стали подавать и другие, так что вскоре к проскомидии стало собираться частных просфор до пятидесяти и более. Богатое наше именитое купечество, усердное к Божиим храмам, так полюбило этот добрый христианский обычай, и через то приношение просфор до того умножилось, что печение просфор стало прибыльным занятием, которым занялись несколько девиц, и оно стало источником их пропитания. Священники нас очень любили за наше усердие и звали "монашатами", а сверстники подсмеивались и то же прозвание обращали в насмешку. Особенно недоброжелательно к моим стремлениям и моему поведению относился старший мой брат, Феодор, служивший при откупных делах конторщиком и кассиром. Начитался он Пушкина и других светских писателей, и колом в горле стояло у него монашество... Подавали мы и милостыню, и заключенных в темницах посещали - словом, всей душой стремились осуществить в своей юной жизни заветы Христова учения.

А мысль о монашестве все росла и зрела в моем сердце. Нетерпеливый мой характер едва мирился с препятствиями...

День и ночь я думал свою неотступную думу и, наконец, решился на тайный побег. Остановка была за паспортом, но план у меня уже созрел, оставалось только привести его в исполнение.

XVI

Как старожил и домовладелец, отец мой был хорошо знаком почти что со всеми именитыми гражданами нашего города: секретарь Градской думы или, по тогдашнему, магистрата, Яков Иванович, был моему отцу приятелем, и вот из этих-то добрых отношений я и замыслил извлечь выгоду для выполнения плана моего побега. Задуман он был хитро, и я до сих пор удивляюсь той ловкости и смелости, с какой устроил свое бегство.

Выбрал я денек, когда отца дома не было, и пошел в думу, и, хотя это был Царский, следовательно, неприсутственный день, я знал, что Яков Иванович, как

добрый пример службиста, будет на своем посту, несмотря на праздник. Мало таких осталось теперь ретивых чиновников, да какие и остались, то терпят их на службе больше из милости... Яков Иванович, действительно, был в думе и сидел на обычном своем месте, разбирая вновь поступившую почту. Я смело подошел к нему и попросил его написать и выдать мне паспорт.

- Что, али куда собираешься ехать? - поглядывая на меня поверх очков, спросил Яков Иванович...

- Да, нужно спешно ехать с восковыми свечами на ярмарку в село Карапшовку, Аткарскаго уезда.

- Э, Фединька, не вовремя ты пришел-то сегодня: ведь нынче табельный Царский день, а присутствия-то в эти дни не бывает... Впрочем, погоди, спрошу у писца, не отперт ли сундук, где хранятся бланки.

Сундук, на мое счастье, оказался отпертым.

- Ну. так возьми ж сам в сундуке один бланк, напиши его, занумеруй и приложи печать. А там снеси его к подпису к твоему дяде - он гласный, а - нет, к градскому голове, Филиппу Александровичу - кто-нибудь из них тебе и подпишет.

Все это, за исключением подписи гласного или градского головы, я проделал, занумеровал свой паспорт; секретарь его подписал и печать приложил. Я поблагодарил доверчивого Якова Ивановича и отправился домой. Дело мое, стало быть, остановилось за главной подписью. Что теперь делать? - думал я, - дяде сказать про паспорт нельзя - он родителю скажет, или брату, или матери; спросит, куда и зачем я еду, и тогда весь мой план будет разрушен... Постой! - вспомнил я, - дома, в столе, есть старый папашин паспорт. Пришел домой, полез в стол, нашел паспорт, приложил его к оконному стеклу вместе с моим бланком и сперва карандашом, а затем чернилами, свел подпись городского головы, да так искусно, что сам Филипп Александрович прозакладывал бы свою голову, что это им подписано, и паспорт мой, таким образом, оказался в полном порядке.

Вечером, когда все улеглись, я из своего сундука достал две смены белья, несколько серебряных рублей и два десятирублевых золотых и в ту же ночь тайно бежал из города, никому не сказавшись и не простившись ни с кем из родных. Только мой друг и брат духовный, Феодор Андреевич Какирбашев знал о моем побеге и даже провожал меня за город. Он уже бывал и сам раз в таких

бегах и некоторое время прожил послушником в Плошанской пустыни, пока его силой не вытребовали родители. На его сочувствие и скромность я мог вполне рассчитывать. С его кожаной сумочкой, с которой когда-то и он бегал, убежал и я.

Куда я шел, я и сам не знал... На другой день своего бегства я нагнал по дороге целое семейство паломников, вышедших раньше меня из нашего города. Шли они в Воронеж на поклонение святым мошам святителя Митрофана; с ними и я дошел до Воронежа. А дальше куда?.. Тут я вспомнил, что некогда у моего родителя в услужении был один молодой человек родом из обедневших дворян, по фамилии Костенков. Про него я много слышал от моей покойной бабушки, которая рассказывала, что это был молодой человек необыкновенно расторопный и услужливый и, что называется, молодец на все руки; но одним он моей бабушке не нравился и крепко не нравился: сквернослов он был ужасный, особенно, когда бранил рабочих, но, что всего более было бабушке не по сердцу - это то, что от него проходу не было женскому полу, и матери горько обижались за своих дочерей. Сколько раз бранила его моя бабушка, сколько усовещивала, а он все твердил одно:

- Не бранись, бабушка! Вот уйду в монахи, тогда и за тебя буду Богу молиться.

- Э, пес, пес! Уж тебе ли быть монахом! - ворчала на него бабушка, - такому-то озорнику, шалаборнику, девушнику?!

- Ай, бабушка, бабушка! - со смехом отзывался на бабушкино ворчание "озорник", - не такие еще, да и то попадали в рай, а в монастырь-то попасть легче... Тогда, бабушка, я за тебя буду молиться, а пока ты за меня молись, чтобы Бог помог мне исправиться.

Только долго не исправлялся "озорник", и бабушка все ворчала и гневалась, хотя, я уверен, втайне за него молилась... И вот настал день, пришел "озорник" к моей бабушке и, весело улыбаясь, объявил ей:

- Вот что, бабушка! Пришел я тебя благодарить за все твои выговоры и благие пожелания. Благослови меня теперь, вместо матери, идти в монастырь - час мой настал, и я желаю порешить с миром. Не забуду я никогда твоей брани и добрых советов и буду, пока жив за тебя молиться, а ты молись за меня, окаянного грешника!

Надо ли говорить, как таким речам обрадовалась бабушка? Она благословила

"озорника", обняла своей старческой рукой, как мать родная...

- А деньги-то у тебя, "озорника", на дорогу есть? - спросила бабушка.

- Ни копейки, бабушка, нет!

Она пошла его провожать за город и. сняв с себя крест, благословила его еще раз, надела свой крест ему на грудь и дала ему на дорогу пятьдесят копеек старыми пятаками. Поклонился "озорник" бабушке до земли уже не с улыбкой, а со слезами, и направил свой путь к Троице-Сергиевой лавре... Потом дошли до бабушки слухи, что Костенков поступил послушником к преподобному Сергию, обратил своей даровитостью и ревностным послушанием на себя внимание лаврского начальства, лет через восемь после своего поступления в обитель был посвящен во иеромонахи и неоднократно сопутствовал митрополиту Филарету в его поездках в Петербург... Потом, как я слышал, он был строителем Давыдовской пустыни. Имя его в монашестве было Герасим.

XVII

Вот об этом-то Герасиме я вспомнил и решил из Воронежа идти к нему в Троице-Сергиеву лавру, а там, подумал я, видно будет, как Господь устроит мое желание...

Отправился я из Воронежа, конечно, пешком на Задонск. Тогда еще не были открыты мощи святителя Тихона. Из Задонска, помолясь Богу и отслужив панихиду в пещерке, я пошел на Москву и оттуда, уже не помню на какой день, во время вечерни пришел в Троице-Сергиеву лавру. Войдя в ограду обители, подошел к книжной лавочке и спросил монаха, как мне найти иеромонаха Герасима.

- Подождите немного здесь, - ответил мне монах, - отец Герасим - служащий. Вот отойдет вечерня, он пойдет тут мимо нас в свою келью - тогда вы и подойдите к нему.

И точно: не прошло и получаса, стал народ выходить из храма, вскоре вышел и отец Герасим: роста великого, с прекрасными, длинными и волнистыми волосами, с небольшой бородой и необыкновенно величественной, прекрасной наружностью.

На него мне указал лавочный монах и сказал:

- Вот он - иди к нему под благословение!

Я подошел и, поклонившись до земли, принял его благословение.

- Ты откуда, мальчик? - спросил меня отец Герасим.

- Из города Балашова, - отвечал я, - внук известной вам бабушки Василисы Семеновны. Она вам кланяется и просит ваших святых молитв.

Бабушка моя еще тогда была жива... Радостной улыбкой осветилось лицо отца Герасима, и с любовью он переспросил:

- Так ты ее внук? Сын Афанасия Родионовича?.. Давно ль ты здесь?.. Идем же со мной в мою келью!

С какой теплой радостью обнял меня и вновь благословил отец Герасим, когда мы вошли с ним в его келью. На столе уже был приготовлен чай и за чаем он прямо засыпал меня вопросами: о бабушке, о родителях, о всем нашем житье-бытье... Любовь и добрая память о прошлом чувствовались в этих расспросах - я едва успевал отвечать на них отцу Герасиму...

- С кем же ты сюда приехал? - спросил батюшка.

Пришлось тут рассказать ему все о моем тайном побеге из родительского дома и о моем стремлении поступить в монастырь.

- В какой же ты монастырь желал бы поступить? - спросил меня отец Герасим.

- Да вот, - ответил ему я, - хотя бы к вам, в келейники.

- И с радостью я бы тебя оставил у себя, - сказал мне он, - но, видишь, друг, - выйдет твоему паспорту срок, тебе необходимо будет вернуться домой к родителям, а за год, что ты пробудешь у меня в многолюдной лавре, ты ничему не будешь в состоянии не только научиться, но даже увидеть как следует иноческую жизнь. Мой тебе совет: поживи здесь недельку-другую и отправляйся в Оптину пустынь, в скит, к отцу Макарию - поживешь в Оптиной год и увидишь истинных монахов-подвижников; а в твои лета здесь оставаться тебе будет не на пользу.

- А далеко ли эта Пустынь?

- Да верст двести с небольшим: от Калуги до Козельска и Оптиной верст около

семидесяти... Вот там есть истинные подвижники монашеской жизни и старчество, а здесь, Фединька, бойкое место - слишком людно, в твои лета, без опыта монашеской жизни, говорю тебе, любя и из благодарности к твоей бабушке и родителям, здесь жить тебе будет не в пользу. В Оптиной все узнаешь, все поймешь: великий старец иеромонах Макарий и великие там подвижники.

Два дня прожил я у отца Герасима в Троице-Сергиевой лавре и, нежно, с любовью простившись с ним и получив его благословение, отправился обратно в Москву, а из Москвы - на Калугу и в Оптину.

XVIII

Был жаркий, ясный летний день, когда я, отмахав семьдесят верст от Калуги до Козельска, подходил к Оптиной. Солнце уже склонялось к закату, жара спадала... Я сильно устал - и то сказать: семьдесят верст пройти за один день - не шутка, впору и большому пешеходу постарше; не дойдя до перевоза через реку Жиздру*, быстро несущую свои воды под самой Оптиной, я свернул около небольшого озера налево, в лесок. Мне захотелось есть. Я снял с плеч свой кожаный мешок, вынул оттуда хлеб, яички, соль... и в эту минуту вдруг вспомнил о матери, о родительском доме, о скорби, какую я причинил своим побегом матери, представил себе ее горе, безутешные слезы... и стало мне до боли жалко мать свою родную. Пал я на колени и горько-горько заплакал.

---

* Река, протекающая под Оптинон пустынью.

Жарко я молился тут Богу и Пречистой, моля Их избавить мою родимую от ее сердечной муки, внушить ей и всем близким надежду на мое благополучное возвращение... После молитвы я немножко успокоился и сел закусывать, а закусивши, опять заскорбел: куда я пришел? - Нет у меня здесь никого - не только близких, но даже и знакомых... Говорил мне, правда, отец Герасим, что в скиту есть два инока из Саратова - Никита и сын его Родион, но ведь они, с горечью думалось мне, люди мне совсем незнакомые... Что-то ждет меня в этом чужом для меня месте?.. Между тем солнце уже закатывалось: надо было решаться, и я со скорбью в сердце пошел к парому. Паром стоял под другим берегом на Оптинской стороне. У парома суетился перевозчик - старичок лет

шестидесяти...

- Дедушка! - стал кричать я ему, - перевези меня на тот бок!

И он мне ответил протяжно, по-стариковски:

- Сей-час, род-но-ой! - и подтянул паром к моему берегу. Тихонько передвигал он старческими своими руками канат и, когда мы были уже на середине реки, вдруг зазвонили в Оптиной во все колокола. Шла всенощная, это был второй звон. Мой старичок-перевозчик осенил себя крестным знамением и, поглядев на меня пристально, сказал:

- Вот еще какого перевожу: в первый раз и со звоном!.. Да ты, мальчик, откудова?..

- Из Саратовской губернии!

- Из Саратовской? Эва, откуда! Издалека ж ты пришел. Что ж, есть у тебя тут родные что ль?

- Нету, дедушка, нет никого.

- Да к кому ж ты идешь?

- Да, старец тут у вас есть какой-то отец Макарий!

- Есть, брат, есть - он в скиту живет - в скит ступай, там его и найдешь.

Переехал я через Жиздру и прямо пошел в церковь, где шла служба. Это был храм, как я потом узнал, во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. В церковь нельзя было пробраться - столько набралось народу, и я встал у двери направо... Ноги мои от усталости и от дорожной пыли, что набилась в обувь, горели, как в огне. Простоял я с полчаса, больше не мог уж и терпеть и, выйдя из храма, сел на ступеньки паперти, разулся и стал из портянок выколачивать пыль... Ко мне подошел престарелый инок с седой бородой и спросил:

- Ты это, брат, откудова?

Я ответил. Он не удовлетворился моим ответом и продолжал:

- Эва, откуда! Далеко!.. А ныне-то откуда пришел?

- Из Калуги.

- Что ж, родственники у тебя, что ль, здесь есть?..

- Нет, батюшка, ровно никого - ни родственников, ни знакомых...

И с этими словами я заплакал... Старичок-монах с любовью и необыкновенно теплым участием опять обратился ко мне с вопросом:

- Что, аль к нам в обитель послужить пришел?

- Да, батюшка, - ответил я, - желаю быть монахом... Где, скажите мне, найти тут старца отца Макария - я про него слыхал в Сергиевой лавре?

- О, любезный мой! Так иди ж к нему скорее, а то кабы в скиту не заперли ворота.

И добрый старец проводил меня до самого скита и, прощаясь со мной у калитки, ласково сказал мне:

- Ну, теперь иди с Богом! Мне ведь все странники родные: я сам, брат, по-твоему, много прошел... Ну, ступай, иди с Богом. Мир тебе!

XIX

В те времена, когда со мной совершились эти события моей жизни, скитский лес был куда гуще и величественнее, чем теперь, и в вечном полусумраке его святой тайны Божьего девственного создания, догорающий день быстро сменялся мраком ночи, и ночная тень ложилась плотнее и гуще, чем на просторе обширного Оптинского монастырского двора. Дивно красив был это время скитский лес, когда в благоговейном трепете подходил я со своим путеводителем к святым воротам, скрывавшим за собой, казалось мне, истинных небожителей, временно и только для назидания людям сошедших с горнего неба на грешную землю... Вспомнил я по дороге, что отец Герасим, прощаясь со мной в Сергиевой лавре, сказал:

- А ты постарайся найти, как придешь в Оптину, в скиту двух рясофорных монахов, отца с сыном - они ваши, саратовские. Зовут отца Никитой, а сына Родионом: они, наверное, тебе будут ближе других.

И вот, идя дорожкой по лесу в скит, я и думал: ах, если бы мне найти своих

земляков - все бы было лучше...

Когда ушел мой старец-путеводитель, еще не входя в святые ворота, я, бросился на колени перед изображениями святых отцов на стенах святого входа и слезно им помолился, чтобы они меня приняли в скитскую братию, и затем трепетно переступил порог скита, осенив себя крестным знамением... Меня сразу обдал густой, чудный запах резеды и всей благовонной роскоши скитских цветов на заре догоревшего знойного летнего дня... Прямо передо мною, пересекая мне дорогу, смотрю, идут два инока... В скитском храме зазвонили во все колокола... Я поклонился инокам в землю...

- Откуда, брат?

Я назвал свою родину. Иноки переглянулись между собой...

- Не знаете ли, - спросил я, - где мне здесь найти двух монахов, отца с сыном из Саратовской губернии, по фамилии, кажется, Пономаревых?

- А что ж, они родственники тебе, что ли?

- Нет, - говорю, - не родственники, а как у меня здесь никого нет, то я и ищу хоть земляков.

- Ну, и слава Богу говори: твои земляки с тобой-то и разговаривают - я отец, а это - мой сын...

При этом они мне дали братское целование. Это были Никита и Родион Пономаревы, в монашестве Нифонт и Илларион. Сильно обрадовался я этой встрече, в которой не мог, конечно, не усмотреть промыслительного о мне, грешном, Божьего смотрения. Скит мне сразу сделался родным.

- А где мне увидать старца Макария? - спросил я земляков.

- Пойдем в церковь, - предложил отец Илларион, - он там, и я тебя подведу к нему под благословение.

Батюшку Макария мы, действительно, застали на молитве в церкви. Шло бдение. Доложили ему обо мне:

- Какой-то странник, батюшка, вас спрашивает. Желает вас видеть и сказывает, что он наш с отцом земляк, - доложил старцу отец Илларион.

Надо сказать, что Пономаревым я при встрече не успел ничего другого объяснить, кроме того, что я ихний земляк: ни имени моего, ни фамилии они не знали, да и во всей Оптиной меня никто знать не мог.

- Где он? - спросил старец.

- Стоит у церкви.

- Приведи его ко мне.

... Отец Илларион ввел меня в церковь и подвел к старцу. С замирающим от волнения сердцем я упал ему в ноги, а когда встал, старец, благословляя меня, сказал:

- Э, да это, знать, Федор!.. Дивное прозрение...

- Откуда ты сегодня пришел?

- Прямо из Калуги, - ответил я, вне себя от изумленной радости, представ перед дивным старцем.

- Так веди ж его скорей в трапезу, - сказал батюшка отцу Иллариону, - да скажи повару, чтобы он хорошенько, чем Бог послал, его накормил... Да, ты уж после ужина-то не ходи ко бдению, - обратился ко мне старец, - ложись спать, а то ты устал, голодный!

Правду сказать, и голоден я был, да и было мне с чего устать, пройдя за день более шестидесяти верст.

В трапезе меня накормили досыта. Смотрю, отец Илларион тащит мне подушку...

- Это мне к чему ж? Я еще хочу пойти ко бдению, - сказал я отцу Иллариону.

- Старец не благословил, а велел спать ложиться, - возразил отец Илларион.

Пришлось умерить свое усердие. Ложась спать, я попросил отца Иллариона побудить меня к обедне и... заснул сном крепчайшим. Это была первая моя ночь в Оптинском скиту. Ни снов, ни видений: как лег, так и заснул беспробудно до следующего утра.

XX

Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тот же инок пришел в трапезную и разбудил меня. Был уже восьмой час утра.

- Ну, земляк, - сказал он мне, - батюшка отец Макарий прислал за тобой, чтобы шел к нему в келью чай пить.

- А как же обедня-то?

- Обедня? Обедня-то уж отошла, и батюшка за тобой послал, придя от обедни. Я у батюшки келейником, и будить тебя к обедне он меня не благословил. Не скорби о том, что проспал обедню - это так старцу было угодно, и послушание паче поста и молитвы. Вот завтра, живы будем и Господу будет угодно, разбудят тебя в два часа, тогда вставай, только не ленись!

При этих словах мы подошли к келье старца, отец Илларион мне сказал:

- А как взойдешь к старцу, будь посмелей и говори ему все откровенно, как отцу, да взойдя помолись и потом поклонись старцу до земли - такое у нас чиноположение.

А я не только готов был кланяться, но и ноги целовать старцу и землю, на которой следы стоп были его...

Когда мы взошли в прихожую старцевой кельи, батюшка отец Макарий сидел в белом холшевом балахончике с четками в руках. Встретил меня старец весьма ласково. Я поклонился земным поклоном, и он, благословив меня, с ангельской улыбкой сказал мне:

- Что, брат Федор, проспал? Выспался?

- Простите, батюшка, проспал.

- Что ж, приятный сон был у тебя?

- Да, я и не просыпался - крепко спал.

- А поблагодарил Господа за приятный и здравый сон?

- Нет, батюшка!

- Ну, так иди ж вот с келейным отцом Илларионом, и пейте там вместе с отцом Амвросием чай, и тогда в келье положи пятьдесят земных поклонов и поблагодари благого Господа за дарованный сон. Знаешь ли, кому дает Господь приятный сон?

- Не знаю, батюшка.

- Он дает сон любящим Его: "Аше поспиши, сладостно поспиши"...

В это время взошел второй келейник старца, как я потом узнал, иеродиакон отец Амвросий.

- Возьми-ка вот брата-то, отца Феодора, к себе в келью, и пусть он у вас и живет с отцом Илларионом... Поите его чаем и берите с собой в трапезную до тех пор, пока я не позову его к себе...

В другой раз пили мы чай все вместе: старец, отец Илларион, отец Амвросий и я - у старца в келье. За чаем батюшка подробно и ласково расспрашивал меня о родителях, о родине, о моем желании поступить в монастырь...

- Так ты хочешь быть монахом? - спросил меня старец.

- Хочу, батюшка.

- Молись прилежнее Богу, будешь и монахом. После чая мы с келейником вышли от старца все вместе в келью отца Амвросия, где отец Илларион сообщил мне о себе, что он с отцом своим родом из Саратова и в нашем городе хорошо знаком с нашим городским головой, Филиппом Александровичем Туркиным. Много мы тут побеседовали с ним о родине...

Отец Илларион вскоре ушел, и отца Амвросия позвали к старцу. Уходя, отец Амвросий дал мне книжку Исаака Сирского, и я прочел в ней "о молитве", а затем занялся осмотром внешней обстановки кельи. Незатейлива была она: жесткая деревянная кровать; под кроватью большое лукошко с соломой; на кровати узенький полстничек* и подушка с холщевой наволочкой. В переднем углу небольшой образ, и перед ним горела лампада; стул, столик и рукомойник с тазом - вот и вся келейная мебель, что была в то время у отца Амвросия... Лишним казалось мне только лукошко с соломой... Когда вернулся в келью отец Амвросий, я спросил:

---

* Полстничек: лоскут, покрышка.

- На что вам, батюшка, лукошко это?

- Да вот, хочу гусенят выводить, - ответил мне, смеясь, батюшка...

Так и не узнал я, на что ему было лукошко. Шутник был батюшка и шутник приятный - с ним весело жилось, но в шутках его всегда заключалось что-либо назидательное и полезное для жизни.

XXI

Спустя три дня отец Амвросий сказал мне:

- Брат Феодор, иди к старцу отцу Макарию - он пойдет с тобой к отцу игумену Моисею для определения тебя в обитель.

Когда мы со старцем пришли в игуменские покои, отец Макарий ввел меня из прихожей в зал, а сам пошел в кабинет или спальню к отцу Моисею, и спустя минут двадцать они вышли в залу. Тут в первый раз увидел я великого игумена. Поклонился ему в ноги и принял благословение, а отец Макарий представил меня:

- Вот, батюшка отец игумен, я привел вам нового подвижника Федора; он желает поступить в монастырь для испытания себя в иноческой жизни: благословите его принять.

- Благословен Господь, посылаяй к нам рабов Своих, - ответил отец игумен, - а паспорт-то у тебя есть? - обратился он ко мне.

Я подал паспорт.

- А деньги есть у тебя?

У меня сохранились мои два золотых и еще несколько серебряной мелочи. Я отдал деньги, и он при мне положил их в ящик стола, стоящего в зале, и потом звонком вызвал молодого келейника и сказал:

- Беги в рухольную* и спроси у рухольного, чтобы он дал тебе на его рост свитку и пояс ременный.

_____

* Рухольня - мастерская.

_____

Стремглав побежал келейник. Пока он бегал в рухольную, отец Моисей кратко объяснил мне монастырское чиноположение Оптиной, обязанности истинного послушника и, объявил мне, что принимает меня в число братства, и благословил мне дать келью в среднем этаже, что у ворот близ булочной лавки, окном на реку Жиздру.

Быстро возвратился из рухольной келейник и принес мне послушническое одеяние. Надо было видеть, из чего состояло это одеяние! Свитка из сурового мухояра, поношенная, с несколькими заплатами, а пояс - простой белый, корявый с железной петлей для затяжки, точно чересседельник для рабочей лошади...

Отец игумен взял в руки свитку, поглядел, показал мне...

- Ведь вот, брат Федор, какая одежда-то у нас! - сказал он мне как бы с сожалением, - плоховата, вишь, одежда-то!

- Так что ж, батюшка? - отвечал ему я, - ведь преподобный-то Феодосий Печерский, когда бежал от матери, такие же носил, а не шелковые...

- А ты разве знаешь житие преподобного?

- Читал в Патерике.

- Ну, хорошо - так скидай же сюртучок-то свой, да в подражание преподобному и носи эту свитку.

И сказавши это, отец игумен благословил и меня, и свитку. Оба старца помогали мне снимать мой сюртучок, помогли надеть и свитку; а когда меня нужно было опоясать, отец игумен взял в руки ремень, посмотрел на него и, показывая мне его опять как бы соболезнуя, промолвил:

- Вишь, и пояс-то дали какой корявый! - и, оба вместе с отцом Макарием,

подпоясав меня, застегнули, как должно. Я поклонился отцу игумену в ноги, и оба старца меня благословили...

- Ну, теперь спасайся о Господе, - сказал мне отец игумен, - молись усерднее, старайся подражать жизни святых отец, будь образцом и для нас, немощных. А что тебе будет нужно, приходи ко мне и говори все небоязненно, а мы, по силе возможности, будем утешать и тебя, как ты утешил нас своим приходом к нам в обитель, из любви к Богу оставив своих родителей и вся яже в мире. Господь да укрепит тебя, иди с миром, а утром я назначу тебе послушание.

Со слезами бросился я к ногам старцев, облобызал их в восторге радости, что меня приняли в обитель и, поцеловав затем благословляющие их руки, пошел за келейником и водворился в назначенной мне келье.

Так совершилось мое первое вступление в великую Оптину пустынь.

XXII

Келья, мне отведенная, должно быть, давно была необитаема, и воздух был такой спертый, что, отворив в нее дверь, я так и не затворял ее до тех пор, пока меня не перевели в корпус, где была живописная, назначив мне в ней проходить послушание и учиться живописи. Недолго я жил в этой башне, но как ни была неприглядна ее обстановка, я не могу передать того чувства, которое испытывал тогда в своем сердце: я горел огнем ревности и любви к Богу... Боже мой! Что это была за радость! Сердце, как воск, таяло, и для меня легко было всякое послушание. Я тер в живописной краски, топил баню, ходил на общие послушания, поливал овощи, убирал сено, красил с отцом Пименом полы в Казанской церкви, сажал капусту. Потом назначили меня в кухню, где через полгода сделали поваром. Трудное было это послушание, но для меня и его было мало: я старался, когда отдыхали помощники, за них что-нибудь сработать - носил дрова, хлебы из хлебни, разрезал их на ломти, раскладывал рыбу по блюдам, словом, я, что называется, сгорал от жажды деятельности. Когда меня назначили в живописную, я учился рисовать карандашом и тушью; ходил к ранним обедням, где пел на клиросе - голос у меня хороший - дискант; опять тер краски и снова красил с отцом Пименом полы. При этом я исполнял некоторые обязанности келейного у отца Петра Александровича Григорова, хотя и жил в живописной. Обязанности эти не были особенно сложны: я ставил ему самовар и убирал келью, за что он поил меня чаем и дал мне разрешение пользоваться своей библиотекой.

Этот Петр Александрович Григоров был из военных - человек ученый; служил на военной службе в царствование Государя Александра Павловича и в смутные дни воцарения Николая I. Затем ушел в Задонский монастырь, где был келейником у великого затворника Георгия, после смерти которого поступил в скит Оптиной пустыни и был в Оптиной вроде письмоводителя. Замечательный был это человек, и я от него многому понаучился, наслушавшись у него и про многие политические тайны прошлого времени, и про его собственную жизнь, и про великого раба Божия Георгия затворника. Хорошо мне жилось в живописной! Петр Александрович меня любил; батюшка отец Макарий - тоже. Оба они меня ласкали своими милостями: к отцу Макарию было разрешено ходить, когда было мне можно, и утром, и вечером в келью к келейникам батюшки - отцу Иллариону и отцу Амвросию. Баловали меня даже пряниками, которые я получал и от старца, и от Петра Александровича. Сладко мне жилось в Оптиной - это было в 1845 году, и жутко было подумать, что придется-таки мне дать о себе знать на родину, когда истечет срок паспорту. А как не подать весточку о себе родителям, которые обо мне ровно ничего не знали... Хотя любовь к Богу и побеждает любовь естественную, но не могу и не хочу скрывать, что, живя в обители, я часто вспоминал скорбь своей матери и нередко со слезами падал на колени перед чудотворным Казанским образом Божией Матери, что в Казанской церкви, и молил Преблагословенную, чтобы Она утешила Своею благодатною силой горе моей дорогой родительницы.

А все-таки мне было жутко открывать свое блаженное пребывание в Оптиной. И мудро ли то было, когда Оптина была не только для меня, убогого разумом, но и для высоких людей уголком рая, точно забытым ненавистью врага рода человеческого или, вернее, огражденным от нее всесильной властью Царицы неба и земли, Приснодевы Богородицы. Благолепие храмов и священнодействий; стройное пение; примерная жизнь в духе благонравной и преуспевающей духовно под богомудрым водительством старца Макария и игумена Моисея братии; дивные службы церковные, окрыляющие дух пренебесной радостью... Могло ли что на земле сравниться с дивной Оптиной!.. А отдельные подвижники Оптиной, эти земные небожители! Старец Макарий; игумен Моисей; иеросхимонах Иоанн, обличитель и гроза раскола; Варлаам, бывший игумен Валаамский, с тяжелым сосновым отрубком на плече: "томлю томящаго мя", - ответил он, когда нечаянно был застигнут одним из братии за тайным своим подвигом - безмолвник и созерцатель, делатель умной молитвы... А Петр Александрович Григоров, оставивший вся красная мира, о котором я уже сказывал! И многие другие, явные и тайные подвижники духа, известные или только Одному Господу доведомые, коеми изобиловала тогда Оптина! Богом

моим свидетельствую, что при игумене Моисее обитель Оптинская цвела такой высокой нравственностью, что каждый мальчик послушник был, как старец. Я видел там в полном смысле слова земных ангелов и небесных жителей. Что это было за примерное благочиние, послушание, терпение, смиренномудрие, кротость, смирение! Оптина была школой для российского монашества.

Вспоминая любовь старца Макария, не могу не упомянуть об одном знаменательном помысле, вошедшем мне в сердце, когда я раз пришел к нему в келью пить чай с его келейниками. Самовар еще не ставили. Был жаркий июльский день. Сидя на крыльце кельи, я услышал стук топора за кельей. Я пошел на этот стук и застал келейника, иеродиакона Амвросия, трудящимся до поту за одного больного брата, послушника Василия. Я смотрел на его ревность из любви к больному брату и молился мысленно, чтобы Господь призрел на дело любви и благословил дни его жизни. И в это время я услышал в себе внутренний голос, мне говорящий ясно произнесший: "Этот отец будет по времени старцем в этой обители вместо отца Макария". Впоследствии помыслу этому суждено было сбыться: иеродиакон Амвросии стал по смерти отца Макария великим Оптинским старцем.

Но ни помыслам, ни благодатным видениям, как бы ни были они знаменательны и вожделенны, старец Макарий не дозволял давать легкомысленной веры.

Однажды, во время описываемого мною пребывания в Оптиной, был со мною такой случай. Заболело у меня горло, сделалась сильная опухоль, и я сильно заболел.

Смерти я не боялся, но мне хотелось еще потрудиться в обители, и так как болезнь грозила принять серьезный оборот, то я сильно упал духом. В скорби духа я заснул и вижу во сне, что я лежу больной, и вот - подходит ко мне Спаситель, как Его пишут на иконах явления Марии Магдалине по Воскресении, - нагой, через плечо покрытый покровом, и говорит мне:

- Феодор, ты нездоров?

- Нездоров, Господи!

Спаситель приблизился ко мне и рукою Своею вскрыл мне грудь, так что я увидел свое сердце и всю мою внутренность...

- Да - нездоров, - сказал Он, и сказавши это стал ко мне боком, и из ребра Его

брызнула на меня фонтаном Кровь и вода; как дождь благодатный, оросили они мне все мои внутренности. Затем Он закрыл мне грудь, еще раз оросил ее Своею Кровью и, сказавши:

- Теперь ты будешь здоров, - стал невидим, а я проснулся.

Опухоли в горле - как не бывало, и я встал с постели совершенно здоровым.

Немедля пошел я в скит к старцу отцу Макарию, чтобы рассказать о дивном видении. Старец выслушал меня со вниманием и, обычной ему любовью, и несколько помолчавши, сказал:

- Что ты сделался здоров, за это благодари Господа, но сну этому не верь.

- Как же так, батюшка, не верить-то? Вы сами свидетель, что я был сильно болен, а вот - мгновенно - здоров, - возразил я не без горечи и удивления старцу.

- Слушай меня! - призвал отец Макарий, - если бы и точно, за молитвы святых отец, сон твой был благодатный, то и тогда гораздо для тебя полезнее не верить сну. Веря сну, ты не избегнешь самомнения, а испытай себя, спроси свою совесть: ну, достоин ли ты, чтобы явился к тебе Спаситель?.. Положим, что "милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть", но, во всяком случае, недоверие сие не будет служить тебе препятствием ко спасению... Положи себе, что ты женат и имеешь жену, которую ты хотел испытать в верности, для чего ты, отъехав как бы в дальнюю сторону, через несколько дней вернулся бы к жене под искусной маской, под которой тебя невозможно было бы узнать. Положи, что маска эта красивее тебя и так искусно сделана, что ты в ней другой человек, и ни одна женщина не могла бы в ней тобой не заинтересоваться. Под этим обличьем ты стал бы прельщать свою жену... Скажи мне, был бы ты обижен, если бы жена твоя в ответ на твои обольщения ответила тебе личным оскорблением, соблюдая свою супружескую верность?.. Не стал ли бы ты ее еще больше любить и уважать?.. Ну, вот видишь - так и ты поступи: от всей души возблагодари Господа за выздоровление, а сну не доверяй, памятуя свое недостоинство и греховность.

Так вразумил меня старец, прозревая во мне зарождающуюся склонность к самообольщению...

Так в жизни монастырского послушания, тихих радостях монашеской жизни, назидаясь примером и речами богомудрых моих наставников и собратий, провел

я благополучно 1846 год в стенах великой Оптиной. На небе был я или на земле, не знаю; но - увы! земля на этот раз в моей жизни оказалась сильнее неба, и для временного пустынножителя назрела неотложная нужда в паспорте. С великой тугой сердечной написал я из Оптиной родителю письмо о высылке паспорта, но в ответ получил угрозу вытребовать меня через полицейское управление. Сильнее всех в семье восстал против моего монашества брат Федор, который и всегда-то был, как человек нового духа, враг монахов, и тут пошел на меня прямо-таки войной, и подняв бурю против меня на семейном совете.

Батюшка отец Макарий благословил отца Амвросия написать от своего имени моим родителям письмо, чтобы они не препятствовали моему желанию посвятить себя иноческой жизни. В письме этом родители мои предупреждались старцем, что противлением своим сыну на вступление в монашество они могут навлечь на себя гнев Божий и лишиться благословения в делах своих... Письмо было отправлено, но мне что-то не чаялось получить исполнение своего желания. Так и вышло: вскоре пришел за мной игуменский келейник и позвал к отцу игумену.

Когда я вошел в залу, то за столом увидел городничего города Козельска. Хотя городничий мирно попивал игуменский чай, сердце мое обмерло от тяжелого предчувствия... Отец игумен сообщил мне, что родители требуют высылки моей в город Балашов через полицейское управление, городничий к игуменским словам добавил с усмешкой:

- При этапе конвойном. Я заплакал...

- За что ж по этапу? - возразил отец Моисей, - выдайте ему проходной билет от Козельска до Балашова.

Городничий согласился:

- Конечно, так, - сказал он, - за что же по этапу - он никакого преступления не сделал.

В конце концов мне было вручено проходное свидетельство, и я должен был отправиться на родину.

Поговевши в последний раз в Оптиной, я с великим плачем простился с братией, со старцем отцом Макарием и с отцом игуменом. Великий старец ласково утешал меня и сказал, что рано или поздно, а я все-таки буду монахом, только бы

я не вступал в супружество.

- Не плачь, - говорил мне отец Макарий, - не плачь. Уверяю тебя - никогда не отчаивайся в милосердии Божием; оно безгранично. Силен Бог извести тебя из мира, - и ты со временем будешь иноком. Просите и дастся вам... И мы будем за тебя молиться.

Отец игумен, прощаясь со мной, достал из столика положенные туда при моем вступлении два золотые, которые так все время там и лежали, и я, поклонившись старцам и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, пешком отправился на родину.

Отец Родион провожал меня до Свято-Пафнутиевского колодезя.

Так завершился мой побег из родительского дома... Что-то меня ожидало по возвращении под кров родительский?

XXIII

- Ах ты, вшивый! Сколько ты наделал нам скорби и слез матери!..

Такими словами встретил меня родитель, когда я вернулся под кров отчего дома. В слезах радости свидания после долгой разлуки обнимались мы с отцом, матерью и сестрами. Только в брате моем старшем, Феодоре, радость свидания особенно не была заметна - он больше подсмеивался надо мной и над вынужденным моим возвращением, как бы торжествуя, что не без его усиленного настояния мне не был выслан родителями паспорт. Не злой был он человек, но, прости ему, Господи, сильно зараженный духом времени... Узнавши о моем возвращении, к нам набрался полный дом родных и знакомых: кто просто хотел видеть беглеца и порадоваться вместе с родителями его возвращению, а кто явился меня защищать от предполагаемого гнева родительского. Но в родительском сердце не было гнева - радость встречи после двухлетней скорби заставила их все забыть, и я вновь вступил в семейную жизнь в полном повиновении и покорности воле родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще продолжал держать водяную мельницу и вести торговлю церковными свечами. Брат Феодор служил по откупам, сестра Екатерина без меня была выдана замуж. Года полтора жила она в замужестве за прекрасным и умным молодым человеком, настолько образованным, что он был учителем губернаторских детей, но незадолго до моего возвращения он скончался от

чахотки.

Это был первый тяжкий удар моим родителям, особенно матери, который они понесли после письма батюшки отца Макария, писанного им отцом Амвросием с увещанием не препятствовать в моем стремлении стать монахом.

Другие скорби были еще впереди... В эту пору в моей жизни произошел случай, о котором я считаю нужным упомянуть в летописи моей жизни.

В доме родителя моего стоял постоялец, служивший поверенным по комиссионным делам винного откупа, коломенский мещанин Ульян Герасимович Ульянов. Как-то раз собрались мы со своей семьей и Ульянов со своей женой все вместе за обеденным столом в кухне. Во время обеда произошел разговор о воплощении Сына Божия. Ульянов, человек хотя и малообразованный и в особенности мало начитанный в Слове Божием, но вольнодумный, стал издеваться надо мной, над моими задушевными желаниями и, в особенности, над монашеством. По гордости и безумию он, что называется, из кожи вон лез, кощунствуя над верой православной и надо всем, что только было в моем сердце святого. Особенно глумился он над верой в существование диавола и всей его нечистой силы...

- Какие такие бесы, - хохоча говорил он, - и кто их видел? Не любо, не слушай, а лгать не мешай... Экий вздор, какие - бесы! Стыдились бы и говорить о таком вздоре!

- Прочтите Евангелие, - отвечал я ему, - и убедитесь в этой истине: Спаситель не раз в земной Своей жизни исцелял бесноватых, изгонял духов нечистых, как то было с Гадаринским, например, бесноватым, когда Он повелел легиону бесов выйти в стадо свиней...

В ответ на мои речи Ульянов хохотал пуще прежнего и продолжал злобно кощунствовать. Я весь трясся от внутреннего гнева...

- И что такое ваше Евангелие, - не унимался Ульянов, видимо, тешась над моим негодованием, - кто его писал?.. Все это - выдумки, вздор, чтобы морочить людей и ездить на их шее попам, архиереям да тунеядцам - монахам...

При этих словах, я, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на него, стал просить, чтобы он переменил разговор, но его точно муха какая-то укусила, и он со злым смехом продолжал кощунствовать еще страшнее, еще невыносимее...

Тут сидели мои родители и безмолвствовали. Это меня еще более потрясло, и я, не помня себя от охватившего меня внутреннего пламени, схватил со стола нож, поднял его над своей головой, вскочил со своего места и вне себя от гнева повелительно крикнул кощуннику:

- Или ты должен умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда заставлю замолчать!

Меня трясло, как в лихорадке. Бледный, как полотно, я уже готов был кинуться на Ульянова, но тут родители бросились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь кощунника.

С гневом родители выгнали меня из-за стола... Я подчинился воле родительской, но, уходя из кухни, с великой силой чувства оскорбленного за поруганную святыню крикнул Ульянову:

- За твое неверие меня выгнали из-за стола, но помни, негодяй: ты именуешься христианином и не веришь воплощению Бога - Слова, издеваешься над Евангелием - знай, что это не пройдет тебе даром, и не нынче, так завтра постигнет тебя кара Божия. Едешь ты в уезд и, попомни мои слова, - не вернешься оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяние, да будет поздно: Бог поруган не бывает!

С этими словами я вышел из кухни. Оставшись наедине с собой, я понемногу пришел в себя и поскорбел, что наговорил столько угроз, но слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Признаюсь, не о том я скорбел, что произнес угрозу, но о том, что слово угрозы может не исполниться, и после этого Ульянов еще более будет глумиться над всем, что было так дорого и свято душе моей. Я наложил на себя пост, и день и ночь усердно молил Богу и Преблагословенной Деве Марии, чтобы не остаться мне посрамленным перед вольнодумцем и чтобы он уверовал в истину Святого Евангелия и исповедал Сына Божия, пришедшего во плоти для спасения грешников, верующих в Него, от них же первый есмь аз...

Что же вышло? На другой или на третий день после описанного случая Ульянов выехал по делам откупа в уезд. Приехавши в село Макарово, он почувствовал озноб и послал к подвальному взять у него бутылку двойного стодвадцатиградусного спирта. Нагревши его и раздевшись донага, он стал им натирать тело. Дело было вечером. На столе стояла свечка. Ульянов нечаянно слишком близко подвинулся к столу, спирт вспыхнул, и несчастный вольнодумец очутился весь в пламени. На неистовый, отчаянный его крик прибежал его кучер; но отворивши двери комнаты и увидевши своего хозяина

нагого и всего в пламени, от испуга упал в дверях в беспамятстве. За кучером вбежала хозяйка квартиры и, поняв в чем дело, схватила с кровати одеяло, накинула на Ульянова и тем потушила пламя. Все тело несчастного было обожжено, почернело, вздулось и покрылось волдырями и гнойными нарывами. Когда его привезли обратно в город и полубесчувственного вынимали из саней, я шел домой из лавки. Увидев меня, Ульянов со стоном воскликнул:

- Ну, Федор Афанасьевич, теперь, брат, верю! Видишь, как Бог меня наказал!..

Он долго страдал, но, Бог помог, выздоровел.

Кучер же его, потрясенный случившимся с хозяином, вскоре умер. Все это так повлияло на Ульянова, что с той поры он стал говеть и причащаться Святых Тайн Плоти и Крови Христовых и сделался истинным православным христианином. Надо ли говорить, как это происшествие отозвалось в моем сердце?

XXIV

Вскоре обстоятельства семейной жизни заставили меня покинуть кров родительского дома: отцовские дела пошатнулись так, что мне вновь пришлось искать службы по откупу. Слово старца Макария не шло мимо. По внешности все оставалось по-прежнему, только маменька становилась все грустнее и задумчивее.

Стояли непроданными оба наши дома; молола водяная мельница, арендованная у казны родителем, но капитал, вложенный в нее, таял не по дням, а по часам: водой ее прорывало по несколько раз в год, вынуждая ее к продолжительному бездействию, а между тем плата за аренду в Палату Государственных Имуществ была очень велика; рабочие стоили дорого, да и содержание семейства обходилось отцу более тысячи рублей в год.

Дома едва окупали свой расход. Родитель крепился и старался скрыть свое критическое положение, так что для меня оно долго оставалось тайной.

Однажды вечером, в отсутствие отца, сидели мы с матерью за чайным столом. Маменька разливала чай. Вдруг вошла в комнату работница, которая у нас жила несколько лет, и обратилась к матери с такими словами:

- Как же, Агафья Андреевна, - завтра нужно квас варить, а у нас муки-то нету?

Я заметил, что при этих словах матушка изменилась в лице и, когда работница ушла, сказала мне:

- Федюк! Поймай черную кошку и отнеси к тархану* - он за нее даст копеек сорок: на это купи муки пуда три...

_____

* Тархан (др.-рус): владелец вотчины, пользовавшийся особыми преимуществами.

_____

Меня эти слова как варом обожгли. Неужели же мы дошли до такой крайности? Надо продать кота, чтобы купить муки? Ведь у нас еще есть два дома - один каменный, в котором мы жили, а другой деревянный: семь окон в длину и пять в ширину, с полной обстановкой, с чудной надворной постройкой... Однако, положение было именно таково, и мне надобно было решиться поступить на должность, чтобы кормить родителей и сохранить хотя бы остатки состояния. Брат Федор, хоть и служил, но ничего, или почти ничего не подавал в родительский дом - человек он был нового покроя: на себя самого едва хватало жалованья.

Я оставил дом родительской и поступил по откупным делам в Новочеркасске писцом в контору В.Н. Рукавишникова в I Донской округ. Вскоре я был переведен в Усть-Медведицкий округ, в станицу Раздорную и назначен подвальным с жалованьем в двести рублей при готовой квартире, отоплении и освещении. Служба по обстоятельствам того времени была крайне выгодная, и я целиком все жалованье отсылал родителям. Повышения по службе шли за повышениями - меня начальство очень любило - и вскоре я уже был дистанционным с окладом жалованья, кроме наградных, в восемьсот рублей. И это все жалованье я полностью отсылал родителям, что приводило в немалое изумление наших сограждан и сердило моего брата Федора, которого моя помощь унижала в глазах родителей и знакомых. Мне же делать это было отрадно, да и не трудно, тем более, что в откупных делах наживались тогда все, от мала до велика, кто только имел с ними соприкосновение по откупной службе. Это не было тайное хищение, а открытое пользование безгрешными доходами, которые так и текли сами собой в карманы служащих, начиная с низших и кончая высшими. Я пользовался доброхотными приношениями от сидельцев, которых защищал от неправильного и алчного суда, но часто, сообразуясь с их семейным положением, отдавал им обратно половину

приносимой ими благодарности, за что и был всеми ими любим так, что они открывали мне все тайны сложного откупного дела.

Полна соблазна была эта широкая, привольная откупная жизнь, особенно, в мои молодые годы в среде вольного женского казачьего населения. Свобода нравов в отсутствии мужей, часто призываемых на службу, граничила с самым откровенным развратом. И где мне, пылкому юноше, да еще свободному в денежных средствах, было устоять и не попасть с головой в тенета всюду расставленного соблазна красоты благородных и любвеобильных дочерей тихого Дона! О, мои монашеские стремления! О, Оптина моя дорогая! Где тогда были вы?..

Новое горе свалилось на головы моих бедных родителей: едва стали они несколько поправляться в денежных делах благодаря моей поддержке, как внезапно, в цвете лет, умер мой старший брат Феодор, и меня, пленника и раба страстей, вызвала родительская воля обратно на родину.

Дома я застал родителей в скорби великой по случаю смерти брата, и меня ожидало новое искушение. Как я ни увлекался на Дону красавицами-казачками, но в минуты отрезвления от увлечений я продолжал таить в своем сердце желание оставить мир и уйти в монастырь и только, случалось, плакивал над своими падениями. Дома мир, в лице моих родителей, готовил мне непереходимую пропасть, которая должна была, казалось, на веки отделить желания мои от их осуществления. По приезде моем в дом родительский скорбная мать стала меня умолять со слезами, чтобы я женился, что это одно - знать меня женатым и пристроенным - может ее успокоить и утешить в тяжести перенесенной утраты. Твердо помнил я речи старцев, которыми они меня напутствовали из Оптиной, и долго крепился, натяжкие обстоятельства, безграничная любовь к матери, ее беспрестанные слезы и мольбы взяли верх над моими стремлениями, и я дал слово исполнить материнскую просьбу. Господь видел, что в этом решении моего желания не было, - одна только жалость к слезному горю матери: я готов был и тело, и душу свою отдать в жертву, только бы мне дано было утереть слезы родимой, вызвать на уста ее хотя бы тень радостной улыбки.

Нашли мне и невесту, дочь богатого купца нашего города - с хорошим приданым и средствами, с богатой родней. Пошли переговоры, смотрины... Дело налаживалось как нельзя лучше... Но душа моя была скорбна и исполнена тяжкого уныния. Все меры употребляв я, чтобы утаить мою скорбь от зоркого

взора родительницы и казаться веселым. До поры, до времени мне это удавалось... но, Боже мой! До чего тяжело было на сердце!..

А дело свадьбы близилось между тем к концу: родителю удалось с хорошей выгодой продать свой каменный дом и выручить за него порядочный капиталец, предназначенный им для свадьбы; состоялось, наконец, в нашем доме решительное свидание с дядей невесты и священником, на котором должно было обсудить и решить все условия предстоящей свадьбы касательно приданого, капитала и прочего. Мне нужно было угощать гостей, и, по приказанию матери, я вышел в другую комнату, чтобы вернуться оттуда с подносом и вином в бокалах и рюмках. Когда я уже шел к гостям с угощением, я приостановился на минуту за полуотворенной дверью и как стоял, с подносом в руках, опустился на колени в пламенной молитве от всего существа своего к Богу об избавлении меня от женитьбы и горько, горько заплакал... Это было мгновенье... Я быстро оправился, отер катившиеся слезы, взял опять бокалы с вином и вошел в гостиную. Слезы мои были замечены. Раздались восклицания:

- Э! Он никак плачет? Женихи у людей радуются, а наш плачет? Это что-то неладно...

Тут вмешался священник и вывел меня и мою семью из неловкого положения.

- Не удивляйтесь, - сказал он, - его слезам - женитьба - дело великое, здесь решается вся участь человека: мудрено ли тут человеку с понятием и заплакать?

Священническое слово, властно сказанное, отвлекло внимание гостей от моего растерянного вида, и дело переговоров продолжалось своим обычным порядком. Оставалось, по-видимому, подчиниться обстоятельствам и сдержать слово, данное матери... Но ин суд человеческий, и ин - Божий!..

В этот же вечер пришел к моему родителю один купец, который несколько лет состоял с ним в коротком знакомстве и по личной дружбе, и по прежним торговым делам моего родителя. Когда-то купец этот вел большие дела не только местные, но и с другими городами, но пожар, излишняя доверчивость к неудачному подбору приказчиков и затем кредиторы лишили его всего достояния, и он жил без дела, едва перебиваясь, что называется, с хлеба на квас. Но родитель мой, по старой памяти, продолжал еще питать доверие к его коммерческим способностям.

В этот вечер узнав, что у родителя собралась порядочная сумма за проданный

дом, купец этот повел речь такого рода:

- Ты знаешь, Афанасий Родионович, мои прежние дела и мою деятельность. Я остался все тот же, только вот пожар выбил меня из колеи. Теперь мне предстоит крупное дело по хлебной части, на котором безошибочный громадный барыш обеспечен. Вы продали дом - деньги у вас есть: доверь мне деньги, и чем сыну твоему служить по откупам, пусть лучше под моим руководством учится коммерции. В самое короткое время капитал тебе вернется утроенным, и сын станет на самостоятельное дело...

Слово за слово - купец сумел нарисовать такую соблазнительную картину скорого и верного обогащения, что родители мои отдали ему в тот же вечер все свои деньги без расписки, только сказали ему:

- Смотри ж, не сделай низости - ты нас тогда убьешь: здесь все, что мы имеем. Расписки мы с тебя не берем, а вот, - указали они, - иконы Спасителя и Царицы Небесной - пусть Они будут между нами и тобой Свидетелями.

Дело все это совершилось с быстротой непомерной, произошло на моих глазах, и я был свидетелем, как купец поклялся пред иконами в верности своему слову и взял у родителей моих деньги. Утром уже он ускакал в Саратов и в течении десяти каких-нибудь дней успел купить и запродать пятнадцать тысяч пудов муки. От этой операции родителям причиталось рублей двести с лишком. В десять дней больше двухсот рублей - было с чего обрадоваться!..

Но непродолжительной была радость моих доверчивых родителей: купец этот, когда еще торговал за свой капитал, имел однажды дело с заграницей и остался должен по векселю. Этот вексель оказался предъявленным на него в Саратове. Узнав об этом заблаговременно, купец этот успел распродать весь товар, капитал припрятал, а что осталось от имущества - перевел на имя жены. Поступок этот нанес жестокий удар моим родителям и окончательно подорвал их благосостояние. Все это совершилось менее чем в две недели, с быстротой молниеносной, и имело ближайшим своим последствием расстройство моей свадьбы. А она ли не казалась делом решенным!

Я написал обо всем старцу Макарию и получил от него ответ: "Благодари Бога!.." Это был пятый удар семье по выходе моем из Оптиной.

Слова старца сбывались с поразительной точностью - скорби чередовались скорбями: овдовела сестра Екатерина; расстроились дела; умер брат Феодор;

погиб в неверных руках капитал, остаток былого состояния и, наконец, разбилась мечта матери - моя свадьба.

О, неисповедимые пути Божий!

За все Ему - слава и благодарение.

XXV

Пришлось мне опять тянуть свою откупную лямку: без моей поддержки родителям было бы очень плохо. Теперь служба меня перекинула из области Войска Донского в Уфу, а затем вскоре - в Уральск. Долго жил я в Илецкой защите, был дистанционным в Гурьеве, неподалеку от Каспийского моря, при устье реки Урлеа. Много поездил по Букеевской орде и близко ознакомился с бытом киргизов-кочевников. Служба моя и тут была чрезвычайно удачна - жалование и доходы были большие, и опять я все свое жалование до копейки высылал родителям. Временами, как непотухший огонек, вспыхивала во мне ревность к монашеской жизни, но сыновние обязанности и действительная необходимость жить и работать в миру для обеспечения существования родителей смиряли тайную скорбь моей души, жаждавшей обрести Бога в монастырском уединении, в отрешении от мира, в котором все мирское против Бога.

Во время своих поездок в киргизские степи я пробовал попутно между делом по своей службе заниматься миссионерской деятельностью среди киргизов, старался распространять учение веры о Воплощении Сына Божия, но, видно, не было во мне на то истинного призвания, и проповедь моя не имела желанного успеха. И то сказать: мудрено было, служа по откупу, возвещать народам Слово Божие...

Замечательно уживалась в сердце киргизов с их верованиями, чуждыми христианству, вера в святителя Николая. Язычники, простые сердцем, они умудряются с верой в своих богов соединить веру в силу чудес великого Божьего угодника, который в их мнении едва ли не выше их богов и даже Самого Господа Иисуса, тоже им известного - по общению с христианами. Я сам видел, как эти дети ковыльных степей в наших православных храмах ставили святителю восковые свечки и говорили мне:

- О. это бачка* сердитый! Ему надо всегда давать, что обещаешь. Пропал у тебя лошадь, пропал кайдал**, - обещал свечку Миколай - живо бачка пригнал

кайдал. Ми ему всегда хороший баран давал.

---

* Бачка (диал., уважит.): батюшка, отец.
** Стадо овец.

Веруют они и Господу Иисусу, и Пречистой, признавая в них хороших, добрых людей, но с меньшей силой, чем Божьему угоднику. В этом отношении наши доморощенные ученые вольнодумцы не так далеко ушли в своих религиозных воззрениях от полудиких кочевников. И подумаешь, сколько ума и усилий было потрачено ими, чтобы дойти в жизни своего, по Святому Крещению христианского, все-таки, духа, до киргизских понятий! Стоило того! О, жалкие в своем безумии мудрецы мира!..

- Иисус Криста? - говорил мне один киргиз, когда я спросил его, знает ли он Спасителя. - Иисус Криста? О, как не знайт! Мой знайт: хороший Человек - много бедным помогает: кого рука болит, рука давал; кого нога болит, нога давал. Все давал. Его Бог любил - Он что Его ни просил, все

Ему давал.

- Откуда ж ты Его знаешь? - допытывался я у киргиза.

- Экой твой какой! Ты, бачка, только делай добро, а то и твой будет знайт Криста. Наш часто с русским говорит: ну, вот твой говорит; мой говорит, а, вот, они слушайт. Так и узнал... Пропал раз моя кайдал баран. Мой день ездил степь искайт, другой - нет мой кайдал. Плачет моя. Вот едит мой верхом степь одна и думайт: пропал мой кайдал - моя бога серчал, мина не слыхал, - так я зову Криста. Да, боялся мой, ну-ка моя бога узнает. Ну, думал мой, долго думал; остановил лошадка, стал коленки и резко сказал: Иисус Криста! Найди мой кайдал баран, я Тебе ширной мой даст баран на жертва, самый ширной. Пожалуйста, найди - мой просить Твой! И что ж, бачка! - Не успел мой встать и сесть на лошадка, - глядит моя, - а мой старый баран вышла из камыша да и кричит: бя, бя! Смотрит моя: другой баран, третий... и весь кайдал из камыш идет... Ну, мой рад; спасибо Тебе, Криста, Ты не так, как наша бога; скоро слыхал моя просьба. Ну, вот мой приехал в кибитка, сказала всем, что нашел кайдал; и после все - и мой, и жены мой, и дети мой самый ширный баран дал

Криста на жертва... Только бы наш попа не знал, а то мой - беда!

- Ну, так ты бы всегда звал Себе Христа на помощь, - сказал я киргизу.

- Это мой знайт, только нельзя: бога моя осерчайт. Тихонько можно, но и то, чтобы попа наш не знал. Да ведь, бачка, бога у всех одна - вера только разный... - так заключил нашу беседу мой киргиз.

"Бога у всех одна, только вера разная!" - так говорят и доказывают теперь люди века сего, отступники христианства, предатели Православия. Но что простительно непросвещенному язычнику, не будет прошено отступившим от Христовой истины, и услышат они грозные слова: "Се оставляется дом ваш пуст!"... Господи помилуй!..

XXVI

Проповедуя Господа Воплотившегося словом, часто обращаясь сердцем к мысли о монашестве, я тем не менее не мог соблюсти должной чистоты и часто падал, и были падения мои и велики, и часты. В скорби сердечной я писал в минуты раскаяния старцу моему Макарию в Оптину, каялся, казнил себя и вновь неудержимо падал.

И тогда опять писал, недоумевая, что мне делать: сердце ждет иноческой жизни, - старцы мне ее в удел определяли, - а плоть беснуется, и я не могу воздержаться от падений. Уж не лучше ли для меня супружеский союз, чем бесплодное покаяние и все продолжающаяся жизнь греха?

От старца ответом письма были в одном духе: "Это все от твоего нерадения, но повинуйся Промыслу Божию с благодарением, старайся, по силе возможности, исполнять заповеди Божий в степени твоего служения... Уверяю тебя, что ты будешь монахом. Но о времени не могу сказать - это в непостижимой судьбе Божией и твоем нерадении..."

Слова "твое нерадение" оскорбляли сердце мое, и я, чтобы уверить старца в неутолимой жажде иночества, взял, разрезал руку и кровью своей написал ему, что ею я подтверждаю свое стремление служить Богу. В ответ от старца я получил следующее письмо:

"Почтенный о Господе Феодор Афанасьевич! От десятого июля посланное тобой письмо мною получено, из коего вижу, что премилосердый Господь сохраняет

тебя на житейском волнующемся море и доселе непогруженным в волнах оного, хотя и были, как видно, сильные приражения волн через твои слабости, но милосердие Божие и долготерпение Его, видно, устрояют наилучшее для тебя. Вот даже и предстоящую твою судьбу не допустил придти к совершению, но уничтожил замыслы мира, хотящего привязать Тебя к себе крепкими узами*. Принеси же за это немолчное благодарение премилосердому Господу, столько пекущемуся о твоем спасении. Имей твердое намерение исполнить свой обет и, пока еще плывешь по бурному океану мира, имей страх Божий твоим кормчим, а покаяние - гребцами, кои управят тебя к благоотишному пристанищу. Покаяние, говорю, не тогда только, когда придешь к духовнику на исповедь, но имей всегдашний залог оного в сердце своем, памятуя грехи свои, о которых ты кратко вспомянул, чувствуя, Кого ты оными оскорбил, удобнее возстягнешься** от повторения оных. Ты в недоумении вопрошаешь, почему Господь не пошлет тебе скорого избавления от мира? И сам от моего имени отвечаешь: за гордость; а тут себя оправдываешь:

---

* Мою женитьбу.
** Возстягнешься (здесь): отстранишься.

"Боже мой! Перед Тобой ли мне гордиться?" и проч. Я не могу тебе сказать, почему Господь не допускает исполниться твоему желанию. Судеб Господних бездна многа, и нам оные непостижимы; но что в тебе есть гордость, как и все мы ей не чужды, только в разных степенях, доказывают твои падения. Святой Иоанн Лествичник пишет: "Идеже последовало падение, тамо предварила гордость", хотя мы и думаем, что нет в нас гордости, но плоды доказывают, что есть.

Не можем также сказать о себе, что имеем смирение, потому что дела противные оному творим; а где нет смирения, там явно, что его место заступает гордость, так как, где нет света, там - тьма. Итак, вместо оправдания надобно иметь сознание.

Дерзость твоя - в писании кровью о служении Богу и братии - совсем излишня: довольно иметь благое произволение и пролитие духовной крови при искушениях и борениях со страстями на опыте, ибо воиново мужество и храбрость, также и усердие к Царю, показуются во время явственного сражения

с неприятелями. По сему разумей и о духовном борении. Только тут надобно иметь оружием смирение, которое все силы и сети вражьи сокрушает, а не дерзость. Остаюсь желатель твоего здравия и спасения многогрешный i. М. Двадцать восьмого июля 1851 года"...

Потом, спустя немного времени, я получил от отца Макария его карточку и при ней совет моей матери, чтобы она оставила все излишние попечения и заботы о делах хозяйственных и ходила бы, по возможности, постоянно в церковь. Преподав мне этот совет для матери старец потребовал, чтобы я ей о том написал от его имени.

Волю старца я немедленно исполнил, а сердце тревожно забилось о родимой.

XXVII

Когда родительница получила письмо, в котором я написал о совете отца Макария, то немедленно попросила родителя моего написать мне в Уральск, чтобы я оставил службу и поспешил вернуться домой в Балашов. Сама же матушка вслед за получением моего письма совершенно изменила образ своей жизни: перестала суетиться и хлопотать по домашнему хозяйству и вся обратилась к Богу, земное оставляя и к горнему устремляясь. Храм Божий стал для нее местом, которое сосредоточило на себе все ее помышления, и она начала ходить ко всем службам, не пропуская, в особенности, ни одного дня, чтобы не быть у Божественной Литургии. Матушка была совершенно здорова и, когда я приехал по вызову родительскому в Балашов, я застал ее на вид такой же здоровой, какой ее оставил, отправляясь на службу. Она даже была весела и страшно рада меня видеть. Если бы не письмо отца Макария, которое невольно наводило на размышления, нельзя было и подумать, глядя на родительницу мою, что ангел смерти уже спешит взять ее душу и представить Творцу всяческих.

Двадцать один день я провел в кругу семейных, - и ни разу матушка ни одним словом не обмолвилась, что она готовит себя к переходу в вечную жизнь; только непрестанное, ежедневное хождение в церковь подавало разуметь, что совет старца был для ее сердца предварением приблизившейся для нее вечности.

Дни проходили за днями, и сердце мое, встревоженное, было, по моем возвращении домой, стало понемногу успокаиваться. Вся семья была собрана в кругу: отец, мать, старшая сестра - вдова Екатерина, я, и малолетки - брат Иван и сестренка Поля. Жизнь протекала мирно, по-семейному. И внутри меня и вне, в семейном быту наступило какое-то затишье, ненарушаемое заботами

завтрашнего дня. Не было даже речей о том, что предпринять мне, главному кормильцу семьи, источнику ее благосостояния. Слово старца Макария исполнялось свято - житейское попечение было оставлено.

Шел двадцать первый день со дня моего возвращения из Уральска. Матушке вдруг захотелось к обеду дичинки.

- Поди, Фединька, настреляй мне дичинки какой-нибудь, и я к обеду приготовлю жареное, - сказала мне родительница.

Желание ее было исполнено, и из настрелянной дичи матушка сама изготовила обед. С заметным удовольствием покушала и все вспоминала за столом библейскую историю об Исааке и Иакове...

- Вот, - говорила она, обращаясь ко мне, - я - точно Исаак, а ты - Иаков; я ем тобою на охоте изловленное, и ты ждешь моего благословения на первородство.

Матушка говорила как бы в шутку, а дело-то вышло, на самом деле, всерьез: на другой или на третий день после этого обеда родительница моя захворала и тут же пожелала поисповедоваться, особороваться и причаститься; но, так как она, хотя и чувствовала себя больной и слабой, но могла еще через силу держаться на ногах, то и ни за что не позволила, чтобы Святые Дары были принесены к нам на дом.

- Хочу в церкви сама подойти к Господу, - сказала матушка, и мы с ней поехали на дрожках в церковь - к Литургии. Обедню она едва достояла, но к Святой Чаше приступила с большой твердостью и силой и сама твердым и ясным голосом произносила священные слова исповедания Христа Господа: "Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго"... Но когда причастилась, то совсем изнемогла, и я ее в полуобморочном состоянии, вывел на паперть. Немного оправившись, она попросила меня отворить входную дверь в церковь и так, на паперти, дослушала окончание Божественной службы. По окончании благодарственных молитв я ее привез домой, и тут она слегла в постель и уже более не вставала.

Прошло несколько дней с того времени, как матушка слегла окончательно, подкошенная своим предсмертным недугом; она слабела не по дням, а по часам и, наконец, велела нам собраться у своей постели, выразив желание благословить всех нас. Когда ей подали икону Божией Матери, она привстала на кровати, но силы не выдержали, и матушка вся в слезах упала на подушки без памяти. С ней

сделалось что-то вроде конвульсий, и хотя она вскоре оправилась, но объявила, что благословлять не будет, а поручает нас покровительству Преблагословенной.

- Я прошу Владычицу, чтобы Она не оставила вас, - сказала она и стала горячо молиться Ей с горячими слезами, неоднократно повторяя: - Тебе вверяю их. Матерь Божия! Ты им будь покров и заступление!..

Помолившись с пламенной верой, матушка подозвала нас к себе поближе и стала говорить:

- Я умираю. Смотрите, имейте любовь между собою и, если любите меня, оказывайте отцу своему всякое почитание. Никогда не поминайте, если когда-нибудь заметили, что он оскорбил меня каким-либо словом - это дело не ваше. Помните одно, что он всю свою жизнь провел в трудах и заботе о вашем спокойствии и воспитании. Успокойте его вашей покорностью и любовью, утешьте его старость вашей заботой о нем и детской преданностью. Исполняйте заповеди Божий каждый в своем звании. Будьте милостивы и сострадательны к нищим; прощайте обиды оскорбляющим вас и чтобы гнев ваш угасал прежде заката солнца того дня, в который он возгорелся. Держите веру святую Святой Церкви Православной, храните предания и заветы святых отцов. Не примыкайте к вольнодумцам... А ты! - обратилась матушка ко мне, взяв мою руку и соединив ее с руками сестры Екатерины и четырехлетней Поленьки, и указывая на брата Ивана, стоявшего у ее колен, и на отца, который стоял у ног кровати, - а ты, - повторяла она, - не оставь вот этих. Я тебе их вверяю. Будь им вместо отца. А вы слушайте брата, и Бог не оставит вас. Молитесь чаще и усерднее Божией Матери - Ей я вас всех вверяю. А ты, Федя, не оставляй их и прежде времени не уходи в монастырь: если Богу угодно, еще успеешь. Исполнишь мой завет, и да пребудет над тобой Божие благословение и мое...

Мы внимали словам угасающей матери и горько плакали, но ни одно ее слово не осталось незапечатленным в моем сердце - каждое слово ее точно высекалось на его скрижалях стальным резцом пламенной материнской любви и веры.

Еще несколько дней угасала родимая. Мы проводили целые ночи без сна у дорогого изголовья и не отходили от одра матери почти ни на минуту.

Особенно ухаживала за ней сестра Екатерина. Но как ни бодрствовали мы, не смогли уловить последнего ее вздоха: когда она отошла ко Господу, мы все спали, утомленные бессонными ночами, и пропустили время ее предсмертной

агонии.

Нас ранним утром разбудила дальняя - по сватовству - наша родственница, Мария Ильинична П., девица лет сорока, дочь очень богатых родителей. Необыкновенной душевной чистоты и жизни была эта истинная раба Божия. Приятная лицом, очень богатая, она волею не пожелала выйти замуж, а девичество свое вместе с тремя другими девицами такого же, как и она, духа посвятила Господу. Она свои деньги и те, что ей давали добрые, благочестивые люди, определила на устроение в городе Балашове женской обители, которой в городе еще не было. Со временем ее желание исполнилось, и теперь в Балашове есть женский монастырь... Так вот эта-то девица и пришла к нам на ранней утренней зорьке, разбудила сестру и сказала:

- Встань-ка, Катенька, и пойдем посмотреть мамашу. Что она?

- Спит, - был ответ полусонной сестры.

- Все равно, пойдем - я ее хочу видеть.

И когда они вошли, то нашли матушку уже скончавшейся.

А ранний неожиданный приход Марьи Ильиничны объяснился так, - она тут же нам это рассказала:

- Я спала крепко, - говорила она нам, - вдруг на заре слышу - кто-то меня кличет по имени. Я не просыпаюсь. Меня тогда кто-то толкнул в бок со словами: встаньте, пожалуйста, и идите к нам в дом: я ведь умерла, а они меня не видали. Идите, утешьте их, чтобы они не плакали... И когда я тут же проснулась, то увидела вашу мать, уже выходя-шей из моей спальни. Удивившись этому, я сейчас же встала и пошла к вам в дом и вот нашла все так, как она мне поведала в видении. Теперь именем вашей матери и ее словами, только что мною слышанными, я прошу вас не плакать, а молиться о ней Богу. Ведь мы все рождаемся для того, чтобы умереть, и умираем, чтобы воскреснуть для вечной жизни.

Великую радость влили в нашу скорбь эти речи. О, родная наша! Ты и с того света, по неизреченной милости Божией, озарила мрак нашей земной скорби светом Богооткровенной истины, беспредельной Божественной любви и милосердия! Вечная тебе память, родимая!..

XXVIII

Отдав последний долг сыновней любви почившей родительнице, я прежде всего должен был озаботиться о поступлении вновь на место: вся семья, начиная с родителя, по предсмертной воле матери и по моему сыновнему долгу осталась на моих руках. О монашестве, стало быть, нечего и думать, а надо было, как можно скорее, приниматься за добывание насущного хлеба.

Испросив благословения у родителя, я отправился к управляющему откупными сборами Тамбовской губернии, Василию Никитичу Рукавишникову, брату родному известного откупщика А.Н. Рукавишникова. У него я служил еще раньше в земле Войска Донского. Он меня любил и, когда я, уезжая к родителям, оставлял у него службу, он обещал меня вновь к себе принять, если это мне понадобится. Так и случилось, и меня он назначил дистанционным в город Усмань Тамбовской губернии. Таким образом, жизнь моих семейных была вновь обеспечена. Но моя жизнь духовная, мои стремления, жажда моя служения Богу?.. О, каким тяжким искушениям подвергались они в эти годы! Это была непрестанная, кровавая борьба духа с плотью, и, каюсь, часто, слишком даже часто, дух был одолеваем плотью.

Единственной поддержкой мне в это время было непрестанное мое хождение к ранним обедням. Там, в Божием храме, изливалась душа моя, молившаяся Господу, чтобы Он имиже весть судьбами спас меня от соблазнов мира. Но падения следовали за падениями... Товарищи мои нередко удивлялись мне, когда в самые веселые, по-видимому, минуты наших веселых собраний, я брал в руки гитару и, перебирая задумчиво струны, голосом, исполненным внутреннего волнения, дрожащим от скрытых слез, напевал любимый в то время мною романс:

Меня никто не понимает,
И никому меня не жаль.
Судьбе моей никто не внемлет,
И не с кем разделить печаль...

Иногда, под наплывом чувства тяжкой неудовлетворенности, я бросал гитару, убегал в соседнюю комнату и рыдал, как ребенок, неутешными слезами, - оставляя товарищей в полном недоумении... К великому моему горю, эти минуты слезного раскаяния не оберегали меня от страстных увлечений...

Служа в городе Усмани, я квартировал в доме одной госпожи, у которой и

столовался. Особа эта жила в свое удовольствие, даже роскошно, и мне жилось у нее очень хорошо в смысле продовольствия. У ней жила из милости, в качестве бедной родственницы, молоденькая вдова, не старше двадцати двух - двадцати пяти лет. Она, несмотря на свой юный возраст, была уже за двумя мужьями и с обоими прожила не более полутора лет. Дело, наше с ней было молодое, и вот однажды, сидя с ней на балконе нашего дома, мы вступили с ней в откровенный разговор... Слово - за слово, она поведала грустную историю своей неудавшейся молодой жизни и, между прочим, сказала:

- Мудрено, Федор Афанасьевич, в моем положении быть честной: на все нужны деньги, а где их взять? Поневоле изменишь нравственности...

- А много ли вам нужно, чтобы избегнуть такой крайности? - спросил я с живым к ней участием.

Она сказала мне цифру, и так как сумма эта была в пределах моих средств, то я тут же и выдал, сколько она сама назначила...

- Только бы вы не изменяли целомудрию и каждодневно ходили в церковь и молились Богу, - объятый порывом великодушной жалости, сказал я...

На том наша беседа тогда и кончилась.

Наутро, идя, по обычаю, к ранней обедне, вспоминая разговор мой с молоденькой вдовой, я чувствовал себя как бы святителем Николаем, спасающим от разврата девическое целомудрие... Прости меня, угодник Божий!.. Но недолго мне пришлось быть на этой высоте, и по малом времени я уже был в преступной связи с прелестницей. Совершилось это очень быстро и очень просто, а немного времени спустя, я уж был оповещен, что плод любви нашей лежит под ее сердцем... Как громом меня поразило известие. Что было делать мне? Нельзя же было оставить ее несчастной, а выход был один - жениться... А монастырь? А обеты?.. Господи, до чего я был близок тогда к совершенному отчаянию!..

В это страшное для меня время, когда все сердце мое обливалось слезами позднего и, казалось, бесплодного раскаяния, я должен был выехать по службе в уезд. Поздно вечером в селе Нелже, окончив разлив питей в питейные заведения и забрав с собой всю денежную выручку, пришел на квартиру и, помолившись Богу, лег спать. Но сердце не о сне думало, а весь мой помысел сосредоточился на страшном для меня вопросе о женитьбе. Помышляя о своих обетах, о жизни

своей, столь несоответственной моим стремлениям, я горько плакал, уткнувшись в подушки, и с молитвой к Пречистой о заступлении, заснул. И вижу я во сне: перед иконой Божией Матери молится преосвященный Тамбовский Николай. В это время из иконы выступает преподобный Сергий Радонежский и становится сбоку иконы. И мне будто бы нужно подойти к Царице Небесной, чтобы поцеловать Ее пречистые стопочки, но взглянув на Нее, я сознаю свое недостоинство, все свои преступления и, горько зарыдав, падаю ниц на землю. Лежу я так-то, на земле, обливаюсь слезами и в то же время чувствую, что не в силах разорвать преступную связь - слишком люблю предмет своей страсти. В таких-то чувствах я молюсь Владычице и прошу Ее, чтобы Она Сама, силой данной Ей благодати, спасла меня от уз брака и дала мне возможность не уклоняться от данных обетов... И услыхал я тут незримый голос, делавший мне выговор, и был удостоен поцеловать стопу Преблагословенной. По всему моему существу разлилась тогда неизъяснимая радость, и я проснулся, и, когда проснулся, то заметил, что моя подушка была омочена слезами.

С этого времени я прервал свою связь... Боже мой! Сколько пришлось мне вынести тогда сцен, слез, упреков, проклятий, угроз лишить себя жизни! Но рассказав ей свой сон, я был непоколебим, и хотя она ему не верила, но я твердо стоял на своем и старался ее убедить, что она сама поверит истине моих слов, и судьба ее устроится помимо меня, а мне, все-таки, предстоит монашество.

Прошло со времени моего разрыва самое короткое время. Моей вдовушке надо было, по приглашению ее родственника, ехать в Задонск на свадьбу. Перед отъездом она забежала ко мне и сказала:

- Хоть помолись обо мне, чтобы Господь меня пристроил: а то, беда моя, - куда я теперь скроюсь?

- Вы вот все мне не верите. А, если угодно Царице Небесной, чтобы я был в монахах, то вы выйдете замуж, - говорил ей я, стараясь ее утешить.

Сам я всей силой души верил своему сну, верил в помощь Царицы Небесной. Но она не верила. И жалко мне было ее, и горько я плакал, прося помощи свыше.

Что же вышло?.. Пока она жила в Задонске, приехал неожиданно к ее родственнику богатый елецкий купец Ж. Увидав ее, он сразу в нее влюбился и, заинтересовавшись ею, спросил родственника:

- Чья это молодая дама?

- Это моя сирота-племянница, - отвечал тот, - и притом крайне несчастная.

- Чем?

- Вот, видите, как она молода, а уже была замужем за двумя мужьями и жила-то за ними, за обоими, не более полутора лет.

- Вот и прекрасно! - воскликнул Ж., - такую-то нам и нужно: я вдовец - не пойдет л и она за меня замуж, за третьего?

Так это было неожиданно, да к тому же купец очень богатый, так что родственник моей вдовушки поначалу, было, усомнился, - уж не шутит ли богач. Но тот продолжал:

- Я серьезно вам говорю, если ваша родственница пойдет за меня, хромого старика (он прихрамывал на одну ногу), то я ее возьму за себя.

Послали за ней. Она сразу тоже, было, не поверила, но когда увидала, что дело выходит всерьез, с радостью согласилась. Еще удивительнее было то, что Ж. торопил со свадьбой и захотел ее сыграть тут же, чтобы о ней не успел узнать никто из его семейных. Дело закипело на всех, что называется, парах, и, не успел я оглянуться, как в одну ночь прикатила на тройке в Усмань из Задонска торжествующая вдовушка и с радостью всем нам объявила:

- Я приехала за метрическим свидетельством: я ведь выхожу на днях замуж и, представьте, еще за кого? За богача елецкого Ж.!

Она была очень довольна и наутро же укатила обратно в Задонск с метрическим свидетельством, где, к удивлению всех, тут же вышла замуж.

Так окончилось мое усманское искушение. Беспредельна была моя благодарность Пречистой. Я твердо решил изменить свою жизнь.

XXIX

По обстоятельствам службы меня вскоре перевели в Лебедянь той же Тамбовской губернии. В Лебедяни в те времена бывала каждый год огромная ярмарка, и разливали для продажи, бывало, многие тысячи ведер. Должность подвального там была очень трудной и ответственной. И вот на эту-то

должность меня и сочли нужным перевести под начальство управляющего, некоего Ивана Андреевича Дивеева, человека благочестивого и редкостно доброй и благородной души. Я продолжал и в Лебедяни по-прежнему, несмотря на ядовитые насмешки сотоварищей по службе, свои хождения к ранней обедне. Это было замечено Дивеевым, и он очень ко мне расположился. Не надеясь на свои духовные силы в борьбе с обуревавшими меня страстями, я решил бороться с ними телесным способом, часто простаивая целые ночи напролет на молитве, и, наконец, - обложил себя по голому телу железными веригами на шалнерах*. Местный слесарь сделал мне их за золотой полуимпериал. Вериги эти я носил, не снимая день и ночь, и от них сделались раны, следы которых видны у меня и доселе.

---

* Шалнеры (нем.): петли, крюки, скрепы.

Плоть моя под влиянием таких чрезвычайных мер, правда, до некоторой степени обуздалась, но зато начались искушения со стороны духа.

Однажды вечером управляющий позвал меня к себе и пригласил на другой день ехать за семнадцать верст от Лебедяни в Сезеневский женский монастырь - помолиться и отслужить панихиду по основателю обители, великому подвижнику и затворнику Иоанну Сезеневскому. Предложение это мне было как нельзя более по духу, и мы на другой день вечером выехали в обитель, чтобы переночевать там и отстоять Литургию. Когда после Литургии мы пошли к панихиде в пещерку, где покоится последним сном до общего воскресения великий подвижник, и видя, как народ и вместе с ним мой управляющий прикладываются к его чеканному изображению на гробнице, как к изображению святого, я неожиданно для себя внезапно вознегодовал. "Как, - подумал я, - целовать простое изображение человека, не признанного еще святым Святейшим Синодом! Это невежество!" И дав волю этому чувству, я, когда подошел к гробнице, поцеловал только изображение на ней креста, а сердцем сказал, обращаясь к почившему затворнику: "А твоего изображения я целовать не стану, пока тебя не признает Церковь!" И с этой мыслью я отошел, негодуя, от гробницы.

Управляющий пошел к игуменье, а я - к экипажу. Кроме нашего, было много и других экипажей и, прислушиваясь к разговору кучеров, я услыхал, как один

говорит другим:

- Он (затворник Иоанн) все ел с деревянным маслом. Бывало сделает себе яичницу из одного яйца, и ту ест с деревянным маслом...

Это он делал для того, подумалось мне, чтобы быть после смерти нетленным. Наверно, он знал, что деревянное масло препятствует трупу разлагаться. Безумная эта мысль, развиваясь все далее, довела меня, в конце концов, до полного неверия в подвиги и святость жизни затворника. А дальше пошло в голове что-то и вовсе ни с чем несообразное: ничего нет чудесного... все тайны природы, кажущиеся чудесными, пока еще они не открыты и не разгаданы человеком... сны, мечты, воображение!.. Я путался в мыслях все более и кончил тем, что и вовсе запутался.

По возвращении своем домой в Лебедянь в самых растрепанных чувствах я оправил машинально в своей комнатке лампадку перед образом Божией Матери и лег на диван лицом к стенке. Не успел я как следует задремать, как вдруг почувствовал, что кто-то ударил меня тихо по плечу, и между дремой и пробуждением я услыхал голос, говорящий мне:

- Ты думаешь, что я ел все с деревянным маслом для сохранения своего тела нетленным. Я ел его от грыжи.

Я мигом обернулся и увидал около себя затворника Иоанна - точь в точь такого, каким он изображается на портретах. Сказав мне эти слова, он стал невидим.

Ужас объял меня от этого видения: оно было так ясно, так живо, что у меня не было ни минуты сомнения в том, что Божий угодник явился для обличения моего кощунства. Я вскочил с дивана и долго не мог успокоиться, все ходил взад и вперед по комнате. Понемногу сила впечатления от виденного стала ослабевать, и опять зароились в голове отступившие, было, мысли: расстроенное воображение, оптический обман, галлюцинации!.. Слова эти и в то время были уже в большом ходу между теми, кому хотелось быть умными.

У меня в это время болели и сильно гноились глаза. Как бы в ответ на роившиеся в моей голове соображения, молнией промелькнула другая мысль: если это видение - не бред расстроенного воображения, а истинное явление, то пусть исцелится моя глазная боль без всяких медицинских средств. Тогда я уверую.

Наутро, когда я шел на службу, мне встретился по дороге фельдшер И. П.,

знавший о моей глазной болезни, и дал мне пузырек с лекарством, говоря:

- А я вам нес лекарство против глазной боли!

Лекарство я взял, поблагодарил фельдшера, но воспользоваться им не успел по встретившимся мне спешным служебным делам, которые требовали усиленного занятия. Вечером, собираясь из дому к товарищу по службе, чтобы с ним идти к его невесте, у которой я был сватом, я, подвязывая манишку, взглянул в зеркало и увидел, что глаза мои как будто никогда и не болели.

XXX

С этого времени моя внутренняя жизнь стала еще суровее: ночные мои молитвы я старался усилить, но вериги продолжать носить уже не мог - на теле сделались язвы, которые не подавали возможности продолжать этот подвиг. На службе и с товарищами я по внешности не изменял своих отношений, но в своем домашнем, келейном, так сказать, быту усердно стремился подражать монашескому подвигу: по ночам вставал на молитву и, случалось, простаивал до самой ранней обедни, к которой ходил неопустительно каждый день. Кощунственные мысли меня оставили, но зато началось другое.

Однажды, в полночь, стоя на молитве, я увидал сбоку от себя темную тень и ясно услышал страшный, зловещий голос:

- Если ты не перестанешь подвизаться, я много наделаю тебе неприятностей...

Жутко мне стало, но я прочитал молитву Иисусову и опять продолжал молиться. Тень исчезла... Через некоторое время со мной произошло такое страшное приключение: дело было вечером; по обязанностям своей службы, уходя из подвала, где в чанах стоял спирт, я тщательно осмотрел чаны, что делал ежедневно по окончании дневной работы, и все нашел в полной исправности. Утром следующего дня я вместе с бондарем вошел в подвал, и к великому своему ужасу, увидал, что весь пол подвала залит спиртом. Оказалось, что за ночь вытек самый большой чан, в котором было более двухсот ведер. На полу - море вина, а чан пустой. Я перепугался до полусмерти. Боже мой! - воскликнул я, - спаси меня!.. Надо было как-нибудь скрыть происшествие от управляющего и поторопиться собрать, сколько возможно, спирту, пока еще на дворе и в конторе спали. Насосом и ливерами мы с бондарем закачали обратно в чан это разливанное море, пол усыпали песком, и, казалось, что и следов несчастья не осталось. Но на деле, когда я стал проверять утечку, спирту много не достало до

нормы. Пришлось заявить управляющему. Я получил жестокий нагоняй, особенно, когда стал просить увольнения. Тем не менее я настоял на увольнении, опасаясь в будущем неприятностей еще горших. Но вот что показалось всем странным и загадочным: когда я сдавал подвал своему преемнику, то весь спирт оказался налицо. Удивился управляющий, удивились рабочие... Я не особенно удивился, зная, чье это было приражение, и мог только вздохнуть благодарной молитвой к Богу и Пречистой...

Наш управляющий Иван Андреевич Дивеев очень меня уговаривал не покидать службы. Хотя он и погорячился, было, со мной, но, как человек очень добрый и меня любивший, тут же и раскаялся в своей горячности. Но меня уговорить было совершенно невозможно: я был уверен, что настало время для меня удалиться в монастырь. Нападение вражье в миру я приписал медлительности моей в исполнении данного уже давно обета, а чудесное обретение спирта приписал моей решимости разделаться с миром. Уверенность эта так во мне была крепка, что я убедил Дивеева в необходимости покинуть службу, чтобы в дальнейшем и для себя, и для него не навлечь еще больших неприятностей, тем более, что страшное видение повторилось вновь и угрожало мне новыми ужасами. Религиозно настроенный Дивеев вынужден был со мною согласиться, когда я ему открыл свои видения, и дал мне увольнение.

Но независимо от вражьего на меня нападения, которое, казалось мне тогда, было попущено мне за нерадение к исполнению моих обетов, я считал себя, до некоторой степени, и в нравственном праве перед родителем и семьей оставить о них дальнейшее попечение: на руках у родителя оставались только две сестры - вдова Екатерина, уже сама стремившаяся в монастырь, и малолетняя Поленька, которая не могла очень обременить отца, тем более, что еще когда я был еще на службе в Усмани, я отдал родителю все свои сбережения, и он пообещал, мне, когда я того пожелаю, дать увольнительное свидетельство на поступление в монастырь.

Итак, рассуждал я: сестра Екатерина и я поступим в монастырь; Поленька останется с отцом, который может перебиться с своими деньгами; а брат Иван, уже сам поступивший на службу, не требует попечения; с течением же времени и он сможет занять мое место в заботах о старике отце и малолетней сестре.

Очень мне все это тогда казалось гладко и рассудительно...

XXXI

Упомянув о брате Иване, что он уже был на службе, я должен в хронологическом порядке своего повествования отступить несколько назад и рассказать, каким образом его поступление на службу состоялось. В неисповедимых путях Божественного Промысла младшему брату суждено было занять в моей жизни важное место, и сама судьба его, тесно с моей связанная, настолько интересна, что меня, я уверен, простит за это отступление тот, кто еще не бросил до сих пор чтения моей рукописи.

Когда я служил еще в земле Войска Донского и жил в Раздорской станице, в числе служащих поверенных был моим товарищем некто Федор Михайлович Абрамов, молодой человек прекрасной наружности, редко веселого характера, притом певец с хорошим голосом и чудесный гитарист. Это был мой первый и закадычный приятель, с которым мы, что называется, жили душа в душу. Но служить нам с ним по откупу вместе пришлось недолго, так как отец его определил на Кавказ, на службу к известному богачу - армянину Мирзоеву, который был самым крупным поставщиком спирта нашей Кавказской армии. Эта пора на Кавказе была временем крупных нажив для ловких дельцов - золото в их карманы лилось рекою, в полном смысле слова без счета... Отъезжая на Кавказ, Абрамов, получив расчету Рукавишникова, заехал ко мне проститься в Раздорскую, дав для того восемьдесят верст крюку, и прожил у меня три дня. Эти три дня совместной жизни нас до того сблизили, что на прощание мы с ним обменялись шейными крестами, стали "крестовыми братьями" и дали друг другу клятву быть на всю жизнь, как братья родные. Он уехал в Темир-Хан-Шуру, где скоро приобрел доверие своего хозяина и по коммерции стал немалым человеком.

В добрый час, как потом оказалось, мы стали с ним крестовыми братьями...

Во время моей службы в Лебедяни, родитель мой надумал съездить из Балашова в Воронеж на поклонение мощам святителя Митрофана и оттуда, на возвратном пути, привез ко мне младшего брата Ивана, которому в то время было шестнадцати лет. Родителю моему желательно было определить его писцом в питейную контору, но я, уверенный в том, что откупа доживают свой век, - к тому же, и слухи такие ходили, - просил родителя, чтобы он лучше определил Ивана к какому-нибудь капиталисту-коммерсанту - хотя бы до времени и без платы, чтобы только пристроиться к крупному коммерческому делу. Родитель согласился с моим советом. Брату это было очень неприятно, но, делать нечего, пришлось подчиниться родительской воле... Когда они вернулись домой, к отцу моему зашел в гости некто Евреинов, наш бывший согражданин, а в это время

житель города Темир-Хан-Шуры, где у него была торговля. За беседой выяснялось, что Евреинову нужно ехать в Москву и на Нижегородскую ярмарку за товаром, а жену, за которой он приехал, отправить из Балашова в Шуру.

- Да, вот, горе мое, - жаловался Евреинов, - отправить-то мне ее не с кем!

На это мой родитель предложил ему взять жене в спутники брата Ивана...

- Да уж, кстати и взяли бы вы его к себе на службу, - прибавил мой родитель. Евреинов согласился, и судьба брата была решена...

Таким образом, брат Иван очутился в одном городе с крестовым моим братом, Федором Михайловичем Абрамовым. Но друг друга они не только не знали, но и о взаимном существовании не имели никакого понятия. А, между тем, Абрамову суждено было оказать на строй жизни моего брата большое влияние... Встреча их и знакомство состоялись при следующих обстоятельствах.

Однажды Федор Михайлович шел из своей конторы через площадь, где торговые ряды. В то время в рядах у дверей каждого магазина стояли диваны, и на этих диванах отдыхали прохожие, больше, конечно, офицеры - по пути к главнокомандующему из своих частей или из военной канцелярии. Можно сказать, что диваны эти были местом, где они обычно собирались потолковать о военных или о своих домашних делах... В тот день, в который состоялась встреча моего брата с Абрамовым, у Абрамова по дороге из конторы к главнокомандующему князю Лорис-Меликову потухла сигара, и он, подойдя к лавке, у которой стоял мой брат, сел на диван, а Иван, заметив, что сигара потухла, подал ему спичку. Раскуривши сигару, Абрамов спросил брата:

- А ты, мальчик, откуда родом?

- Из Балашова, - ответил брат.

- Из Балашова? - переспросил Абрамов. - А не знаешь ты в Балашове Федора Афанасьевича Попова?

- Как не знать, когда он мне родной брат!

- Да как же ты попал сюда?.. А брат твой где?

- Брат в монастырь ушел...

- Да верно ли ты это говоришь? Неужели Федор Афанасьевич тебе брат? - изумлялся Абрамов, не веря собственным ушам.

- Да смею ли я так нагло лгать? - уверял его брат.

- И письма у тебя от него есть? - допытывался Абрамов.

- Не далее, как вчера, я и от него, и от родителя получил письма...

- Ну, вот что, брат! Приходи ко мне завтра пораньше утром чай пить - я чай пью рано - да приноси с собой письмо брата: я тогда узнаю, тот ли это Попов, о котором мы говорим, а то - все бывает - может, это только его однофамилец- Абрамов дал свой адрес брату, наутро дело выяснилось, и встреча эта повела к удивительной, как потом оказалось, перемене судьбы моего брата. Добрый и верный друг Абрамов, обрадовавшись известиям обо мне и встрече с братом, велел ему написать немедленно письмо ко мне и к родителям: с просьбой разрешить брату переменить место и поступить на службу к другому хозяину по рекомендации Абрамова. Разрешение это нами было дано, и вскоре Иван поступил на службу к одному владимирскому коммерсанту, торговавшему в Шуре и нажившему во время военных действий против Шамиля крупное состояние. У этого купца была единственная дочь, которой было суждено впоследствии стать женою моего брата. Вот эта-то свадьба и развязала меня окончательно с миром... Но я забегаю вперед, а теперь перехожу к рассказу о моем вторичном поступлении в монастырь.

XXXII

Во время моей службы в Лебедяни я часто ходил к службам в Троицкий монастырь. Бывая в монастыре, я полюбил его запушенный тенистый сад, где в самой середине его чаши стоял нежилой деревянный сруб, покрытый тесом, с полом, но без печей и без рам. В этот сруб по осени сыпали яблоки. До того мне полюбилось это уединенное место, что, гуляя в саду в полном, конечно, одиночестве, я неоднократно молил Бога, чтобы Он благословил мне поселиться в этом срубе и в нем проводить отшельническую жизнь... Когда я решился уйти вторично из мира в монастырь, то, получив расчет от управляющего своего Ивана Андреевича Дивеева после истории с пролившимся спиртом, я пошел к игумену монастыря и просил его, чтобы он принял меня в свою общину жить в этом срубе под именем сторожа. У меня для окончательного поступления в монастырь не было увольнения от общества, а без него я мог жить в монастыре только по паспорту, под видом вольнонаемного. Об этом разрешении я молил

игумена, со слезами великой жажды подвига, и получил его без особого затруднения.

- Господь тебя да благословит, - этими словами игумена положено было начало моему вступлению во второй раз в вожделенную для меня монастырскую ограду.

На новое жительство я перебрался в первых числах апреля, когда на дворе еще стояли порядочные заморозки, и, - Боже мой! - сколько я натерпелся тогда от холода в своем срубе, от крыс и мышей, бродивших в нем целыми вереницами. От холоду я долго не мог ложиться спать, становился на молитву и усиленно клал земные поклоны. Едва согревшись, пробовал заснуть, но крысы и мыши начинали бегать по всему срубу, поднимали такую возню, что в ее разгаре не стеснялись прыгать мне на голову и бегать, как ошалелые, по всему телу. Кроме добровольного и вынужденного указанными обстоятельствами подвижничества, я нес еще послушание у свечного ящика и вскоре начал чувствовать такое изнеможение, и физическое, и нравственное, что вряд ли долго бы выдержал, а на изменение своего положения я мог рассчитывать или с окончательным поступлением в монастырь по получении увольнения, или с выходом из монастыря обратно в мир. Со слезами молил я Преблагословенную, чтобы Она помогла мне получить, как клад, не дававшееся увольнение, но получить его не мог - все не было на то ни Божией воли, ни родительской. О, какое тяжкое это было время!

Слава и благодарение Господу, не допустившему мне потерпеть выше моих сил!.. Через наш монастырь шли в Оптину пустынь монахини Тамбовского монастыря. Это были духовные дочки старца Макария, несшие в Оптину для продажи мухояр* своего рукоделия, а главным образом, шедшие за духовным советом к своему руководителю. С ними я послал к старцу извещение, что я опять вышел из мира, и просил объяснить ему, где поселился и что делаю... Наступили, между тем, теплые дни, - мне стало немного полегче.

---

* Мухояр: бухарская бумажная ткань с шелком или шерстью.

А тут еще со мной произошел случай, очень меня утешивший и ободривший. Однажды, после вечернего пения в храме (я пел на клиросе), я подошел к иконе Всех Скорбящих Радости и стал усердно молиться Преблагословенной об

увольнении. Ко мне вдруг подошел неизвестный молодой человек и сказал:

- Ты просишь об увольнении. Не плачь - получишь!

Когда я опомнился от радостной неожиданности этих слов, молодого человека уже в храме не было. Таинственное это явление - человека, или Ангела, не ведаю, - сильно окрылило мой дух. Но радость надежды вскоре сменилась для меня новым испытанием.

Не успели уйти монахини, как приехала из Балашова сестра Екатерина вместе с двоюродным моим братом. Цель ее приезда была уговорить меня бросить монастырь и опять поступить на службу, так как им с отцом и младшей сестрой вскоре нечем будет кормиться. Тяжело было мне все это выслушивать: и жаль было семьи, но еще более было жаль себя, своих высших, но все недостижимых стремлений. Душа моя рвалась на части. И вот, в этом состоянии духа мы с сестрой отправились в Сезеневский женский монастырь поклониться гробнице Иоанна Затворника в надежде, что Господь смилостивится и укажет мне мой путь.

Когда мы с сестрой возвратились из Сезенева, вскоре пришли из Оптиной тамбовские монахини и передали, что батюшка Макарий требует меня немедленно к себе в Оптину для личного свидания. Я уговорил сестру остаться в Лебедяни, дождаться моего возвращения, а сам на другой же день с двоюродным братом вышел пешком в Оптину. Старец принял меня ласково и благословил до времени остаться в Оптиной, а в Лебедянский монастырь пока не возвращаться. Двоюродный мой брат, таким образом, вернулся в Лебедянь один, и сестра, не достигши цели своей поездки, вернулась с ним обратно в Балашов с тяжелым чувством разочарования и в скорби на мое жестокосердие. А как было расстаться с моей мечтой, как ослушаться воли старца?!.. А мои семейные, думалось мне, проживут как-нибудь и без моей помощи, если Господу угоден путь, мною избранный...

XXXIII

И поселился я жить в Оптиной, которая мне после Лебедянского монастыря с его уже поврежденной духовной жизнью показалась - да и на самом деле была! - раем духовной жизни для человека, ищущего христианского совершенствования под руководством опытного старца. Таким руководителем испытанной мудрости и всяких христианских добродетелей был старец Макарий. Много за это время довелось мне услышать богомудрых его бесед об иноческой жизни, терпении,

смирении, смиренномудрии, послушании, безмолвии и любви, но важнее всего был его личный пример и пример тех, которые проводили жизнь совершенствования во Христе Иисусе под неусыпным духовным надзором его беспримерной любви и попечительности. Что это был за человек!.. И любили же его те, которых Господь удостоил быть его духовными детьми!..

В описываемое мною время (шел 1853 год) в Оптинском скиту при старце Макарий состоял в числе послушников Ювеналий Половцов, впоследствии архиепископ Виленский. В то время он был совсем молодым человеком. Происходил родом из известной дворянской фамилии, довольно богатой, и был он человек образованный, в цвете сил обширных своих дарований... Не забуду никогда одного незначительного по внешности, но по внутреннему смыслу полного глубокого значения случая, происшедшего на моих глазах в келье старца Макария. Сидели мы как-то в третьем часу дня втроем - я, отец Илларион и Ювеналий - и пили чай. Вдруг отворилась дверь из покоев старца, и сам батюшка из двери поклонился Ювеналию:

- Ювеналий, поди ко мне!

В руках Ювеналия было недопитое блюдечко - только раз хлебнуть... Ювеналий тем не менее и не подумал допить остаток чаю, поставил немедленно по зову старца блюдечко на стол и побежал к батюшке. Старец заметил, что чай Ювеналиев остался на блюдечке, и улыбнулся...

- Поди, - сказал он Ювеналию, - допей в блюдечке чай, а тогда и приходи!

Он так и исполнил.

Сколько в этом малом примере смирения и послушания в молодом человеке, рождением своим призванном руководить и повелевать, а не носить иго послушания у смиренного старца-монаха!.. Таково было обаяние личности и духа отца Макария. Мудрено ли, что на смену ему в этой временной жизни в Оптиной уже созревал не менее великий ему преемник - Амвросий!..

Как ни хорошо жилось мне в Оптиной, но меня вскоре с великой силой потянуло повидаться с другом моей юности Феодором Андреевичем Какирбашевым, о котором я уже упоминал в этой летописи земного моего странствования. В описываемое мною время он уже был иеродиаконом Плошанской, что в Орловской губернии Севского уезда, пустыни. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним в последний раз виделся, и мне непреодолимо захотелось увидеть этого

искреннего друга и сомолитвенника времен детских и юношеских молитвенных наших подвигов. Открыл я свое желание старцу и получил его благословение. В Плошанскую пустынь я отправился излюбленным своим способом, по образу, как говорится, пешего хождения.

Надо ли описывать радость нашей встречи с другом детства моего?.. Отца Филарета я уже застал в сане иеромонаха, восходящим от силы в силу в меру возраста Христова. Совершенна была радость нашего свидания; да и могла ли она быть иной, когда основа нашей дружбы была одна - любовь о Христе Иисусе и общее стремление к жизни духа, к совершенствованию благодатью Божией в этой любви Божественной!.. Поселили меня, странника и пришельца, в одном коридоре с отцом Филаретом, и кельи наши были рядом - из двери в дверь. Сходились мы вместе ежедневно за утренним и за вечерним чаем и жили, в полном смысле слова, душа в душу в боголюбезном общении духа и любви христианской. Что это было за незабвенное время, что это была за радость, миру невместимая!..

Увы! Непродолжительна была моя блаженная жизнь в Площанской пустыни: собиралась гроза военная Крымской компании - пошли слухи об усиленном военном наборе, к которому мог быть привлечен и я, если бы дело дошло до созыва ополчения. С другой стороны, родитель мой с сестрами стал уже доходить до последней крайности и писал мне письма, в которых, жалуясь горько на свое положение, взывал ко мне, как к сыну, о поддержке. Младший брат мой еще не нашел тогда своей судьбы... И был я в великом борении духа. А между тем Севастопольская несчастная война была уже в полном разгаре... Дни моей духовной радости в Плошанской пустыни быстро летели, и мне было незаметно, как промчался и канул в вечность год и наступил второй моего пребывания в этой святой и великой по духу обители...

Отца с сестрами мне за это время удалось устроить в Лебедяни при помощи моего благодетеля и боголюбца, Ивана Андреевича Дивеева, которому я писал о тяжелом положении моей семьи. Добрый Дивеев тотчас вызвал моего отца из Балашова, послав ему с сестрами денег на дорогу, и устроил его на двадцать пять рублей в месяц жалованья подвальным при пивном заводе. Жизнь в провинции тогда еще была дешевая, и двадцать пять рублей в месяц были достаточны для скромного прокормления целого семейства. На этот счет немного успокоилась душа моя. Но военная гроза, потрясая самые основы государства, била и меня, заставляя трепетно ожидать вызова в ополчение. Опасения были не напрасны, вскоре был разослан по всем обителям строгий указ, чтобы все проживающие в

них по паспортам явились в свои общества. Надо было немедля собираться опять в мир... О, горе! О, томление духа!..

И вот в горести своей, я, как бы в тонком сне, совсем как наяву, имел видение: в моей келье находятся будто бы Государь Николай Павлович в мундире и Наследник престола Александр Николаевич в полном императорском одеянии. Государь сидит такой грустный, а Наследник стоит перед ним... И вдруг Государь, обращаясь к своему царственному Сыну, сказал:

- Подойди ко мне!.. Война окончится замирением...

На этом я проснулся и тут же рассказал свой сон отцу Филарету.

- Смотри, - сказал он мне, - умрет наш Государь!

А на другие сутки дошло до нас известие, что умер Государь Николай Павлович и воцарился Александр II.

XXXIV

Обливаясь слезами, уходил я из Площанской пустыни обратно в мир. О, горе мое, о, мучение!.. На прощание зашли мы с другом моим в храм. Службы не было. Подошел я со слезами к чудотворной иконе Божией Матери и, когда помолился Ей, изнемогая от волновавших меня чувств, и подошел к Ней прикладываться, то вложил за ризу иконы приготовленную заранее записку, как бы прошение к Самой Преблагословенной, чтобы Она помогла мне избавиться от мира и сохранила меня во всех путях моей жизни. Затем я вслух сказал Ей, Владычице:

- Тебе, Матерь Бога моего, вверяю я душу свою и молю Тебя - исходатайствуй мне благословение на увольнение от мира. Сын Твой и Господь мой сказал, что грядущего к Нему Он не изгоняет вон, а я вот другой раз выхожу от Него обратно в мир... Где же обещание Его? Неужели грехи мои победили Его благость?.. Помоги, Владычица!.. - и многими другими словами молился я Преблагословенной...

Обнявшись в последний раз с отцом Филаретом, пустился вновь в тот опостылевший мне мир, от которого так отбивался и к которому все еще оказывался прикованным какою-то тяжкою, точно заколдованною цепью...

Не могу выразить словами всю скорбь сердца моего, когда я возвращался в мир.

Я не рад был даже своему существованию... И пришла мне дорогою мысль зайти к моему старцу в Оптину пустынь. Помысел говорил во мне, что если я его теперь не увижу, то уже более никогда на этом свете его не увижу. Дорога мне была на Лебедянь, к родителю, и чтобы дойти до Оптиной, мне надо было сделать сто двадцать верст крюку. И я это сделал.

Когда увидел меня батюшка Макарий смущенного и в слезах, то стал утешать и сказал мне:

- Не скорби: в силах Господь утешить тебя и извести тебя из мира.

- Нет, батюшка, - отвечал я, - верно, грех моих ради, Господь отвергнул меня от звания иноческого.

- Не так говоришь, - сказал мне старец, - грядущего к Нему Он не изгоняет вон. Моли Его благость и предайся святой Его воле, и Той сотворит. Верь мне - будешь ты монахом, но когда и в какое время, этого я не могу сказать тебе, но думаю, что со смертью родителя твоего откроется тебе путь к иночеству. А теперь укрепи себя надеждой на Бога и иди к родителю и, по мере нужды его с сиротами, твоими сестрами, усиль свою сыновнюю обязанность в обеспечение их сиротства и его старости. Будет время, что и сверх твоего ожидания откроется путь к желаемой цели. Теперь же иди и исполняй обязанности сына.

И когда я уходил из благословенного скита Оптиной, то - о, старец мой любвеобильный! - -он пошел меня провожать и, поскольку я плакал дорогою, он остановился сам, остановил меня и сказал:

- Жаль мне тебя: ты идешь в мир - с тобой встретятся искушения. Но помни слова мои: не отчаивайся! Еще повторяю тебе: с тобою будут искушения - не отчаивайся!.. Сон, когда-то виденный тобой, что ты горел в огне разных цветов, и указывает на эти разного рода искушения. Но искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей обогатит тебя смирением, и ты будешь снисходительнее к другим. Повторяю тебе опять: будут с тобой искушения, но не отчаивайся, и что бы с тобой ни было, пиши ко мне всегда обо всем, а я, по силе возможности, буду отвечать тебе.

При этих словах старца я упал ему в ноги и, обливая их слезами, просил святых молитв его...

- Господь да благословит тебя, Господь да сохранит тебя. Господь да поможет

тебе и да изведет Он тебя. Мир тебе. Не скорби: в силах Бог утешить тебя - придет время, будешь и монахом. Тогда вспомнишь слова мои. Уверяю тебя, что будешь ты монахом!

Это были последние слова блаженной памяти великого старца Макария, обращенные ко мне. Простившись с ним и приняв его последнее мне на земле целование, я, успокоенный в духе, пошел в Лебедянь к родителю и в мир предстоящих мне искушений.

Предчувствие меня не обмануло: старца Макария я на земле более не видел.

Соедини нас, Господи, во Царствии Твоем!

XXXV

Оригинально произошла моя встреча с родителем... Как я уже говорил, добрый Иван Андреевич Дивеев дал ему место подвального при пивном заводе. Это была с его стороны тайная милостыня, так как ему хорошо были известны все обстоятельства моей семейной жизни и стремления мои, которым он, как человек в высокой степени религиозный, сочувствовал от всей своей доброй и боголюбивой души. Не ограничившись тем, что он дал отцу место, Дивеев поместил его и всю семью на готовую квартиру с отоплением и освещением.

Жилось отцу сравнительно хорошо, но уже стал немощен и стар мой родитель - несостоятельность, в которую он впал в родном городе, где занимал в свое время не последнее место, почти сокрушила последний остаток его старческих сил. Много пришлось перенести ему в Балашове перед выездом в Лебедянь: глухая вражда тайных врагов, которых он там приобрел на общественной службе, благодаря своему правдивому характеру, только ждала его несостоятельности, чтобы вырваться наружу, и много довелось испытать горького бедному отцу, пока не пришел к нему на помощь Дивеев. Так, видно, все ведется на белом свете: покуда в богатстве, потуда и в чести; а обеднял - всем опостылел и никому не стал ни мил, ни нужен...

Я не давал знать родителю о своем выходе из монастыря и о возвращении, так что приход мой для него был совершенной неожиданностью. Лет пять или шесть мы с ним не виделись - с того дня, как он был у меня с братом Иваном. Из семейных только сестра Екатерина видела меня сравнительно не так давно, когда приезжала уговаривать выйти из Лебедянского монастыря, но за эти два прошедших года, что она меня не видела, я уже успел сильно перемениться,

особенно, в послушничес-ком одеянии, которое я носил и в котором возвращался из Площанской пустыни. Я был уверен, что меня даже не узнают, и - не ошибся.

В Лебедяни контора пивного завода, в котором служил родитель, стояла на так называемой Тяпкиной горе, а пивной завод и квартира отца располагались под этой горой. Надо же было случиться, что, когда я спускался под гору и приближался к отцовской квартире, меня нагнал родитель, возвращавшийся из конторы домой. С сумкой за плечами, в весьма убогой одежде, соженной лучами солнца, запыленный, с посохом странника в руках, я поклонился отцу до земли и спросил:

- Не знаете ли вы, где бы мне здесь найти Афанасия Родионовича Попова, служащего по питейной части?

Родитель не узнал меня и ответил:

- Тот, кого вы ищете, говорит с вами. Что вам нужно?

- Да у него, - сказал я, - есть ли сын в монастыре?

- Есть.

- Ну, вот он-то и просил меня убедительно найти вас и передать вам о его житье-бытье.

С великой радостью родитель пригласил меня к себе и тотчас по приходе велел поставить самовар и принялся меня расспрашивать о сыне. Я крепился и не выдавал себя. Тем временем сестры подавали нам чай и тоже меня не узнавали. Со слезами на глазах слушали они мой рассказ о брате, нимало не догадываясь, что сам брат с ними говорит. Я едва сам удерживался от слез, особенно, при взгляде на младшую сестренку Поленьку, но не хотел до времени выдавать себя. Тут к нам вошла в комнату женщина, у которой я стоял на квартире, когда был подвальным. Она узнала меня, но не вполне еще уверенная, что это я, вызвала сестру Поленьку в другую комнатку и сказала ей:

- По-моему, это брат ваш. Уверяю вас, что это он.

Поленька порывистым шепотом позвала сестру Екатерину:

- Сестрица, иди скорей сюда!.. Посмотри, ведь - это с папашей-то чай пьет

братец наш!..

И та, как взглянула, тотчас бросилась ко мне, обливаясь радостными слезами... Отец так и ахнул:

- Ах ты, вшивый! Да как же это я не узнал тебя!..

И пошла тут радость, слезы, восклицания, объятия... Забыл я тут и жизнь свою монастырскую...

Нужно же было тому быть, что в это самое время был в Лебедяни, проездом из Воронежа в Москву, брат нашего откупщика, бывший мой управляющий и начальник Алексей Никитич Рукавишников, и они вместе с Дивеевым меня тут же и приняли вновь на службу. На другой день я был назначен в село Доброе, за пятьдесят верст от Лебедяни, дистанционным, где и была мне назначена квартира. Семейные мои заставили меня обрить бороду, а сослуживцы за одну ночь, без ведома моего, сюрпризом, заказали портному полную штатскую пару и пальто, что меня до крайности удивило и тронуло. За сутки ничего не осталось во мне по обличью монашеского, и опять потекла старая, знакомая мирская жизнь с ее суетой, бестолочью и призрачными обольщениями...

XXXVI

Но гроза военная не проходила. На престоле уже был Александр II, от которого ждали заключения мира, но мира еще не было, и я сильно унывал, зная, что при наборе в Балашове ратников отцовские враги меня не пощадят и забреют лоб без всякого сожаления к моей семье. Я усиленно молился Богу, чтобы минула меня эта горькая чаша. И вот, в это самое время во сне я увидал чудное видение: вижу я себя, что будто я в каком-то великолепном храме, точно в Сезеневе; передо мною иконостас, а вверху его, на великолепном троне, в полном архиерейском облачении, со скипетром в руках сидит Спаситель. По правую Его руку стояла Матерь Божия в скромном одеянии, предстоя в безмолвной молитве перед Господом. По левую руку Спасителя, преклонив одно колено, стоял Предтеча и Креститель Господень Иоанн: правая его рука приложена к сердцу, а левой он указывал вниз, где на воздухе был из белого тумана крест, а под крестом стояло великое множество народа. И в толпе этой стоял глухой шум, как бы от вод многих. Пречистая и Креститель молились со слезами Господу об этом народе, и по лику Спасителя, приклонившего главу Свою, было заметно, что молитва была услышана.

На том видение кончилось.

В это время из Успенского женского монастыря проезжала известная мне старица, монахиня Архелая. Я ей открыл о своем видении. Долго помолчавши, она сказал мне:

- Это сон какой-то дивный. Смотри, как бы не попасть тебе в ратники!

Такое толкование простосердечной старушки - в тон моему тайному беспокойству и опасениям окончательно смутило дух мой, но Господу угодно было меня утешить последующим вскоре видением. Было это во сне. И видел я, что молюсь ночью в саду, а на дворе стоит майское тепло и благоухание. Стоя на молитве, вдруг слышу с высоты, над головой моей, голос, назвавший меня по имени:

- Феодор! Чего ты скорбишь? Не скорби - Я дам мир Европе!

И когда я взглянул на небо, то увидел в невыразимой воздушной дали Спасителя, стоящего в белой льняной одежде, опоясанной золотым поясом. Сверх этой одежды была другая, а в руках Спаситель держал крест, как то пишут на местных иконах... Когда видение это скрылось, я проснулся вне себя от радости. И что же? На другой день после этого видения мир был заключен, и кончились, таким образом, все мои душевные смуты.

XXXVII

Из Лебедяни я выехал, сняв родителя со службы, со всем своим семейством в село Доброе, когда-то бывшее городом. Опять началась для меня обеспеченная и прибыльная служба дистанционного, и мир опять, вопреки моим обетам, понемногу стал меня затягивать в свои сети. Кончилось тем, что я к стыду моему, увлекся красивой женой одного купеческого сына и стал вновь рабом своих страстей. О монастыре я, казалось, и думать забыл, хотя в минуты просветления сердце мое с тревогой обличало мое поведение. Но жизнь шла своим порядком, брюхо было сыто; а сытое брюхо, как известно, к учению глухо, особливо, к учению света, добра и истины, еже во Христе Иисусе, Господе нашем.

Однажды приехал ко мне один мой приятель, человек молодой, служивший в Добром становым приставом, и соблазнил меня ехать на охоту за утками. Собралась нас целая компания, и покатили мы на тройках верст за пятнадцать от

Доброго. Было это время, когда матерые утки линяют и держатся в камышах на озерах. И вот на одном-то из таких озер мы и начали охоту. Мы со становым пошли по одному берегу, а остальная компания - по другому. Ружья у нас были отличные, и охотились мы с подружейными собаками. Дичи было много, собаки работали на славу, да и охотники не зевали - и скоро мы наколотили препорядочно и молодяку, и старых уток, и селезней. Обилие дичи и непрерывная бойня несколько поутомили меня и поохладили охотничий пыл. Я шел, опустив ружье, в задумчивости. Мысль моя невольно обратилась к монастырю, к невыполненным обетам... Когда же, думал я, удастся мне, наконец, поступить в монастырь? Где все обещания прозорливого старца Макария?.. Я взглянул на небо и с горькой усмешкой недоверия проговорил: ну, где же Божий Промысел? Какой это Промысел! Все это игра случайностей, игра воображения!..

В это время из камышей вылетела утка... Меня что-то изо всей силы ударило в спину и точно обожгло. Гулко прокатился выстрел, и я тут же упал на землю - почти в беспамятстве... Я увидел над собою искаженное испугом лицо станового, он прерывающимся от волнения голосом спрашивал:

- Голубчик ты мой, жив ли ты? Прости, Христа ради, - это я нечаянно... Нечаянный был выстрел...

Оказалось, что становой хотел было выстрелить по взлетевшей утке, но, когда он не успел вскинуть к плечу ружье, курок преждевременно спустился, и весь заряд крупной утиной дроби, угодил мне в спину. Ружье у станового было такое, что этой дробью в сорока саженях пробивало доску... А я шел впереди станового саженях в семи, или восьми... Бедный становой весь трясся, бледный от испугу, и только причитывал:

- Ах, ах! Голубчик ты мой, я тебя убил! Я тебя убил!..

Когда прошла первая минута испуганного оцепенения, я попробовал приподняться. Это мне удалось. Кое-как сняли с меня сюртук. Рубашка была вся смочена кровью, но кровь уже более не текла, и я не чувствовал боли. Боль была мгновенной - только при выстреле: меня точно обожгло, или укололи в спину острыми вилками... Силы ко мне вернулись, я почувствовал, что опасности нет, встал с земли и мы пошли к лошадям. Я велел становому ничего не говорить о случившемся, но охоты мы уже более не продолжали - не до охоты уже нам было. Вернувшись домой, о том, что со мною было, я сказал только сестре Екатерине со строгим запретом говорить что-либо отцу, а становой послал свою

тройку за доктором в имение князя Васильчикова, неподалеку от Доброго.

Рано поутру приехал доктор, осмотрел мою спину и, улыбаясь, сказал:

- Хорошо же вы охотитесь!.. Однако вы не беспокойтесь - опасного ничего нет. Вот я вам оставлю примочку, а вы ее приложите к ранам, когда будете ложиться спать, боль и успокоится...

Но в том-то и дело, что боли-то у меня никакой не было... Напившись чаю, доктор уехал обратно. На ночь я не воспользовался докторской примочкой, лег спать и уснул самым приятным сном. Вставши поутру, я попросил у сестры другую рубашку и, когда я ее стал менять, то из моей спины дробины посыпались на пол. Изумленный и обрадованный явному чуду, дарованному мне для вразумления моего, я обратился к образу Спасителя, висевшему тут же в комнате, и взмолился Ему:

- Оставь мне, Господи, в теле моем хоть несколько дробинок в память милосердия Твоего ко мне!

И во мне остались три дробинки, которые я храню в своем теле до сего времени, да видят на мне щедрую и милостивую руку Господню.

После этого вновь возгорелась ревность моя жить по Бозе и в Боге. Опять переменил я образ своей жизни и стал все чаше и чаше задумываться о монашестве. Я вспомнил слово старца Макария, которым он меня предостерегал от отчаяния, и я не давал духу уныния заживаться подолгу в моей душе, но о монастыре мне пока и думать было нечего: за плечами моими был старик-отец, уже обремененный и годами, и немощами, сестра-вдова и подросточек, младшая сестричка - все трое беспомощные, у которых только и было надежды, что на меня да на мой заработок. И я смирился в твердом, однако, уповании на то, что рано ли, поздно ли, а изведет меня, все-таки, Господь на монашеское делание. И тем не менее, радуясь исполнению сыновнего долга, счастливый по службе, любимый начальством в лице благодетеля моего Дивеева, любимый сотоварищами по службе, я бывал иногда, по немощи человеческой, близок к самому тяжелому унынию. Спасался только молитвой ко Господу и Пречистой, - и не оставлял меня Господь даже в минуты малодушия моего. А малодушным мне приходилось бывать частенько.

Разыгрывалась раз в конторе лошадь в лотерею. Я взял один билет и, когда приступили в моем присутствии к розыгрышу, я помолился в сердце своем

Преблагословенной, чтобы утешила меня Она выигрышем, дав мне знамение в том, что Господь внемлет моей просьбе, и я буду иноком. Не лошадь мне была нужна, но унывающая моя душа жаждала утешения. И я был утешен: билеты все вынули, остался один мой и лошадь таким образом мне и досталась.

Очень меня это тогда и утешило, и ободрило.

XXXVIII

В селе Добром вскоре скончался родитель и был похоронен близ церкви Тихвинской Божией Матери. Отошла с миром ко Господу настрадавшаяся душа его и осиротила всех нас и больше всего, конечно, беспомощных моих сестер, у которых на всем свете родного только и осталось, что моя к ним любовь и мое попечение. О брате Иване давно не было никаких известий, и трудно было рассчитывать на его поддержку: и по его молодости, и по положению человека, живущего только на скромное жалованье торгового приказчика. Туманились последние надежды на развязку мою с миром - не обрекать же было моим уходом в монастырь на голодную смерть двух близких и дорогих мне существ. С помощью Божией, мне удалось отдать всю свою душу бедным сестрам и все силы свои посвятить на то, чтобы отереть всякую слезу их сиротства и одиночества.

В это время ушел со службы мой доброжелатель и благодетель Дивеев. На его место был назначен другой управляющий, совершенная противоположность предшественнику - безбожник и бич для бедности и низших своих служащих, сидельцев винных лавок. Особенную лютость и бессердечие он проявлял во взыскании штрафов, разорительных для бедных его подчиненных. Меня эта жестокость трогала до глубины сердечной и мало-помалу накопляла в моем сердце сильное негодование против угнетателя. Ко мне он относился, как к исправной части откупной машины, и даже сперва повысил по службе, назначив дистанционным в Лебедянь, но потом перевел в Козлов, из Козлова в Елец, из Ельца в Липецк, не давая мне обосноваться на одном месте. Такая цыганская служба заставила меня жить на две квартиры: сестер я поместил жить в Лебедяни, а сам, как попало, в тех городах, куда меня забрасывала воля управляющего. Такая служба моя продолжалась не очень долго, и вскоре мне пришлось стать свободным гражданином вселенной. А вышло это дело так: у меня был обычай, которого я не оставлял ни на один день - это ходить ежедневно к ранней обедне. Обязанностям служебным это вредить не могло, потому что в контору я от обедни приходил все-таки раньше других. Однако, на

почве моего усердия к церкви Божией и вышло у нас столкновение с управляющим. Неоднократно уже, и при встрече с ним и при малейшей возможности, он с ехидством глумился над церковностью и зло подсмеивался, вышучивая мое усердие к церковным службам. Я долго молчал, но он все не унимался и продолжал меня язвить при малейшем поводе. В конце концов, я вышел из терпения и сказал ему:

- Извините меня: я не знал, что для вас, как для духа злобы, несносны те служащие ваши, которые молятся Богу!

В ответ на это он разразился самым гнусным кощунством и в заключение со злой усмешкой, под которой скрывалась едва сдерживаемая ярость, повышенным тоном сказал:

- Одна дикая глупость - молиться каким-то там святым: как будто нужно их ходатайство, раз Он Всеведущ...

И понес затем такую кощунственную ахинею, что я, тоже повысив голос, крикнул ему:

- Уверяю вас, что вы без того не умрете, чтобы, не находя себе ни в чем помощи, не призвать на помощь себе святых. Только будете ли услышаны, за то не ручаюсь. Смирит Господь ваше безумие - помяните мое слово!

На этом первое наше столкновение и кончилось: управляющий сдержал себя, и я не стал больше говорить ничего, но злое семя личной ко мне вражды уже зрело в душе моего начальника.

Прошло с этого столкновения довольно много времени. По какому-то делу у меня было объяснение с управляющим, и он, без всякой с моей стороны вины, напал на меня, и начал делать мне выговор и тут же попрекать монашеством, называя его ханжеством и опять стал всячески кощунствовать над православной верой. Я не выдержал и вспылил:

- Выше это ваших понятий, - сказал я управляющему, - ваше дело - спиртуозы, о них и говорите!

Он до того на это замечание мое рассердился, что обругал меня площадными словами и даже осмелился коснуться праха моей матери. Я свету, что называется, не взвидел...

- Вы можете взыскивать с меня, - закричал я, на него, - но чести моей матери я не позволю вам касаться... иначе я тебя, безумца, по своему заставлю замолчать...

Я готов был убить его, чем попадя... Эта выходка моя настолько его сконфузила, что он только и нашелся сказать:

- Ах, какой в тебе недостаток для твоего стремления!

- И это дело не ваше, - ответил я ему, - сдерживайте лучше свою безумную заносчивость, а цензором моей нравственности я вам быть не позволю.

- Так, так! - сказал он мне. - Ну, в таком случае, вы не можете служить со мною.

- Очень рад перестать быть свидетелем вашего бесчеловечия! - ответил я.

На том кончилась моя служба по откупным делам.

XXXIX

На службе по откупу я успел сделать некоторые сбережения и потому без опасения мог смотреть в будущее свое и моих сирот. Наняли мы приличную квартиру, обзавелись прислугой. Приличная обстановка уже была, и зажили мы с сестрами, как нельзя лучше. Капиталец, хоть и небольшой, которым я мог располагать, давал нам возможность даже иметь некоторое изобилие в домашнем обиходе. Я весь отдался тихой семейной жизни с дорогими моему сердцу сестрами.

От брата известий не было.

Но недолго продолжалось мое беспечальное житие: по доверчивости своей я раздал значительную часть денег взаймы, доверие мое было обмануто, и я лишился большей части своего капитала. Чтобы не тревожить сестер, я утаил от них свою скорбь, но, видя, как быстро стал истощаться мой кошелек, начал предаваться тайному унынию.

Пробовал развлекаться чтением лучших наших светских писателей, но они на меня нагоняли своим безбожием еще большую тоску, еще большее уныние. В эти грустные для меня часы уходил я в сад и предавался отраде одиночества. Нет ничего лучше одиночества, когда скорбит душа, болит и тоскует сердце!.. И стал я ясно слышать голоса, сперва негромкие, как бы издалека, а затем эти голоса

усилились и дошли до дикого вопля...

- Ну что, монах! - кричали мне эти голоса. - Где ж твоего Бога для тебя помощь?. Ну-ка, призови Его - что, Он послушает тебя? Ха-ха-ха! - раздавался зловещий, страшный хохот. - Ха-ха-ха! Оставь-ка лучше свои помыслы о монашестве - живи, как живут в мире!.. Не быть тебе в монастыре! Да и не трудись призывать небо себе на помощь - оно тебя не услышит!

Боже мой! Что за ужас были эти голоса!.. И чем дальше, тем это становилось все хуже, все страшнее. Дошло, наконец, до того, что я не только стал слышать эти леденящие душу ужасом голоса, но и стал видеть в отдалении стоящую страшную толпу, с хохотом мне кричащую:

- Монах, монах! Где ж Бог твой? Где сила Его?.. Ну-ка, ну-ка, призови, попробуй - призови!.. Нет, ты наш, наш ты, и все мечты твои, и все твои надежды - все наше, все наше!..

Нельзя словами передать того мучительного ужаса, который наводили на все мое существо этот адский хохот, эти страшные дикие вопли... Я стал бояться выходить один в сад, стал избегать одиночества. Подозрительно поглядывали на меня близкие мои, заметив во мне странную какую-то растерянную испуганность: уж не начинается ли у меня горячка, думали они; но я был совершенно здоров и физически, и умственно - был такой же, как всегда, каков я и теперь, когда пишу эти строки. Но стоило мне, немного успокоившись, выйти одному в сад, как опять неслись мне навстречу крики иногда зримой, чаше же незримой толпы:

- Монах, монах! Ха-ха-ха, монах! Ну, что ж, где помощь, где сила Бога твоего?..

Однажды те же слова стал мне с дерева выкрикивать ворон, а потом уже и целые стаи воронов подхватывали этот демонский припев, каркая и кружась над моей головой:

- Где помощь Бога твоего? Монах, монах! Ха-ха-ха!

В конце концов я привык к этому диавольскому издевательству и спасался от него коленопреклоненной усердной молитвой. И не знаю - почему, но в сердце моем росла и крепла уверенность в близкой помощи свыше и скором освобождении меня от мира. Я верил словам старца Макария.

Со дня кончины отца шел уже третий год, а с выхода из Плошанской пустыни -

седьмой. Какой-то тайный во мне голос вещал, и я слышал его своим внутренним слухом:

- Ты тогда получишь увольнение от мира, когда у тебя на родине будет городским головой Рожков!

Чудно это было, а я все-таки этому голосу верил.

XL

Последние крохи моего достояния доедали мы с сестрами, которым мне пришлось-таки открыть обман, лишивший меня капитала. Не раз они упрекали меня в беспечности и говорили:

- Что же ты, брат, не заботишься о должности? На что ты надеешься? Ведь дойдешь до того, что будешь стыдиться самого себя.

Я отвечал уверенно:

- Ныне год моего освобождения, и я непременно уйду от вас в обитель.

В Балашове в это время уже был городским головой Рожков. Сестры не знали моих надежд, грустно улыбались, говоря:

- Смотри, брат, не потужи после! Хорошо, если осуществятся твои надежды; а если - нет? Что тогда делать будешь?

Бывало и так, что меня вдруг оставляли надежды, и я мысленно повторял вслед за сестрами:

- И впрямь, что же я тогда делать буду?

И в эти минуты уходил я к себе, падал безмолвно лицом на землю и рыдал, как ребенок, измученным своим сердцем прося помощи свыше.

В один из таких дней, когда тяжелая тоска уныния налегла своею тяжестью на мое сердце, я заснул на молитве и увидел сон: будто я в каком-то городе, посреди площади. И все жители этого города в страшной тревоге бегали толпами из стороны в сторону: одни бегут сюда, другие туда, как на пожаре. И чувствую я, что и городу этому, и народу должно погибнуть. И в это самое время я вижу вверху, на облаках, Преблагословенную Деву Матерь Бога моего с Предвечным

Младенцем на руках. На главе Ее была корона, у Богомладенца в ручках - скипетр, а под ногами у Них - луна. И по обе стороны Пречистой, но ниже Ее на облаках, увидел я двух иноков в мантиях, у одного из них мантия была вроде бы архиерейская. Под иноками была также облачка и на нем надпись: Фео... Фео... И очень мне хотелось прочитать во сне эту надпись до конца и узнать имена тех двух иноков. Но, сколько я ни силился, более разобрать не мог, как: Фео... Фео... Когда же я спросил во сне, кто эти иноки и что за надпись, то мне было кем-то отвечено:

- Не усиливайся прочесть, - не узнаешь - это тайна!

И узнал я только своим сердцем, что с появлением этого дивного видения и город, и я спасены...

На этом я проснулся и долго удивлялся виденному, но вера в скорое мое избавление окрепла после этого видения, и речи сестер уже не производили на меня прежнего действия.

XLI

Уже немного, совсем немного оставалось в моем кошельке денег: призрак злой нищеты все чаще и чаще вставал перед моими испуганными глазами. На службу по откупу после моей истории с управляющим поступить было трудно, а где было искать другую? Да, кроме того, я и помыслить не мог опять закабалить себя миру, не отказавшись совсем от своей веры: к чему же тогда прозорливость старца, к чему мои предчувствия, знамения, видения? К чему все, чем все время питалась и была жива душа моя? Отказаться от веры значило для меня то же, что решиться на самоубийство: ведь я всем своим существом знал, что такое живая и животворящая вера: для меня она была не богословским умствованием, а всей жизнью моей души... Я терпеливо ждал часа воли Божией, но, признаюсь, становилось подчас жутко. Что-то будет с бедными сестрами?

Истинно и непреложно Божие Слово - "сила Божия в немощи совершается": от брата Ивана из Темир-Хан-Шуры пришло письмо, в котором он извещал, что он приедет ко мне в Лебедянь вместе со своим хозяином, чтобы я никуда до его приезда не отлучался. Брат писал: "Едем мы с хозяином и приказчиками в Москву и на Нижегородскую ярмарку и по пути заедем в Лебедянь для свидания с тобою и сестрами..."

Это было в 1860 году. Мне шел тридцать третий год, а брату Ивану - двадцать

пятый. В последних числах мая брат и его попутчики прибыли к нам в Лебедянь. Более семи лет не видались мы с братом, и была радостна наша встреча, но я еще не знал, что она готовит, а то возрадовался бы еще более.

Приготовлен был сестрами обильный обед. Уставили они стол винами и закусками, как и подобает по русскому обычаю, для встречи желанных и долгожданных гостей. Рады были брату, но хотелось еще и поприветить именитого гостя, чуть не миллионщика, братниного хозяина... И вот, когда мы сели за стол и уже обедали, я вспомнил наших стариков родителей и сказал:

- Ах, брат! Живы были бы наши родители и видели бы они нас всех собравшихся вместе: то-то бы они нас благословили, то-то бы возрадовались!

При этих словах сестры расплакались, заплакал и я. Глядя на нас, заплакали две невестки нашего домохозяина, очень любившие моих сестер и приглашенные нами к обеду. Смотрю, и хозяин брата тоже до слез умилился... Брат налил бокал и хотел подчивать приезжих гостей, но его остановил хозяин:

- Подожди, Иван Афанасьевич, - сказал он, отирая слезы, - я недаром ехал сюда знакомиться с твоими родными: хотелось мне лично убедиться, что правду ты рассказывал о твоей семье. Теперь я все видел, все знаю. И вот, пришло время сказать тебе и всем твоим, что я решаюсь выдать за тебя единственную дочь мою... Возьмите, Федор Афанасьевич, образ и благословите братца вашего жениться на моей дочери, Марье Васильевне.

Все встали. Я снял с своей груди образок - материнское благословенье, брат положил три поклона, и благословил я его словами:

- Да будет над тобой и над вами благословенье Божие!

И что тут было, Боже милостивый!.. Дух захватило от нахлынувшего на всех нас потока умиленных, благодарных слез к Богу и Преблагословенной. В одну душу слились все души наши, и мы только могли целоваться друг с другом и плакать. Плакали и целовались, целовались и плакали... А в сердце моем точно Ангелы пели: се, год избавления твоего! Се, год оправдания веры твоей и надежды твоей!.. О, незабвенное время!..

После обеда будущий тесть Ивана попросил меня достать лошадей, и мы втроем, с ним и с братом, поехали в Лебедянский Троицкий монастырь: ему хотелось видеть место, где я жил и молился. Увидел он и сад монастырский, и сруб;

показал я все места, где плакал и молился, прося Господа, чтобы Он устроил жизнь мою и сотворил меня Своим иноком. Была у меня в срубе спрятана крышка гробовая, свидетельница моих ночных молитвенных воздыханий, и ту я нашел и показал своим спутникам. С видимым сочувствием смотрел на все Василий Дорофеевич (так звали миллионщика), обо всем расспрашивал и, когда мы ехали обратно из монастыря домой, сказал:

- Ну, вот, Федор Афанасьевич, мы возьмем теперь к себе в Шуру сестрицу, Пелагию Афанасьевну, а ты, во исполнение данного обета, иди в обитель и молись за всех нас Богу.

С этою радостною для меня вестью мы и вернулись домой, где нас ждали с чаем. Выпили мы тут на радостях, закусили, и в тот же вечер мой, Богом ниспосланный благодетель и будущий родственник выехал из Лебедяни с братом и со всеми приказчиками, наказав мне дня через три привезти в Москву сестру Поленьку.

О, глубина премудрости и милосердия Божия!..

XLII

Быстро стала теперь устраиваться моя судьба: через три дня я выехал из Лебедяни с сестрами Екатериной и Поленькой в Москву, а из Москвы Поленьку с транспортом товаров и нашей служанкой вскоре отправили в Шуру. Меня Василий Дорофеевич щедро наделил деньгами, сам с братом уехали на Нижегородскую ярмарку, а мы с Екатериной возвратились в Лебедянь. Никаких препятствий для моего поступления в монастырь больше не было. Старшая сестра решила без меня не оставаться в миру, пожелав поступить в Троекуровскую обитель, что вскоре и исполнила*.

---

* Позднее скончалась схимонахиней в Шамординской Казанско-Амвросиевой женской пустыни.

Теперь мне нужно было ехать в Балашов - хлопотать об увольнении из общества. Но и тут все устроилось, сверх всякого ожидания, необыкновенно легко и просто: увольнение пожаловало из Балашова, не дожидаясь моих хлопот. Пока я собирался ехать, мне принесли из полиции объявление. Пришел я в полицейское управление, а мне и подают увольнительное свидетельство для поступления в

иноческое звание. Прислал его мой дядя по матери, Петр Андреевич Скляров, которому я успел написать о своей нужде перед отъездом с Поленькой в Москву. Видно, нет запоров и стен, которые могли бы устоять в час исполнения воли Божией: не устояла перед ней и канцелярская волокита... Оставалось мне теперь решить выбор монастыря, в который поступить, а затем уж всецело предать себя воле Божией, а свою волю отсечь до самой гробовой крышки. Но куда мне идти? Казалось бы, что лучше в Оптину или Площанскую пустынь, где меня знали и где я всех знал и все любил? Но - нет: что-то меня отвлекало от этих великих кораблей монашеского спасения, и мысль моя обращалась все больше в сторону Лебедянского Троицкого монастыря: манил меня его уединенный старый сад с заброшенным срубом... Усердно я молился Богу, чтобы Он Сам мне указал путь. И увидел сон: сад, в саду келья, а в келье стоит на коленях и молится инок с седой окладистой продолговатой бородой. Я спросил кого-то во сне: кто это? И мне было отвечено: это ты!.. Тут я проснулся в недоумении: где этот сад и где эта келья? В этом неведении я пребывал до поступления в монастырь, когда наяву увидел и сад, и келью... Но о том я расскажу в свое время.

В селе Троекурове жил и подвизался великий старец Илларион Троекуровский. Слава о его богоугодной жизни, молитвенных подвигах и прозорливости была достоянием не одного только Тамбовского края, но и далеко за его пределами. К нему некогда обращался за советом в положении, подобном моему, отец Амвросий Оптинский, когда еще был учителем Липецкого духовного училища, и от него он получил указание той обители, где впоследствии и было прославлено имя Божие в житии этого великого Оптинского старца. "Ступай в Оптину, - сказал отец Илларион отцу Амвросию, в то время еще Александру Михайловичу Гренкову, - и будешь в Оптиной опытен"... К этому-то Божьему угоднику я и решил обратиться за подобным же советом, положив в своем сердце от него уже не уклоняться, что бы мне ни представилось потом на пути моем...

- Бог благословит: ступай в Лебедянский монастырь! - сказал затворник Илларион.

Во мне тотчас же заговорил дух противоречия:

- Зачем же, батюшка, мне туда, когда я уже жил в Оптиной?

Минуты три-четыре помолчал старец и опять повторил:

- Поступи сперва в Свято-Троицкий Лебедянский, а тогда и в Оптинскую

пустынь.

Я продолжал недоумевать, а старец три или четыре раза повторил:

- Да! Это так: сперва - в Троицкий Лебедянский, а тогда уже в Оптину пустынь.

Тут я вспомнил свое видение: старца, молящегося в садовой келье! Ясно мне представился сруб мой в монастырском саду и первое там пребывание... Короче сказать, я узнал место - и решился последовать совету старца Иллариона.

Так началась вторая половина моей жизни.

XLIII

Слава и благодарение благому Господу: слова и предсказания блаженной памяти старца моего, иеросхимонаха Макария, сбылись в полном смысле слова, и я, за святыми его молитвами, поступил, наконец, в монастырь в то самое время, когда, казалось, утрачена была всякая надежда выйти мне из мира. Но "невозможное от человек, возможно от Бога", и, воистину, - сверх чаяния открылся мне путь к иночеству, как некогда и писал мне старец Макарий.

Передал я сестру свою, Поленьку, брату в Москве, и она, как я уже сообщал, отправилась в Темир-Хан-Шуру: сестре Екатерине устроил место в Троекуровской женской обшине и сам с двадцать седьмого на двадцать восьмого июля 1860 года поступил в Свято-Троицкий Лебедянский монастырь. Настоятельствовал там в то время казначей, он же духовник мой, отец Иоасаф, который, склонившись на мои просьбы, обусловил мое поступление в монастырь торжественным перед святой иконой обещанием никогда не посылать меня в мир, особенно же с певчими "в ход" с иконой Пресвятой Троицы. Кто знает тяжесть соблазнов для новоначальных иноков этого послушания, тот поймет, почему, при всем ревностном моем желании служить Богу в иноческом звании, я на первых же порах своего поступления в монастырь решился отказаться от одного из монастырских послушаний.

Торжественно обещал мне настоятельствуюший исполнить мою просьбу, но... впоследствии изменил своему слову...

Угодно было Господу в недоведомых путях Своих моего спасения подвергнуть в этом монастыре пыл мой и ревность к духовному подвигу тяжким испытаниям и через горнило величайших искушений провести меня до той святой и тихой

пристани*, возлюбленной духу, где я пишу теперь, благодарно вспоминая все, казавшееся мне злом монашеского моего прошлого.

_____

* Скит Оптиной пустыни.

_____

"За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас" (Рим. 8, 36, 37).

"Кто познан ум Господень? Или кто был советником Ему?.."

Когда я, направляясь в обитель, был почти у цели, заблаговестили в большой колокол ко всенощному бдению, а подходил к святым воротам, - зазвонили во все, и со слезой величайшей признательности к Виновнику моего освобождения, я вступил, наконец, в святую обитель с тем, чтобы уже никогда более не возвращаться в мир.

Уже на первых порах при вступлении в монастырь, мне пришлось искать благоволения того мира, от которого я так хотел убежать: об отведении мне кельи пришлось просить не настоятеля, а... вдовствующую лебедянскую купчиху Ф... ю С... у, дом которой был в близких отношениях с настоятелем, и просьбы вдовы имели большое влияние на его волю. Келья была мне отведена наверху корпуса большой келейной залы.

Послушание мне было благословлено ко свечному ящику, на котором я пробыл три года.

Недолго, однако, наслаждался я миром и спокойствием в стенах святой обители: исконный враг рода человеческого вскоре омрачил дни мои печалью. Сказано же: "Чадо, аще приступаеши работати Господеви, уготови душу твою во искушение".

Не прошло и трех месяцев со дня вступления моего в монастырь, как постигло меня уже второе по счету искушение. (Первым я считаю то унижение, которому пришлось подвергнуться, прося отвода мне кельи у мирянки).

Стояли дни Покровской ярмарки. В монастыре побывало много именитого и благочестивого купечества, и свечная выручка быстро достигла более двухсот

рублей серебром. Стоял я у ранней Литургии, и, наблюдая, как полнится выручка - свечная и кошельковая, подумал я: дай-ка я деньги после обедни перенесу в Троицкую церковь - двери там старинные, прочные, железные со внутренним замком; да еще и другим прочным замком запираются - с накладной старинной цепью. Здесь же, и двери плохи и замок плохой, слабый - как бы не ввести кого во искушение грехом святотатства. Задумано - сделано: во время вечерни, незаметно для других, перенес я всю выручку в Троицкую церковь, оставив в Покровской только для сдачи рублей двадцать пять.

На этот раз предчувствие меня не обмануло: на другой день, во время утрени, пошел пономарь Николай в Покровскую церковь для приготовления необходимого к служению ранней Литургии и, к ужасу своему, увидел в притворе храма, что входные двери в церковь растворены, замок сбит и валяется на полу, а свечной ящик взломан, свечи повыкиданы и разбросаны, равно как и медные деньги. Побежал перепуганный пономарь к настоятелю, тот послал гонца за мной, и мы втроем смогли убедиться лишь в том, что были в святом храме грабители, которые бесследно скрылись. Я сказал настоятелю, что выручки было более двухсот рублей, и он, во избежание следствия, строго-настрого запретил и мне, и пономарю разглашать о случившемся. Очень обрадовался настоятель, узнав, что я догадался припрятать выручку в верное место и благодарил меня за сметливость.

В обители в это время в числе братии был один иеромонах из тамбовских дворян, отец Петр, к которому я питал особое душевное уважение и был с ним в отношениях столь близких, что, кроме него, не имел собеседников, и открывал ему свою душу, как бы старцу. Знал я его с той поры, когда впервые подвизался в монастырском саду, в срубе. Часто мы с ним, бывало, скорбели и вздыхали о беспорядках, допущенных слабым управлением, и сокрушались о том неимоверном зле, какое вносят в монастыри вдовствующее духовенство и семинаристы, исключенные из семинарий за неуспешность и безнравственное поведение. А таких в обители нашей хватало - едва ли не большая часть всей братии.

Вот этому-то иеромонаху я и имел неосторожность и слабость в дружественной, с глазу на глаз келейной беседе рассказать о случившемся святотатстве. Мог ли я думать, что в его сердце уже засеяны были против меня врагом нашего спасения семена зависти, которая со временем не только в нем, но и во многих из моей лебедянской собратий, разрослась до степени адской злобы? Между тем семена злобной зависти в сердце иеромонаха Петра ко времени моей откровенной с ним

беседы дали, как потом оказалось, и спелый злой плод. И вышло-то это все из-за того, что он был подвержен слабости к "лекарственному", попросту говоря, - к водке, и ему в обличение выставляли меня, как пример достойный подражания. Угнетало его это тем более, что ктитором он сам был более десяти лет.

Что он наговорил про меня настоятелю после нашей беседы, то осталось неизвестным, но мне пришлось перенести тяжкое испытание. Упоминаю о случившемся не для того, чтобы обличать и бичевать в других пороки, но чтобы показать, как через невнимательных к своему спасению и к жизни своей души, слабых людей враг-диавол строит свои ковы* против всех хотящих жати свое спасение.

---

* Ковы (уст.): злоумышления.

Наступила поздняя ночь. Я уже был в своей келье. Вдруг ко мне не вошел, - ворвался сам настоятель в нетрезвом, прости Господи, виде. Я только что заснул, как услышал его грозный оклик и страшный стук в дверь моей кельи. Перепуганный, не чаявший себе ниоткуда никакой беды, я вскочил с кровати и отворил дверь. Не успел настоятель и ноги перенести через порог, как исступленным голосом закричал на меня:

- Вон, мошенник! Вон, сейчас же из обители, чтобы и духу твоего здесь не было!.. Мошен-ник э-та-кий!!..

И понес он тут на меня такую брань, что я от испуга и от неожиданности не знал, что делать, и что говорить. Трясясь от испуга, я со слезами кланялся настоятелю в ноги, прося его сказать мне причину гнева, но он и слышать ничего не хотел и только кричал:

- Вон! - Тебе говорят, мошенник! Вон, сейчас же из кельи вон!.. Еще расспрашивать стал!.. Бери все свое и ступай, куда хочешь: ты нам не нужен... Да ты и не можешь жить в обители!..

Валяясь у него в ногах и обливая пол слезами, я продолжал умолять его открыть мне причину, за что он так на меня гневается и, начиная догадываться, что причина в моей откровенности с отцом Петром, стал уверять настоятеля, что я никому, ни про что не рассказывал и был только у отца Петра, но в ответ на мои

заверения он все продолжал кричать одно: "Вон! Ты не способен к монастырской жизни".

Можете себе представить мое положение? Куда мне было идти? На дворе - ночь, денег - ни гроша, да и от людей стыдно... Но делать было нечего: я начал, все, продолжая стоять на коленях, умолять его, чтобы он дозволил мне пробыть в монастыре хотя бы до утрени... На это он согласился, но с тем условием, чтобы, как ударят в колокол к заутрени, меня уже не было в монастыре. С этим приказом настоятель вышел из кельи, продолжая и за дверью поносить меня всяческими унизительными словами.

Когда он ушел, остался я один в своей келье, слезы затмили мне глаза, и я упал беспомощно перед иконой Божией Матери и долго безмолвно рыдал перед Нею. Выплакал я перед Преблагословенной скорбь мою и затем помолился Ей, чтобы Она, Всесильная, отвела от меня козни вражьи и смягчила настоятелево сердце. Всю ночь я так промолился, и - дивны дела Твоя, Господи! - еще не успели высохнуть мои слезы, пред самой утреней на рассвете, размышляя о том, что мне предпринять, слышу я, что опять кто-то идет ко мне. Как голубь забилось мое сердце, грудь стеснил страх: ну, думаю, идут меня выгонять. Я весь обратился в слух. Постучали. Безмолвно отворил я дверь, и коленки мои задрожали, когда я увидал вошедшего настоятеля... Велико ж было мое удивление, когда, вместо брани и грозного окрика, я услыхал от него вопрос:

- А ты, небось, всю ночь проскорбел?

- Как же, батюшка, было мне не скорбеть! - ответил я и при этих словах опять горько заплакал и упал ему в ноги, прося простить меня.

- Нет, ты меня прости, - сказал он и упал мне в ноги, - я узнал теперь, что ты не виноват - это меня смутили, оболгав тебя. Не бойся! Я нарочно пришел пораньше, чтобы ты прекратил сборы. Пожалуйста, прости - я невинно оскорбил тебя, но что делать - такое уж вышло искушение!

Но мне было не до претензий - так обрадовала меня милость Божия. Я целовал руки настоятелю и мог только повторять:

- Бог вам простит, меня простите!

Расстались мы во взаимном мире. Так и не удались врагу его хитросплетенные козни.

XLIV

Неудача в одном не остановила врага моего и всего человеческого рода действовать против меня на ином поприще, и делать мне всякая пакости, целью которых была все одна излюбленная им цель - выгнать новоначального монаха из обители во что бы то ни стало. Но приставленный от Бога к каждой христианской душе ее Ангел хранитель бодрствовал и отводил наветы вражьи: то собственными моими предчувствиями и молитвами, как то было в вышеописанном случае, то через добрых людей, которые Божией милостью встречались на пути моем, и все вражьи козни обращались ему же в стыд и посрамление. Конечно, сердце мое от этого страдало немало, пока не обращал Господь плача моего в радость; но такова уж от Бога нам предопределенная на земле невидимая брань, которую необходимо испытать каждой душе христианской, и тем более монашеской, особливо предназначенной воинствовать и побеждать недремлющего искусителя.

Моя пятнадцатилетняя монашеская жизнь в монастыре духовно расстроенном - великий показатель этой непрестанной брани, в которой падали мои собратия, падал и я; восставал я, восставали и они. Грехи наши и падения становились видимы миру, но наше покаяние было доведомо и зримо только одному Господу Богу. Не в осуждение, - помни, читатель, - вскормившей меня обители пишу я эти строки, а как правдивый описатель истинных событий моей жизни. Не блазнись тем, что будет изображено в этой части летописи моего недостойного монашества, а старайся назидаться для душевной твоей пользы и для пользы того великого призвания, которое именуется иночеством и которое может подниматься при добром управлении до высот Оптинских, едва достижимых человеческому духу, но - и падать под недостойным руководительством до низин Лебедянских. Однако помни, дорогой мой читатель, что и на подобных низинах есть спасающиеся и мир спасающие; тот спасающие мир, который их презирает и гонит... Говорю я это попутно, а теперь возвращаюсь к повествованию.

После тяжелой истории с настоятелем, так благополучно для меня окончившейся, я воспользовался мирным устроением его ко мне сердца и умолил его испросить у епархиального архиерея разрешение мне жить в саду, в том срубе, в котором я некогда и в мере своих сил подвизался. Намерение мое владыке было доложено, и он его благословил привести в исполнение. Но об этой перемене в моей жизни надобно рассказать подробней - не вдруг все

сделалось.

Тяжело мне было с тайными стремлениями души моей к уединению жить на молве монастырской, среди братии, духовно неблагоустроенной... И вспомнилось мое видение: когда я самого себя в образе седобородого старца видел молящимся в срубе монастырского сада. Помолился я усердно Господу Богу и по молитве стал дожидаться прихода настоятеля в сад. Когда вошел в сад настоятель, я сидел в садовой беседке.

- Что сидишь? - был его вопрос ко мне.

- Простите, батюшка, Господа ради, - отвечал ему я, - я сидел и вас дожидался, желая вам открыть мою душу и желание.

- Говори, - кивнул он, усаживаясь на доске, положенной на кирпичики, что заменяла таким образом садовую скамейку. - Говори, - повторил настоятель, - а я послушаю!

Я высказал свое желание поселиться в саду для безмолвной жизни и просил на это его благословения. Настоятель выслушал меня благодушно.

- С моей стороны, - сказал он, - не будет препятствий - переходи, живи! Но вот беда в чем: это ныне воспрещено, и без разрешения высшего епархиального начальства я не могу тебе благословить строить келью. Переходи, вон, в тот сруб да живи в нем лето вроде бы садовником, а зимой - опять в обитель.

Я поблагодарил его, но сказал, что цель моя не та, а что я хотел бы навсегда поселиться в саду - в собственной келье, которую и выстроил бы за свой счет.

- Только, батюшка, - продолжал я, - вестимо, что такое дело нельзя сделать без архиерейского разрешения хотя бы потому, что нынче вы ко мне благоволите, а перейду я сюда и выстрою келью, а враг возьмет да изменит ваше сердечное ко мне отношение, и что же тогда будет? Вы скажете: вон!.. Нет, батюшка, это уж надо будет сделать фундаментально, а пока что я, по вашему благословенью, буду временно жить в срубе. Вот скоро приедет в Сезенево владыка для освящения новой теплой церкви, там вы и скажите про меня архиерею и попросите его благословения мне строиться и поселиться на безмолвие.

- Оно бы хорошо было, - отвечал настоятель, - да я ведь еще не игумен. Бог знает: нынче - я, а завтра - другой.

- Верьте, батюшка, - сказал я, - если Господу угодно будет, чтобы мне здесь поселиться, то владыка сделает вас игуменом.

Сказал я это спроста, но слова мои пришлись настоятелю по сердцу.

- О, тогда бы я для тебя исхлопотал, - обрадовался он, - а теперь молись и молчи пока!

Вскоре владыка прибыл в Сезенево для освящения храма. Приглашен был туда и настоятель. Перед отъездом он зашел ко мне в келью и сказал:

- Ну, молись! Еду, а ты проси Бога, чтобы Он расположил сердце владыки и предоставил мне случай и время сказать о твоем желании и просьбе.

Кланяясь настоятелю в ноги, я сказал опять:

- Если будет угодно Богу мое желание, то и вы станете игуменом.

Не буду говорить о своих чувствах, пока я ожидал возвращения настоятеля из Сезенева, не выразить мне и той радости, какую я испытал, когда отец настоятель, вернувшись в монастырь и направляясь по дорожке сада ко мне еще издали крикнул:

- Встречай игумена!

Я упал ему в ноги и с трепетом сердечным спросил:

- Ну, а мне что благословил владыка?

- Благодари Бога: владыка с радостью благословил тебе строиться, и я благословляю. Бог благословит: стройся и живи хорошенько, да о нас молись!

Так исполнилось мое заветное желание. Оставалось переделать сруб в жилую келью, но тут-то и стала на моем пути самая для меня непреодолимая преграда, которой я не мог предвидеть: сруб-то был, а денег на перестройку в одночасье не стало - кто-то украл из кельи, пока я был в церкви. И попал я в положение и глупое, и горькое: "Сулила синица сжечь море, а море не зажгла". Что тут было делать?

Бродил я раз по дорожкам в саду, думал свою горькую думу и горько плакал. Вдруг слышу, что кто-то идет следом. Наскоро утер я слезы, обернулся и увидал известного Лебедянского купца Николая Васильевича Чурилина. Это был

хлебный торговец, у которого, кроме того, был винный склад и трактирное заведение. Поздоровался со мной Чурилин, взглянул пристально да и говорит:

- Что-й то с вами, Федор Афанасьевич? Вы - никак плачете?

Я, было, замялся, но вдруг как-то сразу мое сердце к нему расположилось, и я поведал купцу свое горе:

- О том плачу, что благословлено мне - по моему желанию - поселиться в этом саду, в этом самом срубе жить караульщиком, а средств у меня нет, чтобы этот сруб отделать: нет тут ни печки, ни ставней в окнах - как жить? Вот об этом-то я и плачу.

- Не горюйте, - приободрил меня Чурилин, - заутра придут сюда и плотники, и печники отделают все так, как вам будет угодно, а деньгами мы когда-нибудь сочтемся.

Я был поражен и бросился, было, ему в ноги, но он не допустил меня до земли и повторил:

- Заутра вы на деле увидите исполнение моего обещания: я уже от отца игумена слышал о вашем намерении и о благословении вам владыки на уединенную жизнь...

Дивны дела Твоя, Господи! Утром пришел я в сад, увидел, что уже и кирпичи привезены, и рамы вставлены, и плотники работали с печниками над созданием моего уединения.

И заливался же я благодарными слезами обращенными к Богу и к моему неожиданному благодетелю...

Не прошло и недели с этого события, как однажды, при выходе из храма по окончании ранней Литургии, у меня произошло столкновение с известной уже читателю купчихой Ф...Й С...Й, которую я вынужден был просить о келье при вступлении моем в монастырь. Эта купчиха остановила меня и в резких выражениях строго выговорила за то, что, идя мимо нее по церкви с колокольчиком и выходя из храма, я не только не хочу ей кланяться, но даже и не смотрю на нее. Это была правда, потому что я старался всегда в храме видеть только себя, но не других, и, идя куда-нибудь, держал свои глаза опущенными.

- Как келью просить, - кричала на меня купчиха, - так куда как ласков и

красноречив, а теперь так и знать не хочешь!.. Так я же тебе докажу, кто я! И не токмо в кельях, но и в монастыре-то, брат, тебе места не дадут!

Поразили меня эти слова в самое сердце, и я, что называется, не сморгнув, ответил:

- Да я и так знаю, кто вы: вы - женщина и притом еще, к сожалению, злая. Но грозить один Бог силен, а мы - что? Зловоние во гробе, пища червям и тление: нынче мы живем, а завтра мы - ничто!

Она так и затряслась от злости, но от страшного волнения не нашлась, что мне ответить.

Постоял я за правду и за себя, но это обстоятельство сильно меня беспокоило, так как я хорошо знал, что воля этой женщины рабски будет исполнена настоятелем. А что она отмстит мне непременно, - в этом я был совершенно уверен.

Но Бог судил иначе: вслед за этим столкновением она захворала, и тут я должен, к стыду моему, признаться, что, когда в храме во время Литургии, молились с коленопреклонением о ее выздоровлении, я дерзал, по безумию своему, молиться иначе, прося Господа, чтобы Он призрел на мою молитву и избавил от нее, от скорби и от сетей вражьих - настоятеля и меня - от неизбежных неприятностей. Я не говорю, что молитва моя была услышана, не об этом я говорю, нет, но о безумии моем. Тем не менее она умерла, и, когда оплакивали ее смерть, я радовался в сердце своем, о чем плачу ныне, непрестанно молясь о душе ее и буду молиться, дондеже есмь.

Помилуй, Господи, создание Твое!

XLV

Приблизительно около этого времени со мной произошло и другое, подобное вышеописанному обстоятельство.

Писал мне брат из Темир-Хан-Шуры, чтобы я попросил кого-нибудь из служащих в городском магистрате списать для него новое положение о подаче гильдейских капиталов, а также форму гильдейского свидетельства. Все это брат просил ему выслать как можно скорее, с первой же почтой в Темир-Хан-Шуру. Письмо пришло в какой-то праздник, и в этот день у настоятеля на закуске

собралось много народу, и в том числе - приказные. Желая исполнить просьбу брата, я позвал к себе одного приказного, о котором знал, что он беден, обременен большим семейством: думал я и доброе дело сделать, и брату поскорее угодить. Когда приказный пришел ко мне в келью, я объяснил ему, в чем заключается моя просьба, причем не умолчал и о том, что к нему обращаюсь преимущественно перед другими, зная его бедность и желая дать ему заработок.

- Нате-ка вам пять рублей, но, смотрите, сделайте мне то, о чем прошу, с первой почтой и тотчас отправьте бумаги моему брату по известному вам адресу.

Пять рублей по тому времени были большие деньги, на которые могло целое семейство прокормиться не менее месяца, и я знал, что за услугу переплачивал ровно втрое, принимая во внимание бедность приказного да, отчасти, и спешность поручения.

Благодарности приказного не было конца: без всякого с моей стороны требования, он даже перекрестился на икону Царицы Небесной и поклялся на нее, что верно исполнит мою просьбу.

- Смотрите ж: вы клянетесь Царице Небесной, - заметил я, - но помните, что Бог поруган не бывает. Меня вы можете безнаказанно обмануть, но постарайтесь не подвергать себя Божьему гневу неисполнением клятвы.

Приказный еще более стал уверять в верности своего обещания, и я дал ему еще пятьдесят копеек на водку, по его просьбе, чтобы все остальные деньги он отдал бы, во избежание соблазна, своей жене.

Проходит дня три, его нету. Жду еще день, тоже - ни слуху, ни духу. Посылаю к нему. Приходит...

- Что же вы?

- Да, что, - отвечает он, - секретарь просит пять рублей, коли даст списать новое положение.

- Так, что же вы мне об этом не сказали, - говорю я, - я и без него нашел бы где списать.

- Да что? Совестно было к вам явиться: я ведь тогда, шедши от вас, домой-то не попал. Зашел в трактир, приказал подать себе графинчик.,., рюмочка за рюмочкой - меня порядочно-таки забрусило, а тут, как на грех - шасть! - и

секретарь! Ну, вот, - говорю ему, - кстати: у меня есть к вам покорнейшая просьба... и объяснил ему, в чем дело. Так что же, - говорит, - мы все сделаем: вели-ка подать графинчик... Пока мы сидели за водкой, явились шарманки - а у нас в голове-то уже шумело порядочно: запели девицы с шарманками, мы - подпевать, так молодцы натянулись, что и не помним, как нас и по домам-то развезли... Все прокутили, что было...

- А жена-то ваша, - перебил я его, - что в то время с детьми делала, когда вы веселились в трактире?

- Что делать-то, - отвечал он, - конечно, плакала!

- Ну это, - сказал я, - дело ваше, но деньги-то были даны не на пьянство, а им на хлеб... Ну, в сторону это... А что же вы мне выписку-то?

- Да где ж, - говорит, - я ее вам возьму? Секретарь без денег не дает списать...

И ведь говорит-то человек, точно сладкий изюм ест... Представьте себе мое положение: почта на Дворе, как говорится, а отсылать нечего, и деньги пропали... Виновник же моих бедствий между тем, точно сух из воды вылез, и, как ни в чем не бывало, говорит:

- Вы уж другому-то никому, пожалуйста, не поручайте дела: пожалуйте мне еще хоть два целковых, и я вам к вечеру принесу все, - завтра вы еще успеете подать на почту... Вот, смотрите: клянусь я вам на икону Царицы Небесной - будь я, анафема, трижды проклят и притом, если не исполню своей клятвы, то дай мне, Господи, и трех дней не прожить и дай мне. Царица Небесная, и помереть без покаяния!.. Ну, слышите, как я вас заверяю? И после того вы мне еще не верите?

- Да ведь вы меня один раз уж и, тоже с клятвой, бессовестно обманули?

- Что делать? Виноват - простите! Но хоть дозвольте мне оправдать себя перед вами!.

Хоть и скорбно мне было, и не оставалось более доверия к этому человеку, я дал ему последние свои три целковых (рубль он еще у меня допросил) и сам остался без копейки. Времени оставалось у меня в обрез, а после таких страшных клятв у меня теплилась, хоть слабая, а все-таки надежда, что этот человек, быть может, на этот раз меня не обманет.

- Трех дней после обмана не дай мне, Господи, прожить!

С этими словами ушел от меня приказный, забрав последние мои деньги и обещая к вечеру исполнить поручение.

Пришел вечер - его нету. Пришло и утро. Почта уже ушла.

На другой день встречаемся - должник мой выходит от отца игумена.

- Что же вы? Где же ваши клятвы?

Он даже и шапки не снял и с насмешкой мне ответил:

- А то как же вас, дураков, надувают!

- А уверение ваше и клятвы перед Царицей Небесной? Неужели и это для вас ничего не значит?.. Не пройдет вам это даром: верьте мне - вас Пресвятая Троица накажет, потому что ложь ваша есть хула на Святого Духа.

Он зло засмеялся и сказал:

- Так что ж? Пусть себе наказывает на здоровье!

Слыша столь небоязненную дерзость, я содрогнулся... Он шел рядом и дерзко, вызывающе смеялся.

- Много мне Дух твой Святой сделает?!.. Этак бы давно все перемерли! - глумился богохульник.

Я оставил его, сказав на прощанье:

- Попомните три дня сроку, который вы себе дали, когда клялись перед иконой!

Он в ответ на эти слова еще пуще засмеялся.

Грустно и тяжело было это видеть и слышать: я не предполагал, чтобы люди могли доходить до такой дерзости, до такого безумного богохульства. За себя я его простил, но гневен был мой дух за хулу на святыню.

И что же? Не прошло это ему даром: ровно на третий день пошел он мыться в торговую баню и там скончался скоропостижно.

Звали его Александром Федоровичем. Он служил несколько лет письмоводителем у Лебедянского стряпчего.

После этого поразительного происшествия я, не говоря никому ни слова о моих отношениях с покойным, нанял лошадей и с одной Лебедянской просвирней отправил святую икону, пред которой бедный богохульник клялся, в новоустроенную Илларионовскую Троекуровскую Общину к начальнице матери Арсении и просил чтобы икону эту навсегда поставили в храме.

Икона эта, с Предвечным Младенцем на руках, писана на полотне, змий под ногой Преблагосло-венной, и луна - под Ее ногами.

Зовется икона - Жизнедательница.

XLVI

Неся послушание у свечного ящика и, стало быть, постоянно присутствуя при всех церковных службах, я не мог не видеть, что церковь находится в страшном небрежении: недели по две, а то и по месяцу не выкидывали сору, а около печки и за печку сметали и сбирали всю нечистоту огромными кучами. Особенно велика была "мерзость запустения на месте святе" - в алтарях, откуда сору никогда не выносили, а лишь заметали его за жертвенники, так что в Покровской, например, церкви за жертвенником насбиралось пыли на пол-аршина от пола, так что от всякого мусора истлели и самые покровы жертвенника. Окошки в церквах протирались только тогда, когда их вставляли, и изредка, лишь в алтаре, промывали грязной тряпицей, которая разводила на стеклах точно древние какие-то иероглифы. О пыли на иконостасах и говорить нечего... Очень меня все это тревожило, и я скорбел, наблюдая полное невнимание к подобному бесчинству со стороны власть имущих, которым, казалось, до всего этого и дела-то не было. Пономари же тому были и рады, так как свое послушание исполняли не за святую честь и радость, а будто тяжкое и ненавистное бремя.

Не в осуждение им записываю я это, вспоминая прошлое, а в назидание тем, кто, если будет угодно Богу, прочтет эти строки.

Я стал просить настоятеля, чтобы он благословил меня помогать пономарям. Отец игумен, в то время еще добро ко мне расположенный и даже даривший меня особым вниманием, с любовью дал мне свое благословение, и я с великой радостью и рвением принялся приводить храм в порядок: вытаскал все кучи

пыли и мусора, алтари вымыл, иконостасы обмел и протер сырой тряпочкой; свечи в подсвечниках выправил; начистил самые подсвечники, а некоторые из них упросил игумена отдать слесарю, чтобы тот их починил, а то они были доведены до того, что только с трудом в них можно было вставлять свечи, которые от ослабевших винтиков и вставленные-то качались, как пьяные. Богомольцы уже давно на это роптати, но никому до их ропота не было дела.

- Вот еще, какой завелся святоша, - зашептались пономари и их родственники - некоторые из иеромонахов, - хочет завести новые порядки, выслуживается. Иди-ка, брат, откуда пришел! Видали мы таких-то выскочек - из молодых да хочет быть ранним. Знал бы свой ящик! Любит, видите ли, благолепие и чистоту в храме!.. Зачем тогда сюда пришел? Шел бы в свою Оптину!.. А, знать, там не сладко? Иль прогнали? Здесь хочешь командовать? Нет, брат, не придется!

Сперва шептались, но так, что их шепот ясно доносился до моего слуха, потом уж и громко заговорили, и даже с угрозой. Я молчал и продолжал делать свое дело, как будто брань меня не касалась. Когда мне удалось привести церковь в некоторый порядок я, незаметно для себя, перенес свою деятельность на церковную паперть, изрядно загаженную телячьим и всяким иным пометом: через монастырский двор, по нерадению, был разрешен сквозной путь для всех, кто ни пожелает, и ворота монастырские были всегда открыты, так что на дворе обители все лето гуртом и ватагами паслись и лошади, и коровы, и телята, и свиньи, и овцы, и гуси - вся, словом, хозяйственная живность монастырских соседей, которая не только паслась в монастырской ограде, но прямо-таки, что называется, живмя жила и покоилась днем и ночью во дворе обители. Слободские жители так привыкли к этому беспорядку, что нарочно загоняли в ворота обители свои стада.

И не было до этого никому дела, как не было дела и до того, что в базарные и праздничные дни сотни женщин разгуливали по обители. Скорбела обо всем этом и лучшая часть братии, но что они могли сделать, представляя собой слабое меньшинство, запуганное, забитое, можно сказать, задавленное торжествующим большинством?..

Как бы там ни было, я в меру своих сил, старался не сидеть, сложа руки, чтобы хоть как-нибудь обезвредить сокрушавшее меня зло.

Ропот на меня еще более усиливался.

- Это он для того делает, - рассуждали между собою враги моего усердия, -

чтобы люди видели и говорили: вот, дескать, раб Божий!.. Напрасны, брат, труды твои, - говорили мне прямо в глаза, - ведь это - тщеславие!

Находились и другие, те говорили:

- Дай Бог тебе здоровья! Помоги тебе, Господи! Я на все отвечал молчанием и молился Богу, чтобы Он дал мне терпение, а сердца моих недругов просветил светом благоразумия.

Так вел я свою линию и убеждался в том, что Господь видимо меня не оставлял, а те, кто восставал против меня, теряли свое послушание, и их заменяли другими. Были отставлены от своих должностей и злейшие враги мои - пономари: попались на том, что без зазрения совести делили доходы пополам между собой и обителью, говоря попросту, воровали. Попались же они из-за того, что я упросил настоятеля приставить к продаже просфор одного инока, на время устранив от этой обязанности пономарей: просфорная выручка за один месяц с пяти и восьми рублей сразу повысилась на тридцать пять рублей, а расход просфор остался прежний.

И зашипела же на меня тут змеиная вражья злоба:

- У, ябедник!

И стали на меня смотреть, как на язву для обители.

Взгрустнется, бывало подчас, но, благодарение Господу, не случалось того, чтобы в сердце моем оставалась злоба до захода солнца. Я даже нарочно заходил в кельи к тем, кто считал меня своим врагом, и земно просил прошения, если когда-либо позволил себе в момент возмущения своего сердечного высказать горькую для них истину.

Они отвечали:

- Бог простит!

Однако ненависть их ко мне умножалась.

XLVII

Как-то мне понадобилось сделать к самовару трубу. Не смея такой малостью беспокоить игумена, я пригласил к себе в келью слесаря - не брата

монастырского, а мирского, и просил его за мой счет изготовить эту поделку. Он обещал исполнить заказ к следующему дню. Прошло более двух недель; встречаю его в церкви и спрашиваю:

- Что же вы мне трубу-то?

- Простите, - отвечает, - не знаю я, как вам об этом и объяснить: в то время, когда я от вас вышел, меня кликнул к себе отец казначей и спросил, у кого я был. Я сказал. Когда он узнал, зачем вы меня звали, то просил и не только просил, - настрого приказал трубы вам не делать. Пришлось приказание его исполнить, а ослушаться его, сами понимаете, я не посмел.

- Да сказал ли ты казначею, - спросил я, - что я за работу заплачу?

- Как же! - ответил слесарь, - конечно, сказал. Только он к вам, заметно, что-то не благоволит.

Не зная причины такого нерасположения, не чувствуя за собой никакой вины, притом, и не имея с казначеем никаких отношений и даже разговоров, я удивился и пошел к нему в келью объясняться. Отец казначей был дома. Без малейшей тени неудовольствия в голосе я спросил:

- Позвольте, батюшка, узнать, что за причина тому, что вы запретили слесарю делать мне трубу к самовару? Ведь вам известно, что я ее заказал за свой счет?

Отец казначей сконфузился и что-то невнятное стал объяснять в свое оправдание, но по его глазам ясно было видно, что семя ненависти ко мне дало уже большие ростки. Трубу мне сделали, но я еще долго не мог дознаться причины злобы, которая против меня зрела в душе казначея. Очень я скорбел духом, видя такую недоброжелательность.

Однажды во время Литургии приехал к нам в обитель известнейший в городе Лебедяни, благочестивый и ревностный к благолепию храмов и благороднейший из дворян - некто Лука Алексеевич Федотов, более известный в городе по прозвищу "Сибиряк". Пришел он прямо по приезде в храм и стал ставить налепки* и свечи к святым иконам. Ставя свечу в Успенском приделе перед иконой Покрова Божией Матери, он заметил, что на паникадиле, висевшем перед иконой, одна из трех цепочек связана мочальной веревочкой. Это его тронуло до слез. Тут к нему подошел отец игумен, случайно подошел и я - поставить поданные богомольцами свечи. Разговаривая с отцом игуменом, Лука

Алексеевич обратился вдруг ко мне и сказал:

---

* Налепки: малые восковые свечи, налепляемые на большую.

- Отец Федор, что это такое? Вы уж мочалом стали связывать цепи паникадила?

Я почувствовал, что его замечание относится не столько ко мне, сколько к отцу игумену, здесь присутствовавшему, и, признаюсь, втайне радовался. Лука Алексеевич между тем продолжал:

- Ай да ктитор! Вот так молодец - мочалом исхитрился паять!

Я воспользовался столь удобным случаем и поспешил высказать ему про наши беды:

- Вот, то-то и есть: всю вину вы на ктитора возлагаете, а где ему взять? Ишь, вот вы и богаче других, а привезли из экономии своих свечей - а что бы купить их в храме? Поневоле будешь связывать мочалом... Вон, видите, как иконостас-то ветх: чем нас-то укорять, - вы имеете средства, возьмите-ка да обрадуйте нас - возобновите-ка его, и покров Преблагословенной осенит дни жизни вашей и, если не здесь, то за гробом вы получите свою мзду, а Святая Церковь будет за вас вечно молиться словами заамвонной молитвы: "Освяти любящих благолепие дому Твоего".

Видно, во благовремении были сказаны мною эти слова, и не остались они без плода: после Литургии подошел ко мне Лука Алексеевич и сказал:

- Прошу вас, отец Федор, наймите резчика и позолотчика и возобновите Успенский иконостас, а что будет стоить, - беру расходы на себя. Но имейте в виду, что так будет, если вы сами наймете, а если - отец игумен, то пусть сам он и платит.

Предупреждал он неспроста, потому что последние дни бедный отец игумен пребывал в периоде своей роковой болезни и пил почти, что называется, "вмертвую", и было это Луке Алексеевичу хорошо известно.

По слову благодетеля, Успенский иконостас был отделан заново, только и

внимание благотворителя ко мне, недостойному, не прошло даром.

XLVIII

Зашел я однажды вечером в келью отца казначея - попросить для освещения сальных свечей. У казначея в это время были гости - фельдшер градской больницы и один монастырский послушник, известный своим особо безнравственным поведением (впоследствии он был сдан в рекруты). На столе стоял самовар и огромный графин с "очищенной". Получив благословение, я объяснил казначею цель своего прихода...

- А, свечей тебе надобно, свечей?.. Да, свечей!.. Да вот, любезный, позволь-ка тебя спросить: какими это ты правилами руководствуешься, что каждую неделю приобщаешься Святых Тайн? А? Что ты мне на это ответишь?

Это была правда: со дня поступления в обитель и с благословения своего духовного отца, отца игумена, я каждую неделю - в вечерню пятницы, или за утренней в субботу - исповедовался и в субботний же день причащался Святых Тайн, что неуклонно исполняется мною и доселе...

- Иль тебе неизвестно, - продолжал наступать несколько подвыпивший казначей, - что правила Церкви советуют мирянину приобщаться только четыре раза в год? Понимаешь ли ты, любезный, к чему приступаешь? А?.. Ведь, это Таинство страшное - как же ты дозволяешь себе приступать так часто? А? Ты не имеешь в себе таких и добродетелей, чтобы быть достойным столь частого общения со Христом... Ты, должно быть, сектант какой-нибудь! Ты - молокан!.. Наверное, молокан, а иначе ты не дозволил бы себе подобную дерзость. Какая это у тебя цель? Сознайся - это для того, чтобы люди видели твое лживое благочестие? Сознайся: ты - молокан? А? Ну, говори!

Хоть и поразило меня внезапное нападение, я твердо ответил отцу казначею, не смущаясь присутствием его гостей, невольных свидетелей:

- Если вы, батюшка, желаете знать Символ моей веры, то прошу вас его выслушать от начала до конца.

- Говори! Я слушаю.

И я, осенив себя крестным знамением, начал читать: "Верую во Единого Бога Отца..." и кончил: "Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь".

- Вот, - сказал я, - батюшка, мое исповедание веры. А что я приобщаюсь каждую неделю, то не по особым каким-либо достоинствам, которых не имею, а потому что сознаю себя более других грешным и больным. Потому-то и приступаю к Могущему спасти погибшего. Вы знаете, что не здравии требуют врача, а болящие, и из них первый есмь аз. Не смею я допустить даже и мысли той, чтобы я когда-либо мог быть от дел достоин приобщения сей Святыне, нет, а приступаю, сознавая себя крайне недостойным, но только верую: по благодати Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и за молитвы Преблагословенной и всех святых я освящаюсь, причащаясь... Что же касается моих сердечных чувств, то предоставьте их ведать Богу.

Лишь головой качал отец казначей... Помолчав немного, он грубо спросил меня:

- Ты кто?

- Послушник Феодор, - отвечал я.

- Хорошо - это мы сейчас узнаем, оправдаешь ли ты степень звания своего делом...

При этих словах он налил полный стакан "очищенной" и, указывая перстом на стакан, повелительно сказал мне:

- Пей! Я тебе приказываю.

Богу одному известно, как тяжела была для меня вся эта сцена... Скрепя сердце, чтобы не дать излиться закипевшему чувству гнева, я со смирением отвечал:

- Простите, батюшка! Я этого исполнить не могу.

- Как так? Это - почему?

- Да потому, - сказал я, - что меня и без того страсти тревожат и кишат в моем сердце, как черви, а святой апостол Павел пишет, чтобы не упиваться вином, в нем же есть блуд...

- Так я, стало быть, по твоему заключению, блудник? А? Как смел ты мне это сказать? А?

И при этом казначей настолько вышел из себя, что выражался площадными словами, всячески ругая и понося меня.

- Прекрасно! Благодарю!.. Так я блудник! Ах ты... - кричал он, все ближе и ближе на меня наступая... Я пробовал его успокоить, но напрасно... Тогда я поклонился и пошел из кельи, впрочем, мне пришлось уж не идти, а бежать, так как казначей кинулся, было, за мной, чтобы в сенях меня схватить и избить, но я предварил его намерение бегством. Долго я потом плакал, скорбя за казначея, который был только орудием, на силу диавольскую, которая в обители со слабым управлением творила бесчиние, как хотела.

XLIX

За работу по устройству и отделке моей кельи в саду не было еще уплачено благодетелю моему, Николаю Васильевичу Чурилину. Очень меня это беспокоило, хотя Чурилин ни словом, ни делом не намекал мне, что пора бы произвести ему уплату. Довольно крупная сумма, данная мне тестем брата перед поступлением в монастырь, от которой у меня уже ни гроша не оставалось, лишила меня возможности вновь обратиться к нему за помощью, а в долгу оставаться не хотелось. И очень я скорбел духом.

Как-то раз иду я от своего послушания к себе в келью, и неотступно преследует меня моя скорбная дума: как и чем рассчитаюсь я с Чурилиным? Вот подходит ко мне на монастырском дворе одна из известных своим благочестием горожанок города Лебедяни и совершенно неожиданно спрашивает:

- Не имеете ли вы в чем нужды?

Меня очень тронул ее участливый тон, но стараясь строго исполнять советы святых отцов, не благословляющих монаху иметь дело с женским полом, я скрыл от нее свою нужду.

Спустя немного времени приблизился день памяти моего во блаженном успении старца, иеросхимонаха Макария, скончавшегося о Господе седьмого сентября 1860 года. Мне хотелось почтить память блаженного старца особенным угощением братии, но, за неимением средств, сделать это представлялось крайне затруднительным. С верой и слезами помолился я Пречистой, прося Ее помочь мне и осуществить мое усердное желание. За несколько дней до дня кончины отца Макария опять подошла ко мне та же раба Божия и говорит:

- Отец Феодор! Вы скрываете от меня нужды ваши, тогда как я наверно знаю, что вы крайне нуждаетесь: я видела во сне Ту, Ей же от Архангела было принесено с небесе приветствие - "Радуйся, Обрадованная", и от Нее Самой я

получила повеление в словах: "Помоги ему". Теперь, даже и стали бы вы отказываться, я не отойду, пока вы не примете от меня на нужды ваши.

Что оставалось мне делать после этих слов?!..

От этой боголюбивой жены я получил столько, что хватило и на расплату с Чурилиным, и на помин святой души праведного старца Макария Опта некого.

И невыразимо радовался я изливаемым на меня, недостойного, милостям Преблагословенной, и плакал в грешной своей молитве ко Господу.

Я умолчу о имени той особы, через которую я получил благодеяние, имея от нее заповедь не открывать ее имени во все дни жизни, а если не будет особой надобности, то и после смерти.

Каких только скорбей не в силах перенести верующая душа человеческая при одном таком знамении с неба!

Буди имя Господне благословенно от ныне и до века!..

L

Однажды в праздничный день отец игумен отсутствовал за трапезой. Были отец казначей и, конечно, братия. Меня назначили в этот день читать за трапезой Четьи-Минеи. Во время трапезы братия, пользуясь послаблением со стороны казначея, до того забылась, что смехом, громкими разговорами и разными бесчинными действиями окончательно заглушила чтение. Я остановился читать и умолк. Молчал я довольно-таки долго, пока не заметил этого отец казначей и не обратился ко мне с вопросом:

- Это что еще такое значит? Почему ты замолчал?

- Да чтобы не мешать общему вашему разговору, - отозвался я.

- Читай! - прикрикнул на меня казначей, - читай, мальчишка!

Я повиновался и начал читать. Но казначей с братией, как бы нарочно заговорили громче прежнего, а некоторые стали между собою ругаться, толкая друг друга в бока.

Грустно мне стало смотреть на допущенное бесчинство: дух мой возмутился до

слез, а сердце, будто пламенем, охватила по Бозе ревность, и я громко призвал:

- Отцы святые и братия! Ради Преблагословен-ной Девы, Матери Бога нашего, именем всех святых, а наипаче преподобных отец, писавших уставы чиноположения для обители, ради Антония и Феодосия и всех святых Печерских, умоляю вас умолкнуть и слушать чтение! Или уж благословите мне замолчать, и тогда продолжайте свои разговоры. Только прежде обратите внимание на свое бесчиние: сообразно ли оно с местом, временем и долгом степени вашего звания?

Боже мой! Что тут поделалось и с казначеем, и со всей частью единомышленной ему братии! Рекой полились на меня укоризны, ругательства - словом, в трапезной воцарился полный хаос...

- Вот явился в наш век ревностный преподобный! Ах ты, мальчишка! - раздавались гневные восклицания. - Кто ты? Начальник, что ли, наш? Из молодых, брат, да хочешь быть ранним!..

- Яйца, что ли, кур учат? - кричал на меня казначей. - Нас учить вздумал! Да как ты смел это сказать всей братии при мне?

Я воспользовался мгновением затишья в их ярости и громко сказал:

- Вы слышали, что я сказал и как сказал. Теперь мое дело - молчать, а ваше - или исполнить мою просьбу, или держаться своих правил...

Опять поднялась против меня буря, но я уж молчал - до самого конца трапезы - и ото всего сердца молился за них Богу.

Даром мне это не прошло, вскоре ризничий донес отцу игумену, будто бы он неоднократно замечал, как я, оставаясь один в алтаре, становлюсь против престола на священническом месте, преклоняю колени, целую престол, беру с престола Крест и Евангелие, целую их и потом якобы касаюсь святого ковчега и беру из него для целования в руки Святое Тело и Кровь Господню. Отец игумен призвал меня и взялся строго мне выговаривать при ризничем, который и в моем присутствии не постеснялся подтвердить взведенную на меня клевету.

- Не смею я много оправдываться и уверять вас, отец игумен, в своей невинности, - сказал я, - но попрошу вас, отец игумен, приказать ризничему пойти со мной в Троицкой храм и подтвердить свои слова перед иконой Одигитрии; если его не постигнет тотчас суд Божий, тогда признайте меня

виновным.

Но отец игумен велел мне оставить это дело без последствий, а спустя некоторое время, убедившись каким-то образом, что я был оклеветан, сам просил у меня прощения в том, что поверил клевете, по злобе на меня взведенной.

LI

Перед постригом моим в рясофор, не зная о том, что в сердце отца игумена уже созрело это решение, я в тонком сне имел такое видение: будто стою у свечного ящика в Успенской половине храма и вдруг слышу чей-то незнакомый голос, который зовет меня в алтарь:

- Феодор! Взойди сюда! И так - до трех раз.

Удивляясь дивному голосу, я вошел в Успенский алтарь, совершил поклонение святому престолу и увидал, что у угла к востоку, близ престола, стоит вроде как отец игумен, а на престоле рядом с крестом лежит серебряный корчик, полный чистой воды, и над ним поднимается пар. Я подошел к отцу игумену, поклонился ему в ноги, и он, благословив меня, указал на корчик:

- Возьми и пей!

Считая себя недостойным взять что-либо с престола неосвященными руками, я, не двигаясь с места, стоял в страхе.

Отец игумен повторил:

- Возьми и пей! Это нужно было пить вон кому, - прибавил он, указывая рукой по направлению к царским вратам... Я почему-то в эту минуту не оглянулся на царские врата, взял в руки корчик и, осенив себя крестным знамением, стал пить из корчика воду, которая оказалась прохладной и необыкновенно на вкус приятной... И сколько я ни пил этой воды, в корчике не убывало будто. Я силился выпить ее всю, но корчик делался полнее. А я все пил. Казалось, вода дошла до самого горла. Я напряг последние силы, глотнул еще раз и вдруг выпил из корчика всю воду... Тут я взглянул на царские врата и увидал нагого младенца, сидящего на кругленьком аналойчике, вроде столика. И младенец этот, не спуская с меня глаз зорко смотрел на меня, и был он так красив, что глаз не оторвать. Глядя на меня, младенец ангельски улыбался. И заметил я, что он был весь мокрый, как будто его только что вынули из воды, и вода струилась с

него чистыми, как алмаз, каплями по всему лицу и телу его, - и это придавало ему еще большую красоту. Сидел этот дивный младенец с ножками на аналойчике, и по чреслам покрыт он был белым полотном, такое же полотно было подостлано под ним. Позади младенца стоял монах, как будто отец казначей, чистым полотенцем он отирал покрывавшие тело младенца капли чистой воды. И вдруг увидел я, что по лицу младенца возле уха, потекла грязная вода как бы с пылью растворенная. Дивясь красоте младенца, я спросил отца игумена:

- Кто этот младенец? И чей-то голос ответил:

- Это ты!

А отец игумен сказал:

- Я хочу, чтобы ты был моим сыном.

После того я услышал прежний голос, звавший меня в алтарь:

- Ну, видел ты себя? Теперь вставай и иди к утрени.

Тут я проснулся, и в это самое мгновенье ударили в колокол к заутрени, и я встал и пошел, дивясь бывшему.

Вскоре после этого видения я был пострижен в рясофор в Ильинском храме на день Одигитрии, то есть двадцать восьмого июля. Постригал меня за Литургией сам отец игумен. Одежда моя с вечеру была положена на аналойчике перед образом Богоматери, а на утро, к удивлению пономаря и ризничего, аналой с одеждой оказался переставленным к местной иконе Илии пророка. Удивлялись они потому, что, кроме них, в храме никого не было, а они аналоя не переставляли, и храм до Литургии был заперт.

При постриге в рясофор имени мне изменено не было, и я был наречен паки Феодором.

LII

Спустя некоторое время после великого и знаменательного для меня дня пострижения в рясофор, но еще до пострижения в мантию, пришел ко мне в келью отец игумен и в разговоре неожиданно обращается ко мне с такими

словами:

- Ты сам видишь, что казначей у меня человек окончательно неспособный, бесхозяйственный да, к несчастью, еще и выпить любит... Ну, это-то хоть туда-сюда; совсем плохо что, замечаю я, в нем не только монашества, но и просто христианского - и тени нет. Так вот, прошу тебя, не откажись заменить его, а я уж буду лично просить об этом преосвященного.

Казалось бы, такое отличие должно было меня обрадовать, меня же оно испугало - так ясно представился весь ужас того положения, в которое я неминуемо попал бы, приняв лестное предложение отца игумена. Я знал несчастную слабость своего настоятеля, которая заставляла его относиться снисходительно к порокам подчиненных, и назначение меня казначеем при себе равносильно было бы тому, как если бы он мне сказал: ты видишь мои действия, ни в чем несообразные с уставами святых отец, основателей монастырских общежитий, будь казначеем и молчи, ни в чем мне не препятствуй, а я буду по-прежнему и примером своим, и управлением окончательно искоренять из своего монастыря и благочиние, и благочестие... Оборони, Господи! Да не будет!

Выслушал я игуменское предложение, встал перед иконой Преблагословенной и сказал настоятелю тихо и кротко, но твердо:

- Спаси вас, Господи, батюшка, за ваше внимание ко мне, недостойному, но позвольте и мне быть откровенным и высказать вам и чувства мои, и мои мысли не как перед начальством, а как перед отцом. Нас, батюшка, здесь в келье только двое, и пусть Матерь Божия будет меж нами Свидетельницей. Вы предлагаете, стало быть, мне должность или послушание казначейское?

- Да, - ответил игумен, - желаю даже.

Я поклонился ему в ноги и благодарил, но, вставши, продолжал:

- Ах, батюшка, не поняли вы доселе меня, иначе вы и не стали бы мне предлагать этой должности... - тут я опять поклонился ему в ноги... - Только вот что, батюшка: молю я вас и прошу - не думайте и просить обо мне владыку, ведь если вы все-таки на своем настоите, то я, несмотря на то, что вы игумен, будучи казначеем, таких от вас реформ потребую, о каких вы и не думали.

- Каких реформ? - удивленно спросил меня игумен.

- А вот каких, батюшка: здесь ведь общежитие, так и должно быть у нас все так,

как отцы святые предали нам, начиная с кухни и кончая всем духом братского общежития. Пишу, например, чтобы варили на кухне не мужики нанятые, а из числа братии иноки; да все это - по уставу: огонь-то чтобы брать от иконы Спасителя или от престола во время утрени; потом положив земной поклон пред настоятелем и испросив благословение, только тогда бы и шли иноки на дело. Да и на деле-то, чтобы младший на все просил благословение у старшего, так чтобы ковша воды не смел влить в котел не помолитвясь: "Молитвами святых отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!" И только когда старший скажет: "аминь", младший, сказав - "благослови" и услышав - "Бог благословит", только тогда он может приступить к своему делу. И так должно вести всякое дело при начале всякого послушания в обители. И просфоры должна печь братия, а не бабы в городе, как это у нас теперь ведется. Да чтобы от старшего до младшего - никого не было в праздности, чтобы каждому по силам его, возрасту и воспитанию было дано послушание. И в город-то, и в слободу отнюдь никому не ходить без благословения, ради благословной вины и то - только одному уставленному на то брату, кроме особых исключений. Вот и к воротам надо поставить привратника, будильщиков; да и ворота вне служб не должны быть так растворены, как в настоящее время, чтобы не было пути женскому полу через двор обители... В храмах надо завести чистоту не ту, которая теперь у нас, а такое благолепие, которое возвышало бы душу молящегося и возбуждаю благоговение к святыне. Смеху и разговоров на клиросах и в алтаре - чтобы и тени не было... Да простите, батюшка, я и от вас-то лично потребую другого поведения во всем... Вина и пьянства - чтобы и духу не было в обители; и с похмелья я не дозволю давать братии денег и поитьих в келье, как вы это делаете теперь. Нет, - на поклоны! Кто не хочет исправиться - с Богом из обители: пусть вместо шестидесяти или пятидесяти будет жить тридцать, но чтобы обитель была образцом благочестия, а не так, как вы довели. Взгляните по совести: ведь обитель-то служит соблазном для мирских, как рассадник не благочестия, а пьянства, невежества и всяких пороков... Итак, если вы не будете препятствовать новым порядкам, то избирайте меня - я готов. Если же из личных ваших, временных видов вы не измените своей системы, то лучше оставьте меня, иначе я вам буду первый враг и доведу о всех ваших слабостях до сведения владыки.

Ничего не возразил на мои речи игумен, но с этого времени охладел ко мне совершенно и о казначействе более не заикался. Мало того, по несчастной своей болезни, он имел слабость открыть о своем мне предложении самому казначею, с которым во время запоя, за бутылкой, слишком разоткровенничался. Конечно, он пересказал и все, что я наговорил в келейной с ним беседе и тем еще больше возмутил против меня - и без того уже яростную - ненависть казначея. С этих

пор казначей не упускал случая внушать игумену, что я добиваюсь власти, что хочу, как они оба выражались, их "стульев". И стали оба стараться выжить меня из обители, но как не было за мной никакой вины, то они замыслили перевести меня, дав мантию, в архиерейский дом в Тамбов. Этого им было бы не трудно добиться, расхвалив меня, кому следует, и при помощи задариваемых ими членов Консистории.

Слава и благодарение Господу, Который не дал им исполнить своего намерения, и все их козни не имели успеха, столь ими желаемого!.. Но об этом я скажу в своем месте.

LIII

Чувство братской любви нередко заставляло меня молиться ко Господу и к Пречистой Его Матери, чтобы излилось на младшего брата Ивана Божие благословение и чтобы обогатил его Господь благами земными. И вот, однажды, после горячей молитвы я изнемог, уснул и вижу во сне: будто стою у самой паперти каменной церкви, выйдя из нее в монашеском одеянии. Глянув вверх, я увидел луну и чистое ясное небо, все усеянное яркими звездами... Синевато-туманная даль терялась, уходя в бесконечную высоту... И под луной, несколько поодаль, увидел я плывущую в воздухе лодку, а в ней-то брата моего, Ивана Афанасьевича. На голове у него красовалась темно-малиновая бархатная шапочка татарского покроя, красиво и богато расшитая золотом и жемчугом, осыпанная драгоценными камнями; в руках он держал франтоватую черную пуховую шляпу. Глядя на меня, он изобразил шляпой глубокий поклон. Тут послышался мне в видении голос:

- Видишь? Так возвеличу брата твоего. После этих слов я проснулся и, дивясь своему сну, написал брату на Нижегородскую ярмарку, где он в то время находился после закупки в Москве товаров.

Было это три года спустя после моего вступления в монастырь, в июне 1863 года. В ответном письме брат вызвал меня в Москву - повидаться с ним и его молодой женой. Мы очень радовались свиданию после долгой разлуки. Брат был доволен своей судьбой: дело, что ему досталось от тестя, у него спорилось, и он богател не по дням, а по часам. Но я заметил, что есть у него какая-то думка, какое-то тайное неудовлетворенное желание. Я его спросил об этом, и он ответил:

- Слава и благодарение Господу за все: всего у меня много. Есть уже и две дочки,

но вот горе - сына не имею.

- А что? - спросил я его, - видно тебе очень бы хотелось сына? - еще бы, - отвечал он, - какой же отец и мать не желали бы иметь сына? Но да будет, видно, воля Божия!

Очень меня взволновали братнины слова.

На другой день отстоял я в Успенском соборе Литургию, помолился у святых мощей угодников Божиих Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, зашел к Иверской и у чудотворной иконы излил в молитве скорбь свою за брата, умоляя Матерь Божию, чтобы Она умолила Сына Своего даровать сына моему Ивану. Помолившись, я купил в Иверской часовне вершка в два, в серебряной ризе, икону Преблагословенной, чтобы благословить брата пред отъездом. Когда уже пришло нам время расставаться, я благословил этой иконой не брата, а жену его, сказав с верой, от всей глубины сердечной:

- Силен Господь утешить вас и даровать вам сына!

Под благословение хотел было подойти мой брат, но я почему-то благословил не его, а жену, сказав:

- Нет! Я желаю, чтобы сестра подошла.

И когда она положила три поклона и хотела, было, взять икону в руки, я повторил опять:

- Эта святая икона да будет вам в благословение на рождение сына, и чтобы умножил Господь вам детей и сыновей даже до седми.

На этом мы расстались с братом и невесткой. Прошел год, и у них родился сын, которому дали имя Феодор. На второй год родилась дочь по имени Александра...

В год рождения Александры брат виделся со мною и с какой-то внутренней досадой сказал:

- Опять родилась дочь, а ты мне говорил, что у меня родится до семи сыновей.

- Не лучше ли, брат, - заметил я, - молиться ко Господу - да будет воля Твоя, а не наше желание. Почем ты знаешь, что сыновья будут тебе на радость?

- Ну, как бы там ни было, - отвечал брат, - а я хочу, чтобы у меня были сыновья -

на то и прошу ваших монашеских молитв. Будете меня и двух девок, а тут еще третья родилась.

По всему было заметно, что духовное устроение брата, как христианина, уже начинало портиться от счастья и удачи в его житейских делах...

Немного прошло времени, и у него скончалась дочь Александра, а чуть погодя родились ему: второй сын Александр, потом третий - Василий, четвертый - Иоанн, пятый - Николай, шестой - Виктор, седьмой - Алексей и восьмой - Владимир. Последней у брата родилась опять дочь - Ольга.

И так во всем была брату удача - и в семье, и в торговых его делах. Его считали мильонщиком; все главные военные начальники жали ему руку; был он принят в доме у Лорис-Меликова, у Чавчавадзе и у других полководцев. У князя Чавчавадзе Иван и дом купил, где жил до самой смерти. В Темир-Хан-Шуре, где велись его главные дела, брат даже с хлебом-солью от общества встречал Государя Императора и был удостоен приглашения к Высочайшему столу. За свои пожертвования брат был награжден многими медалями и в купечестве слыл за одного из самых передовых деятелей. Благодаря этой репутации и, конечно, крупному своему состоянию, он был в близких отношениях и с крупнейшими московскими коммерческими домами и, между прочим, с домом московского городского головы Королева.

Не нравилось мне только знакомство брата с вольнодумцами, каковыми так обиловали шестидесятые годы. Влияние их с каждым годом становилось все сильнее, и проявлялось в нем в чертах очень резких, которые больно отзывались в моем сердце. Не стал он соблюдать церковных уставов, отдалился от Церкви, смеялся над монашеством. Не раз доводилось мне слышать в его компании отзывы о монахах, как о тунеядцах, и однажды в Москве, в гостинице Кокорева, где брат занимал несколько номеров и куда я приехал на свидание с ним, довелось услыхать от него за ужином такие речи:

- А ведь, ты, небось, думаешь, что твое благословение доставило мне все, чем я теперь пользуюсь?..

И понес он далее такие кощунственные речи, что у меня так и обмерло сердце.

Брат был несколько выпивши и, не довольствуясь страшными своими словами, вошел в какой-то азарт: вдруг вскочил со стула, снял порывисто со своей шеи образок Божией Матери и бросил его под стол... Я был поражен и уничтожен

этой дикой, безумной выходкой и, хотя этого и не было в моем обычае, вышел из номера, не говоря ни слова. Наутро пришел ко мне коридорный и попросил пойти к брату. Не успел я переступить порога его номера, как он упал мне в ноги и стал просить прошения. Я подал ему образок, который он накануне с такой дерзостью бросил на пол. Он опять кинулся мне в ноги, прося прощения.

- Не у меня проси прошения, - сказал я, - а у Той, Которую ты оскорбил своей безумной дерзостью.

Брат каялся, объясняя свой поступок излишком выпитого вина, но семя духовного разложения в нем таилось и зрело, пока не дало такого ростка, который его и погубил впоследствии.

Тут мне придется забежать лет на пятнадцать вперед - к тому времени, когда я уже был в Перемышле, в Лютиковом монастыре.

По дороге в Москву брат заехал ко мне и за ужином, выпив изрядно кахетинского, к которому пристрастился на Кавказе, он, как некогда в Кокоревской гостинице, стал придираться ко мне и в пылу неприятного разговора, повысив голос вдруг спросил:

- А ведь ты, вероятно, думаешь, что все, что я имею, дал мне твой Христос?

- А кто же? - в свою очередь спросил я. Брат указал на свой лоб и объявил:

- Вот кто, а не твой Христос!

Тут я не вытерпел и вспылил до того, что и теперь каюсь, но, видно, сказанного уже не воротишь. В страшном гневе я переспросил брата:

- И ты, мерзавец, дерзко отвергаешь милость к тебе Божию и относишь все данное тебе к своему уму, отвергая даже имя Господне?

- Да, конечно, - повторил он, - конечно, не твой Христос!

Вне себя я крикнул что было силы:

- Сейчас вон от меня, мерзавец!

С братом был и старший сын его. Я позвал своего келейника и велел:

- Выведи этого вон!

- А тебе, - обратился я к брату, - говорю: будь ты, анафема, проклят! И попомни, что я тебе скажу: ступай теперь на Кавказ и смотри, что дадут тебе отныне твой ум и твое безумие! Ты мне рассказывал, как пароходные капитаны говорят: "стоп машина", и пароход останавливается. И я тебе теперь говорю: стоп машина, во всех твоих делах! Ну-ка, ступай, пошевеливай теперь мозгами!

С этого дня я брата своего больше не видал. В самом скором времени старший его сын застрелился, второй попал за политическое дело в тюрьму, жену брата - при операции горла - зарезал доктор, а дела его пали до того, что он с горя, сидя в конторе своего магазина, выстрелил в рот из револьвера.

Вот в какую цену обошлось брату его кощунство.

Батюшка отец Амвросий Оптинский, которому я покаялся в грехе проклятия брата, сурово мне за то выговорил, сказав:

- Напрасно, напрасно ты предал анафеме брата и проклял дела его!

Но исправить уже этого нельзя: окончившие жить уже не воскреснут до всеобщего воскресения, и я, многогрешный, и поднесь молю Господа, чтобы снял Он с брата моего страшное слово: анафема. Да не лишит Всеблагой Бог за него Своей милости оставшихся в живых детей брата и меня, окаянного!

LIV

Возымели боголюбивое желание Лука Александрович Федотов и супруга его Любовь Степановна сделать на икону Божией Матери Всех Скорбящих Радости сребропозлащенную ризу. О задуманном пожертвовании сообщили они отцу игумену и испросили у него соизволения на то, чтобы для исполнения их желания послан был в Москву я.

Значительные были они благодетели монастырю, и пришлось моему безвольному и слабому игумену согласиться с их желанием. Федотовы вручили мне двадцать два фунта серебра в столовом сервизе, несколько дюжин с чернью вызолоченных серебряных ложек, около фунта чистого червонного золота, несколько штук драгоценных бриллиантов и отправили меня в Москву, к известному фабриканту Сазикову.

Одна работа этой ризы обошлась более восьми-ста рублей серебром.

По приезде моем из Москвы один боголюбивый купец пожелал вызолотить вновь иконостас Покровского придела и расписать весь храм. На все это он дал деньги с условием, чтобы вся работа производилась под моим наблюдением и чтобы мне и производить все расходы, не открывая игумену имени жертвователя, но твердо заявить ему от его имени, что все дело должно быть совершено мною. Благотворитель этот желал еще сделать над святыми вратами скульптуру Ангела в рост человека с трубой и венцом в одной руке и мечом в другой, позолотив все червонным золотом. Над вратами ему еще хотелось изобразить масляными красками Пресвятую Троицу в образе трех странников, принимаемых Авраамом под дубом Мамврийским, и сделать под этим изображением подпись: "Господи! Аще обретох благодать перед Тобою, помяни раба Твоего".

Пожертвование было крупное, и игумен, опять скрепя сердце, дал мне и на эту работу свое благословение, но все выпытывал:

- Только к чему секреты? Скажи: кто это такой? Кто жертвует?

Хотя и получил я настоятельское благословение, но не было покойно мое сердце: я знал, что по наветам зависти казначея мне не пройдет даром и поездка в Москву к Сазикову. До трех раз я приступал к игумену за этим благословением, и всякий раз он его давал мне, не упуская, однако, сказать:

- Скажи мне имя жертвователя! Не возьму в толк, к чему это...

Напоследок, уже в третий раз, он сказал, наконец, определенно:

- Ну, начинайте! Бог благословит.

Но не успел я дать задатка слесарю, чтобы тот приступил к фигуре Ангела, а затем взяться и за возобновление иконостаса, как меня потребовали в келью к настоятелю. Уже с первого взгляда было видно, что игумен мой находился под парами вина и влиянием казначея. Едва только я явился, он с порога запретил делать фигуру Ангела и приказал отложить все дело на неопределенное время.

- Вот еще явился какой возобновитель! - кричал игумен. - Без тебя обитель четыреста лет стояла, а ты откуда такой взялся? Я, де, им два иконостаса возобновил!.. Убирайся-ка, откуда пришел!.. Что мы - идолопоклонники, что ли, что вы на ворота кого-то посадить хотите?.. Не надо!.. Я хоть лыком шит, да -

игумен: а ты кто?

Я пробовал, было, напомнить ему, что он уже дал мне свое благословение, и что мною уже розданы задатки, но игумен и слышать ничего не хотел и даже божился, что мне никогда своего благословения не давал.

Так и не была исполнена воля жертвователя. К счастью, мне были возвращены задатки, и я мог оправдаться перед этим боголюбцем, а могло бы выйти и так, как было при возобновлении Успенского иконостаса: взял у меня тогда игумен пятьдесят рублей, чтобы расписать в красках купол, но даже и побелки мелом не сделал - зря пропали пожертвованные денежки.

С этого времени гонение на меня усилилось еще больше.

LV

В числе братии были иноки простые сердцем, преимущественно из крестьян, которые оставили мир не из временных каких-либо своекорыстных выгод, а единственно из любви к Господу, из желания Ему работать в монастырском уединении. Эти иноки любили меня о Господе и изредка ходили ко мне, чтобы я им почитал что-нибудь из книг святоотеческих. И я читал им из Иоанна Лествичника, из аввы Дорофея, Симеона Нового, Марка Подвижника, Нила Сорского, Макария Египетского, Исаака Сириянина, Исайи Отшельника и многих других. Удовлетворяя их жажде духовного знания, я в святоотеческих писаниях находил для них ответы на многие недоуменные вопросы. Великая в том была и для них, и для меня польза; но диаволу это, наверное, не нравилось, и он стал внушать казначею, а через казначея и игумену - прекратить наши братские собеседования. И взялись они у моих собеседников выпытывать:

- Зачем вы ходите к нему?

В простоте своей сердечной, и не подозревая козней вражьих, те отвечали:

- Да, как же, батюшка, не ходить к нему?.. - и принимались восхвалять меня не в меру моего достоинства, называя меня чуть ли не ангелом... Можно себе представить, как такие речи действовали на врага, внушавшего против меня завистливую ненависть!

- Вы не понимаете его, - твердили игумен с казначеем, - потому-то вы и ходите к нему и его ублажаете; а мы вам говорим, что это из мошенников мошенник: у

него одна цель - быть игуменом. Мы его знаем лучше вас - это мошенник, каких редко...

- Я не доволен теми, - внушал игумен, - кто к нему ходит. Так и знайте, что те, кто к нему ходит, у меня будут на плохом счету.

Столь неожиданный для них отзыв крайне удивил иноков и, слыша его неоднократно, они заметили явное ко мне недоброжелательство начальства и, боясь его гнева, стали ходить ко мне реже и с великой опаской, со слезами передавая причину их кажущегося ко мне охлаждения.

И в Лебедяни, бывая в домах именитых граждан, игумен не упускал случая на вопросы обо мне отзываться неоднократно о моей личности, называя меня льстецом, гордецом, святошей и страшным мошенником. Бывая часто в нетрезвом виде, он звал меня к себе в келью и тут поносил всяческими ругательными словами, а иногда ни с того, ни с сего кричал:

- Подай сюда ключи от свечного ящика, ты не можешь быть полезен для обители - ты мошенник! Ты ожидаешь моего кресла!

И сколько я его ни разуверял именем Богоматери, он ругал меня еще более, говоря, чтобы я вышел из обители.

- Ты - бесполезный человек! - только и слышал я в эти минуты.

Я хорошо понимал, что это было на меня гонение вражье от древнего человекоубийцы, пользовавшегося несчастной настоятельской слабостью, но, Боже мой! До чего тяжело мне бывало это переносить! Особенно тяжело мне было еще потому, что не с кем было во всей обители разделить своего горя, не от кого было получить слова поддержки и утешения. И уходил я тогда, одинокий, в свою уединенную келью и, обливаясь слезами, взывал к моему Господу:

- Господи мой, Господи! Призри на скорбь души моея и утеши меня благодатною Твоею силою, и укрепи немощи моя, и просвети сердца ненавидящих и гонящих мя светом благоразумия Твоего, да вси единым сердцем и едиными усты будем петь и восхвалять Пресвятое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь...

И вот, после одного из таких искушений вижу я в сонном видении: будто стою в Покровском приделе во время утрени и, когда запели "Честнейшую херувим", явился монах, но не простой, потому что на персях его был крест. Лицо монаха

было несколько рябовато, бородка продолговато-окладистая, с проседью. На руке он держал мантию, ремень, четки и клобук, а шел из Успенского придела в Покровский алтарь. Проходя через клирос и поравнявшись со мною, он сказал, показывая мантию и клобук:

- Готовься!

И очень скоро после этого сновидения я был пострижен в мантию. Совершилось это великое событие моей жизни в день Одигитрии, июля двадцать восьмого дня 186... года*. После пострига отец игумен говорил мне, что он написал на трех записочках для меня три имени и положил их на престол. Два раза во время служения он брал с крестом одну из трех записок, и оба раза выходило для меня имя "Феодосии". В день моего пострига, когда нужно было идти постригать меня за малым входом, он взял с престола записку, и в третий раз вышло мне имя "Феодосии".

_____

* Точное число года в рукописи не обозначено.

_____

Вспомни, читатель, мою молитву у раки преподобного в Киеве и слова подошедшего ко мне неизвестного старичка-монаха и подивись со мною вместе великим и неисследимым путям Господним!

LVI

Однажды приехала к отцу игумену настоятельница новоустрояемой тогда Илларионовской Троекуровской общины, мать Макария*, в то время очень ко мне благоволившая. Всякий раз, как она приезжала в наш монастырь к отцу игумену, она просила вызывать меня в настоятельскую келью. От нее игумен не только скрывал свое недоброжелательство ко мне, но старался показать, что обо мне имеет особое отеческое попечение.

_____

* Имя настоятельницы недостаточно ясно написано в рукописи.

_____

Богу ведомо одному - может быть, в его-то душе и не было бы против меня

дурного чувства, если бы не его слабость и склонность поддаваться чужим и враждебным влияниям. Да и то сказать - нельзя судить души человеческой, а тем более ее осуждать, когда знаешь по себе силу врага рода человеческого. Помни все время, пока читаешь мое повествование, дорогой мой читатель, что я - летописец, а не судья, и разумей, что, описывая монастырское нестроение, я не монастыри обвиняю, а человеческую немощь, поддающуюся диавольскому соблазну, когда ей так было бы легко, с помощью благодати Божией, отражать нападение невидимых врагов: стоило лишь строго держаться святоотеческих заветов и богомудрого старчества.

Смотри как при тех же людях и с теми же их немощами, и при действии тех же враждебных сил цвела в то время да и теперь, благодарение Богу, процветает Оптина пустынь и другие высокие обители Российские, где введено и держится старчество. Где старец, которому всякий инок обязан открывать ежедневно свои помыслы, ради Христа, Которому он служит, и ради христианского совершенствования, вот тебе уже те Евангельские "двое", посреди которых Господь обещал невидимо присутствовать. Это уже - Церковь, которую и врата адовы не одолеют. Где же там безвозбранно действовать лукавому?.. Не то в обителях, подобных Лебедянской, какой она была в мое время...

Но продолжаю рассказ.

Так вот, приехала мать Макария, по случаю ее приезда был позван к игумену и я. Был тут и казначей. Попили мы чайку, посидели, побеседовали, а затем стали и прощаться. Поднялась мать Макария со своего места, чтобы собираться отъезжать домой, а я держал в руках ее легонькую, теплую беличью накидку из рясы блаженной памяти нашего с нею старца, иеросхимонаха Макария. Стоял тут и казначей и вдруг ни с того ни с сего, точно откуда-то сорвался, указывая рукой на меня, крикнул игумену:

- Видишь ли ты этого человека? Попомни мои слова: вот - дай срок - он нас с тобой так попрет из обители, что ты только ахнешь!

К чему и отчего он стал так предсказывать, но игумен от его слов сконфузился даже до краски в лице, а казначей, ни с кем не простившись, вышел из кельи и так хлопнул дверью, что стекла задрожали, а потом, вслед, полуотворил дверь и из-за нее опять выкрикнул:

- Погоди, он тебе послужит - попомни это! Он обоих нас выгонит из обители!

С тем и ушел. Мы с матушкой Макарией улыбнулись, а отец игумен только и нашелся, что сказать:

- Да, вишь, он немножко тово!

Мать Макария не утерпела и высказала отцу игумену все свое негодование на неблагопристойность этой выходки, а также и удивление, как может дойти в монастыре такое неуважение к настоятелю.

Мне же это, увы, было нисколько не удивительно!..

LVII

Стоял я однажды в своей келье на молитве перед иконой Распятия Спасителя и вдруг увидел, что губы Божественного Страдальца сделались огненными. Я пришел в такой ужас, что изнемог всем существом души моей, но молиться не мог.

Видение это по малом времени исчезло.

В моей уединенной келье, сперва секретно, а потом с благословения отца игумена, который временами благоволил ко мне, я выкопал под полом подземелье, как бы могилу, и поставил в него с одной стороны гроб, а с другой - гробовую крышку. Крышку гроба я сделал, еще когда жил в миру, конечно, тайно ото всякого постороннего взгляда.

Подземелье это было любимым местом для моей молитвы, и туда я часто уединялся молиться, становясь между гробом и его крышкой пред большим Распятием нашего Господа.

От юности моей и по настоящее время я имел и имею неодолимый для меня, панический страх перед всякого рода гадами - змеями, ящерицами, червями. Где бы я ни был, в саду ли, в поле или в лесу, молился ли я или просто лежал на траве меня всегда пугал помысел - нет ли здесь какой-нибудь гадины? Я и до сих пор избегаю попасть в густую траву, а для отдыха стараюсь выбрать чистенькое местечко.

В могиле под кельей неоткуда было взяться никакому гаду, однако я всякий раз, как туда спускался, испытывал некоторого рода боязнь... Несмотря на этот страх, любил я могильное безмолвие, где иногда целые ночи и дни проводил без сна или на молитве, или в размышлении о тайне нашего спасения и неисследимой

вечности, ожидающей православно верующую душу.

Враг знал мою слабость и здесь не оставил меня в покое.

Молясь однажды в своей келье, я увидел около себя огромную, длинную, толстую змею. Я обомлел от ужаса. Подползла эта змея к дверце, ведущей в подземелье, и вдруг, на моих глазах, стала утончаться и, сделавшись тонкой, как пиявка, проползла в дверную щель и скрылась в подземелье. Долго я боялся спускаться на молитву ко гробу. Немного дней спустя кто-то, пока я спал, нагнул столбик из черных крашеных дощечек, на котором у меня были укреплены стенные часы, да нагнул так, что часы остановились.

Прошло после этого некоторое время, и я решился, наконец, опять спуститься на молитву в свое подземелье. Зажег я свечу, спустился ко гробу, тщательно осмотрел все закоулки подземелья и, убедившись, что, кроме меня, нет ни одного живого существа, я упокоился. Только успел я преклонить колени, как увидал, что по могиле пробежала большая ящерица, но не того цвета, какого они обыкновенно бывают, а цвета человеческого тела. На этот раз я не испугался и, оставив молитву, взял свечу и снова стал осматривать свое подземелье. Таких ящериц я обнаружил несколько штук, перебил их и выкинул. На другой день явление это повторилось, на третий - тоже, и вместо молитвы мне пришлось заниматься избиением ящериц, которых в подземелье собиралось всякий раз, как я туда спускался, так много, что, пока я всех переловлю, перебью и повыкидаю, некогда было уже и молиться. Дивился я, откуда они брались, когда муравью-то, и тому неоткуда было пролезть...

Так и пришлось мне на время оставить мое могильное безмолвие.

Спрашивал я садовника монастырского - он был из троекуровских крестьян, - доводилось ли ему в нашем саду встречать ящериц, он с уверенностью мне ответил:

- Никогда! А если бы были, то мог ли я, живя безвыходно лето-летское в саду, их не видеть?

Искушение это продолжалось до тех пор, пока я не написал о нем, прося молитв, старцу Амвросию Оптинскому. Более ящериц я не видел.

Прошло некоторое время. Я по-прежнему, уже безбоязненно становился на молитву в своем подземелье, когда возникло новое искушение, которому не

помогли и мои письма к отцу Амвросию. Говорил я о нем и лично, при свидании, великому старцу, но искушение это не только не прекращалось - напротив, усиливалось: слышались мне во время моей молитвы сперва тихие, невнятные голоса, а затем уж и ясное множество голосов, сладко ублажавших мои подвиги. И я, грешный монах, оставлял молитву и целыми часами стоял, прислушиваясь к разговорам, услаждавшим тайную гордость и самомнение моей окаянной души.

Боже! Милостив буди мне грешному!..

LVIII

Один брат нередко мне прислуживал, особенно во время болезни (у меня пухли ноги и были болезненные шишки на коленях; левую ногу даже скорчило в суставах). Я утешал этого брата, чем мог, и за копеечные услуги платил рублями, зная его совершенную бедность. И было этому брату искушение добиться моего послушания у свечного ящика, которым я, по правде сказать, даже тяготился по своей болезни. Сговорившись с келейником отца игумена, который и послушание-то получил по моей просьбе, они вдвоем уверили слабого настоятеля, что я по ночам напиваюсь мертвецки-пьяным. А я, не хвалясь скажу, что с тех пор, как я переступил за ограду обители, не только вина, но и браги не дозволял себе подносить к устам моим даже за трапезой в день Пасхи.

Не зная ничего о составившемся против меня, по вражьему наущению, заговоре, я часу в двенадцатом ночи, помолясь Богу, лег спать. Не успел я закрыть глаз, как раздался стук в дверь кельи и вошел упомянутый келейник отца игумена, который объявил мне, чтобы я немедленно шел к настоятелю.

Конечно, клевета обнаружилась, но сам-то игумен был не в порядке, и мне пришлось, уж и не вспомню в который раз, выслушать от него, что я и мошенник, и интриган, добивающийся игуменского кресла, и бесполезный для обители человек... Кончилось ночное свидание тем, что настоятель отобрал у меня ключи от свечного ящика и, склонившись на мои уговоры, улегся спать.

Келейнику я дал понять, что мне известны его кляузы, но ушел я из настоятельской кельи с великой скорбью в сердце.

Наутро ключи от свечного ящика мне были возвращены.

Одна боголюбивая жена подарила мне флеру (род тонкой кисеи) на окна - для

защиты в летнее время от насекомых. Одновременно я выпросил у отца игумена из церкви маленькое Евангелие и образ преподобного Сергия. То и другое послужило для врага поводом воздвигнуть на меня новую клевету. Один из наших иеромонахов был как-то раз у меня в келье и увидал на окнах рамки из флера, и сатана наполнил его сердце злобной завистью. Иеромонах этот иногда бывал у той боголюбивой госпожи и, при очередной с ней встрече на вопрос ее обо мне стал говорить про меня много дурного и, увлекшись, начал ей рассказывать, что я даже вор, потому что украл из церкви Евангелие, икону и флер, из которого поделал себе рамки на окна... Этот флер открыл всю ложь его наветов, и эта госпожа, встретив меня в церкви, предупредила, чтобы я сторонился иеромонаха, объяснив причину своего предупреждения. Имя этой моей благодетельницы - Любовь Степановна Федотова, супруга известного уже читателю Луки Алексеевича.

Из ряду вон. выходящей была эта женщина по своему боголюбию! Муж ее некогда служил в Сибири начальником в том округе, куда ссылались политические преступники, особенно, из Царства Польского. Были они с мужем люди богатые, имели единственную дочь, которую любили без памяти, и по окончании мужем службы в Сибири поселились всей семьей в Лебедяни, в прекрасном доме. Звали их в городе "сибиряками" и очень почитали за выдающиеся качества их редких сердец. Были они глубоко религиозные, к храму Божьему усердные, любили монастыри и монастырское богослужение, к которым неуклонно езжали по большим праздникам; подавали щедрую и всегда тайную милостыню, выдавали замуж бедных невест, давая им приданое - словом, жили, как истинные христиане.

К единственной их дочери присватался один из богатых местных помещиков, владевший деревней крестьян и богатой усадьбой на реке Дону.

Родители невесты ничего против этой свадьбы не имели, но неугодна она была дочери, совсем юной девице, тогда как жениху было около сорока пяти лет. Неугодна была эта свадьба и Богу, и Он взял невесту к Себе, не допустив до бракосочетания с нелюбимым.

Смерть единственной дочери, умершей в семнадцатилетнем возрасте, тяжко поразила чету Федотовых, но не предались они бесплодному отчаянию, а только усилили свою богоугодную деятельность и свои усердные молитвы к Богу. Что касается Любови Степановны, то ее религиозность в это скорбное для нее время возросла до степени подвижничества и на этой высоте оставалась до самой ее

кончины. Исполняя по долгу своего звания все семейные обязанности, она в корне изменила отношение к внешнему миру и в течении десяти лет со дня смерти дочери и до праведного своего конца не пропустила ни одного дня, чтобы не быть в храме. Приезжала она к нам в монастырь за час или за полчаса до утрени и ни разу не позволила себе постучаться в ворота обители, чтобы вратарь ее впустил обогреться в ожидании утрени. Даже при двадцатипяти- или тридцатиградусном морозе, отпустив своего кучера домой, стояла она на снегу, прижавшись к калитке и дожидаясь, когда вратарь отопрет ворота или калитку. Нередко случалось, что и вратарь, и игумен, и братия просыпали, и она, трясясь от жестокой стужи, все так же безропотно и безмолвно дожидалась, пока наконец-то, откроют ворота те, кому надлежало ведать. О жизни ее, подвигах, благодеяниях нищим, убогим, сирым, вдовицам, церквам и монашествующим знает один только Сердцеведец Господь, я лишь могу свидетельствовать, что это была великая христианка, редкая из жен, которая, при всем достатке, довольстве и даже изобилии благ земных, не пользовалась решительно ничем и вела жизнь строгой и притом тайной постницы и неподражаемой подвижницы. По секрету рассказывали мне мать ее, Александра Петровна Антонова, и муж, Лука Алексеевич, что у нее от коленопреклоненной молитвы на обоих коленях были шишки величиной в кулак, которые обращались по временам в злые нарывы и раны.

В обращении своем с людьми Любовь Степановна была совсем как Ангел - с неизменной и кроткой улыбкой на устах, не умевших произнести ни единой жалобы. Глубоко начитанная в Слове Божием, она ум имела светлый и просвещенный Богопознанием - словом, когда мне приходилось слышать, как мужа своего она называла господином, то представлялась мне она, озаренная как бы сиянием своей святости, одной из дивных библейских жен, которым приучено было сердце поклоняться от самых юных лет. Это была, воистину, жена святая.

И этому-то ангелу сатана хотел меня опорочить и лишить меня доверия и непрестанной заботливости о моем духовном сиротстве среди враждебно ко мне настроенного большинства монастырского братства!

Благодарение Господу, неудавшаяся клевета до того расположила Федотовых в мою пользу, что с того времени я стал для них своим в их доме и сердце и был назначен душеприказчиком по духовному завещанию на их имение. Это так возвысило меня в глазах Лебедянских граждан, что впоследствии, когда я стал иеромонахом, меня звали в Лебедянь еженедельно для совершения

Божественной Литургии и для произнесения проповедей.

Иеромонах, меня оклеветавший, едва не заболел от зависти и взвел на меня игумену новую клевету, что будто я нарушаю его безмолвие, стуча ему по ночам в окна, а днем - в двери из желания чем бы то ни было ему досадить. Взведя на меня эту клевету, он сам ей настолько поверил, что просил себе перевода в другую келью, так как его келья была близ моей садовой калитки и окнами выходила в сад, где было мое уединение. Просьбу его уважили, а мне было через то много неприятностей.

Впоследствии этот иеромонах, утратив всякое значение в Лебедянском обществе, чтобы вновь привлечь к себе расположение и внимание, обращался к владыке Тамбовскому Феофану с просьбой, чтобы его постригли в схиму, но на этот раз наш отец игумен его понял и владыка Феофан*, сделав запрос просителю о том, "как он понимаете схиме и как желает жить в схиме", прошения, по-видимому, не удовлетворил, потому что ненавистник мой и поднесь пребывает иеромонахом.

_____

* Святитель Феофан, затворник Вышенский.

_____

LIX

Однажды в день Рождества Христова, придя к себе в келью от ранней обедни с приглашенным мною странником - монахом одного из московских монастырей, я заметил, что пробой был из двери выдернут, замок сломан, а вошедши в келью, застал в ней полный разгром всего моего достояния: кроме икон и книг, ничего воры не оставили, забравши всю теплую и холодную одежду, белье, самовар, чашки, сахарницу и, сколько было про нуждишку, деньжонок - все забрали до нитки. Оставлены были худенькие старые подштанники, да и те были, на зло, вывернуты и брошены посреди кельи. На другой день одну мухояровую ряску и старый поношенного крепа клобук подкинули в мешочке, в котором мне обычно кое-что присылали благодетели мои, Федотовы. Подкинутое обнаружилось на гостином дворе к келье одного из братии, живописца, он и принес все это в трапезную во время обеда. Остальное мое имущество пропало без вести.

Дня через два призвал меня к себе один иеродиакон. Я застал у него в гостях

мирянина, и они оба сообщили, что прошел слух о похищенном у меня имуществе и советовали подать в суд. Я ответил, что судиться - не монашеское дело, а вот было бы лучше, если бы вор возвратил мое имущество, тогда бы я ему уплатил по стоимости за похищенное и поклялся бы никому никогда не открывать его имени. Конечно, можно удивляться моей наивности, воображавшей, что вор стал бы верить обещаниям, но тогда я говорил от сердца. И остался я при двадцатипятиградусных морозах в одном холодном худеньком подрясничке, и никто из братии, начиная с игумена, не догадался мне предложить ничего теплого. Можно себе представить, как проводил я в своей холодной келье зимние морозные ночи, не имея чем прикрыть продрогшего тела, пока не обзавелся кое-каким теплым одеянием! Согревала меня молитва Иисусова да земные поклоны, которые и клал я усердно, едва перемогаясь от холода до утрени. И как же бывал я рад тогда услышать к ней благовест! В храме было много теплее, чем в моей келье, и я бежал туда, дрожа весь, как в лихорадке.

В мае месяце, в наступившем, стало быть, новом году после тех рождественских праздников, когда у меня была совершена первая покража, пришел я от ранней Литургии в свою келью и застал полное повторение того, что было на Рождестве: замок сорван и все, кроме книг и икон, разворовано до нитки. Было у меня подозрение на одного брата, но он не допустил меня до осмотра своей кельи. Я не стал настаивать, а спустя некоторое время с одним братом, жившим в гостинице, нашли мы в саду, в траве, - один тулупчик да три-четыре грязных рубахи.

Совершив руками подвластных ему людей две кражи, враг диавол вновь стал ополчать против меня отца игумена, и начал тот наново преследовать меня. Где тайно, а где явно - угрозами и лаской принялся он восстанавливать против меня ту часть братии, которая была расположена ко мне: опять повторялась, по наговорам казначея, старая история с запрещением бывать у меня кому бы то ни было. Боялись игумен с казначеем, видимо, чтобы я не составил против них братской жалобы высшей власти. Дело дошло до того, что стали запирать сад, а если и отпирали, то в открытую следили и за мной, и за теми, кто входил в сад. Стоило кому-нибудь подойти к моей келье, как, точно из земли, вырастал игумен и спрашивал:

- О чем собрались толковать? - а затем усаживался возле моей кельи и сидел до тех пор, пока иноки сами уйдут, или он скажет:

- Пойдемте-ка! А то велю скоро запирать. Бывало, на вопрос игумена: "Куда идешь?" - иной брат ответит:

- К отцу Феодосию чаишку напиться...

- Ай, у тебя нет? - спросит игумен.

- Есть-то, есть, - ответит брат, - да хочется с ним побеседовать, или там - книг отеческих вместе почитать.

- Ну, - возразит игумен, - зачем к нему ходить? Иди ко мне: ты у меня давно чаю не пил.

И волей-неволей приходилось повиноваться брату. А уж в игуменской келье заводились знакомые речи:

- Ведь вы его не знаете: он не только мошенник, а из мошенников-то мошенник... - и так дальше.

Брат молчал и слушал, а затем со слезами иногда на глазах говорил мне:

- Господи! Да за что они вас так ненавидят?.. Терпи, родимый наш, пожалуйста, не скорби!

Причина ненависти была прежняя: всякий раз, как усиливалась в монастыре, по вине игумена и казначея, распущенность, я шел к игумену и с глазу на глаз, на коленях и со слезами, целуя его руки, умолял его прекратить бесчинство, которое лезло даже в храм, не щадя великой службы Божественной Литургии. Про трапезную и говорить нечего: там не только братия, но даже десятилетние мальчики, родственники некоторых иеромонахов, вынуждались пить сивуху квасными стаканами, особенно в день чьих-либо поминок. Но все мои просьбы оставались гласом вопиющим в пустыне. Когда же в монастыре узнали, что благодетели мои, Лука Алексеевич и его жена, сделали меня своим душеприказчиком по завещанному для нашего монастыря имуществу, то отец игумен стал окончательно гнать меня из монастыря. Сперва принялся он за меня вроде бы советом, говоря:

- Ты видишь, какая здесь братия: иди, пожалуйста, от нас в какую-нибудь пустынь да там и спасайся.

Потом заговорил со мною уже в форме приказания, чтобы я непременно подал

прошение на перемещение меня в Оптину пустынь или в иную обитель:

- Я и братия не желаем, чтобы ты жил в нашей обители, - с гневом говорил мне игумен, - ты не способен, а твой характер невыносимо тяжел для нас.

Я знал, что братия тут не при чем, а моего удаления хотят только он с казначеем, и потому объявил, что из обители без особой причины не уйду. Вне себя от гнева игумен закричал:

- Сказываю тебе: иди, куда хочешь - ты здесь не нужен!

Я ушел, не взвидев света от горьких слез и, придя в свою келью, по малодушию своему, стал просить себе у Господа смерти.

Обессилев от молитвы и слез, я заснул и увидел во сне, что будто я стою на молитве и вдруг вижу, что вся моя келья наполнилась сонмом поющих дивную песнь: "Побеждаются естества уставы в Тебе, Дева Чистая. Действует бо рождество и живот предобручает смерть. По рождестве Дева и по смерти жива спасаеши присно, Богородице, наследие Твое..." И как же это пелось! - того ни пересказать, ни передать человеческим голосом невозможно. Кончилось пение, и видение скрылось, а я проснулся в слезах... И долго-долго звучала в ушах гармоническая мелодия этого сладкого, чудного пения.

С этого дня я положил себе за правило, отходя ко сну, петь до трех раз слышанные во сне слова, стараясь подражать их небесной гармонии.

В тот же день, выйдя из своей кельи, я встретил отца игумена, гуляющего по саду. Увидев меня, он подошел и поклонился мне в ноги, прося прошения за случившееся:

- Живи, молись и за меня! Мало ли чего не бывает... А ты не серчай: горшок с горшком и то сталкиваются, а мы - живые люди. Это все казначей меня смущает.

LX

На время в моей жизни водворилось некоторое успокоение. Но беды, вернее сказать, бесы, отступив посрамленными на одном фланге, повели наступление с другого.

Был в саду монастырском, позади игуменского корпуса, небольшой пруд, и в нем водились караси. Я испросил у отца игумена благословение поохотиться,

когда вздумается, на карасей с удочкой, а из пойманных карасей варить себе уху... Сижу как-то с удочкой на берегу пруда, а позади меня - отхожее место настоятельского корпуса. Вдруг слышу, что со второго этажа корпуса что-то шлепается прямо в выгребную яму. По малом времени опять слышу: шлеп, шлеп, шлеп!.. Меня это заинтересовало. Оставил я на берегу свою удочку, а сам тихонько подошел к выгребной яме и увидал, что на поверхности торчат не потонувшие пучки восковых свечей. Я догадался, что кто-то из игуменских келейных ворует свечи из чулана. Отца игумена в это время дома не было - он отъезжал на монастырский хутор, верст за пятнадцать от монастыря.

На другое утро сижу на крылечке кельи и кормлю своего ворона... Да, я и забыл в своих воспоминаниях про своего друга-приятеля, не один год разделявшего со мною одиночество, а он стоит того, чтобы и ему уделить местечко в летописи моей жизни. Прерву-ка я свой рассказ да поведаю кое-что и о моем пернатом друге.

Когда я еще служил в Лебедяни подвальным и жил в доме Неронова неподалеку от питейной конторы, я не раз просил своего домохозяина, чтобы он мне достал хотя бы за деньги молодого вороненка. Хозяин пообещал достать из гнезда, которое было в строении спальни, но обещания своего не мог исполнить, так как воронята уже слетели с гнезда.

Очень тогда это было досадно, а делать нечего - приходилось ждать следующего лета. Сидел как-то хозяин с женой у себя на крыльце и пил чай, а в это время через двор летели старый ворон со своей самкой и молодыми воронятами. Хозяин возьми да и скажи:

- Вот бы упасть одному вороненку для нашего постояльца!

И при этих словах один вороненок взял да и упал на землю, неподалеку от хозяйского крыльца, и тут же был пойман хозяином. Когда я взял вороненка из его рук, то вся воронья стая долго летала и кружилась надо мною, пока я не унес его домой. Вскоре вороненок так привык ко мне, что летал за мною всюду, куда бы я ни ходил: пойду в подвал, он летит за мною, не боясь залетать даже и в подвальное помещение; а уж в дом - и говорить нечего - он влетал, как в свое собственное гнездо и брал пищу прямо из моих рук. Иногда, плотно покушавши, он улетал на волю, но неизменно возвращался домой на ночлег. Удивительно мне было, когда, бывало, дашь ему несколько кусков сырой говядины, а он возьмет их и спрячет где-нибудь на дворе; а там, смотришь, - прилетает к нему старая пара его родителей, а вороненок разыщет спрятанные куски мяса,

поднимется с ними на крышу и угощает родителей. Любо было смотреть на это проявление в птице детской любви, и как было мне стыдно и больно за детей человеческих, не разумеющих того, что доступно даже и птичьему разумению!

Когда я поступил в монастырь, со мною вместе поступил и мой вороненок, возмужавший и ставший уже добрым большим вороном.

В одиночестве и в скорбях, которыми меня преследовала вражья сила, я привязался еще более к моему другу. Был у меня в Туле знакомый инженер, и он мне прислал для моего ворона серебряных бубенчиков и медаль с выбитой на ней надписью: "ворон отца Феодосия". Я приладил и то, и другое на ворона: медаль повесил ему на грудь, а бубенчики, как у охотничьих ястребов, на хвост и на оба крыла. И когда в таком уборе летел мой ворон, то его слышно было издалека, а отец игумен, бывало, сидит на крыльце и, улыбаясь, говорит;

- Ну, вот, и становой наш едет.

И все смеялись на игуменское замечание.

Иногда мой ворон и проказничал на свой воровской вороний лад: он повадился летать к одному Лебедянскому мяснику и портил у того вывешенные для просушки кожи.

С мясником мы сошлись полюбовно, он обещал не делать вреда моему другу, если я буду платить за убытки. В другой раз он залетел в окно к молодому Лебедянскому квартальному и стащил с окна деловые бумаги, которые тот только что принес от городничего. Квартальный этот незадолго до того женился и, конечно, его больше тянуло к жене, чем к служебным обязанностям. Придя от городничего, он положил на окне бумаги, перевязанные красной ленточкой, а сам пошел в соседнюю комнату пить чай с женой. Все это видел с крыши соседнего дома мой ворон, и когда квартальный ушел, он слетел со своего наблюдательного поста и, схватив на лету за красную ленточку бумаги, полетел с ними в монастырь, где и запрятал их в порожнюю разбитую бочку. Эту сцену заметили соседи, подняли крик, на который прибежал квартальный и послал в погоню за вороном верховых пожарных. Сколько тут было суматохи, сколько всякого гвалту!.. В монастыре всем было известно место, куда мой ворон складывал все, что ему удавалось стащить, и бумаги в целости были найдены в разбитой бочке.

Для меня ворон был большим утешением, даже привязанностью; и пернатый

друг платил мне, как умел, своей птичьей любовью.

Помянув, таким образом, добрым словом моего верного друга, я обращаюсь вновь к прерванному повествованию.

Так вот, когда на другое утро после истории с воровством восковых свечей сидел я на своем крылечке и кормил ворона, пришел ко мне молодой еврей, торговавший вином за монастырской оградой в одной из ближних посадских улиц. Сняв вежливо шляпу, он поклонился мне и сказал:

- Какое прекрасное место, отец Феодосии, вы выбрали себе!.. Мне очень бы желательно было с вами поближе познакомиться. Вы не смотрите на то, что я - еврей: у нас Бог Отец один, и я хорошо понимаю и вашу религию, и все, что касается до монашеской жизни.

Завелась беседа на библейские темы, и мой собеседник, оказавшийся очень начитанным в Библии, попросил позволения зайти в мою келью. В келье беседа продолжалась, под конец мой новый знакомец сказал:

- Батюшка! И между евреями есть люди по жизни гораздо более благочестивые, чем живущие в вашем монастыре послушники из исключенных семинаристов. Вот я вам скажу хотя бы про игуменского келейника, Ивана: он не честен, а ему отец игумен даже вверяет ключи от многих замков в обители, когда отлучается из монастыря. Мне жаль отца игумена - его Иван когда-нибудь так обокрадет, что у него ничего, кроме носильного платья, не останется. Вы только, отец Феодосии, не говорите, что от меня слышали, Ванька ворует у игумена восковые свечи пучками и, срывая с них бумагу, кладет их в чугуны, ставит в печь, а когда воск растает, разливает его в кружки фунтов по семи, и по три, и по пяти. У меня он забирает водкой, а за нее расплачивается воском. Сообщите об этом отцу игумену - тайно, только меня не выдавайте: ведь, Ванька-то не один - у него есть и товарищи по воровству, пьянству и распутной жизни. Если вы выдадите, то они могут жестоко отомстить.

Заручившись от меня обещанием, что о его имени не будет и речи, еврей ушел, выражая мне всяческое уважение и рассыпаясь в благодарностях за ласковый прием.

Вскоре после этого посещения пришел ко мне отец игумен и в разговоре сообщил мне, что у него пропали две бумажки по пятьдесят рублей.

- Я хорошо помню, - говорил игумен, - что я их куда-то положил, но вот искал, искал их и нигде не нашел. Взять их у меня, казалось бы, некому: кроме келейного Ивана, у меня и не было никого.

- А вы, батюшка, - предложил я, - попробуйте-ка так сделать: прикажите заложить лошадь да скажите Ивану, чтобы он знал, что вы об этих бумажках помните: поищи-ка, брат, пожалуйста, их хорошенько - мне сейчас недосужно, а вернусь я, тогда ты мне их и отдашь. Деньги, наверное, найдутся, и вы тогда убедитесь, насколько верен вам любезный ваш келейник.

Игумен так и сделал: съездил в город и, когда вернулся, Иван ему поднес будто бы найденные в Библии деньги. В свою очередь, я, чтобы яснее доказать отцу игумену неблагонадежность его келейного, посоветовал опять куда-нибудь отлучиться и спрятать все ключи, кроме одного - от свечного чулана. По отъезде отца игумена, я сел у пруда ловить карасей, а Иван проделал свою штуку со свечами, как по писаному. Когда возвратился игумен, я раскрыл ему Ивановы штуки и показал в выгребной яме торчащие пучки свечей, набросанные туда его любимцем. Игумен был поражен и вскоре выслал Ивана вон из монастыря, объяснив ему, что это я довел до сведения о всех его мошеннических проделках. Конечно, уходя из обители, Иван пригрозил мне местью:

- Отплачу я тебе, такой сякой! Погоди - будешь ты у меня помнить хлеб-соль! - сказал он мне на прощанье.

Вскоре иду я с конного двора с ведром воды, а бывший келейный стоит у садовой калитки и держит в руках моего ворона. Ворон бьется, кричит, щиплет ему руки, а Иван на моих глазах взял да изо всей силы и ударил его головой о каменную стенку, так что кровью его забрызгал всю стенку, да и кричит мне:

- Вот тебе моя благодарность! Погоди, я тебе и еще отплачу!

Мне и до сих пор еще жаль моего ворона - каково же мне было тогда!.. Прости, Господи, творящему зло и не ведающему, чью он творит волю!..

Был у меня обычай в хорошие лунные ночи выходить на молитву в сад. Хотел я, было, идти молиться Богу на открытом воздухе и в ночь того дня, когда так безжалостно лишили жизни моего пернатого любимца, но на меня напал какой-то небывалый страх. Осенил я себя крестным знамением и не пошел наружу, а наутро пришел ко мне один из братии да и говорит:

- Счастлив ты, что не выходил ночью из кельи - тебя караулили несколько человек, чтобы убить. Пойди-ка, посмотри, какие они по себе следы оставили!

И, действительно, у садовой беседки я нашел на примятой траве разбитые водочные бутылки и четыре короткие, по аршину, дубинки: дожидались меня, стало быть, мои ненавистники, да Бог отвел - не дождались.

LXI

В великих скорбях моих Господу угодно было даровать мне и великое утешение в лице семейства Федотовых: у них находил я во всякое время сердечное к себе сочувствие, они меня поддерживали благим советом, они и воодушевляли к терпеливому несению всякой ниспосылаемой на меня скорби. После тяжелого объяснения с отцом игуменом, когда он решительно объявил, чтобы я выходил вон из монастыря, я был в доме моих благодетелей и, рассказав им о том, что меня выгоняют, как неспособного, малодушно и горько заплакан. Плакали со мной и они, мои незабвенные доброжелатели, и посоветовали остерегаться выходить по ночам из своей кельи, убедив меня приглашать на ночь в сад какого-нибудь караульного. Я и пригласил одного мужика, живущего близ монастыря, по имени Иона, чтобы он приходил ночевать ко мне в сад. Об этом прознал отец игумен и тайно от меня выгнал моего караульщика, а сам, опять возгоревшись ненавистью, порешил сбыть меня из монастыря в архиерейский дом при посредстве своих консисторских хлебосолов и соборного ключаря. Чтобы скрыть свой замысел, игумен с казначеем через консисторских приятелей предварительно устроили вызов в архиерейский дом двоим из нашей обители, чтобы показать мне, когда и меня вызовут, что не со мной первым это делают.

Узнав об этих происках, благодетель мой, Лука Алексеевич Федотов, немедленно отправился к игумену и поклялся своей честью, что, если тот меня чем-либо замарает в глазах владыки или составит против меня какие-нибудь другие козни, то он вслед выедет сам на почтовых к владыке, и тогда уж пусть игумен не гневается - он все расскажет владыке и раскроет перед ним всю их с казначеем подноготную.

На всякий случай. Лука Алексеевич заготовил, было, и письмо к владыке Феофану, но тут Феофана вскоре перевели во Владимирскую епархию, и письмо, хотя и было отправлено, но, за отъездом владыки, оставлено без последствий; кажется, впрочем, более потому, что незадолго перед этим письмом в Тамбовских Епархиальных Ведомостях было опубликовано о награждении

нашего игумена за "примерное управление обителью". То ли еще бывает в век наш!..

Как бы то ни было, а заступничество за меня Луки Алексеевича сделало свое дело, и при новом владыке Феодосии, во время посещения им нашей обители при обозрении епархии, он меня, грешного монаха Феодосия, рукоположил во иеродиакона, во время архиерейского служения в Троицком храме. И совершилось это событие в 1864 году июня в пятнадцатый день.

В тот же день и наш казначей получил набедренник за примерное ведение монастырского хозяйства.

По отъезде владыки слабость монастырского управления достигла высшей степени, и последствием распущенности стало то, что один из наших иеродиаконов в пьяном виде утонул в монастырском пруду. Узнали об этом только тогда, когда усмотрели плавающее тело, а до тех пор - так хороши были монастырские порядки - никому и в голову не пришло справиться, куда пропал целый иеродиакон. Дали, конечно, знать в полицию, началось следствие: приехал частный, но без лекаря, посмотрел с понятыми на вынутый из воды труп, отобрал ото всех показания и, написав акт дознания, велел всем подписываться. Подписался игумен, подписался казначей, приложили братия свои руки без всякого возражения, велено было подписаться и мне. Я видел, что все подписывались, не зная даже, что к чему, так как акт дознания никому не был прочитан, а лист, на котором отбирались подписи, был белый и к делу подшит особо, да и самые показания не были скреплены и прошнурованы; потому я попросил частного, чтобы он мне сперва прочел, к чему я должен был прикладывать свою руку. Конечно для меня после начальства все равно было под чем подписываться, но я хотел, чтобы стала известной причина этого несчастного происшествия: мне важно было, чтобы дознание установило факт пьянства в монастыре, и тогда этой причины смерти иеродиакона нельзя было бы утаить в рапорте преосвященному. Я надеялся, что хоть официальное дознание обратит внимание владыки на бесчинства, допущенные в обители слабым управлением.

Мое несогласие до крайности раздражило как игумена, так и частного. Казначей же стоял в стороне и, видимо, радовался моему ослушанию, уверенный, что за него мне придется тяжко ответить перед светской властью и пасть окончательно в глазах отца игумена. Но мне было все равно: я хотел пожертвовать собой для блага обители.

И поднялась же тут на меня. Боже великий, такая брань, посыпались со всех сторон такие угрозы, что, не будь твердо и обдуманно мое решение, впору было бы бежать без оглядки. Когда замолкли общие крики, выступил против меня и сам частный и, грозно возвысив голос, крикнул:

- Знаете ли вы, кто я? Знаете ли, что я с вами сделаю? Я составлю сейчас на вас протокол и засвидетельствую ваше ослушание законам и власти, а затем предам уголовному суду!

- Воля на то ваша, - ответил я, - делайте, что хотите, но я не подпишусь.

Частный еще более возвысил голос и, как громом, хотел поразить меня словами:

- Именем Государя Императора приказываю вам - подпишите, или я докажу вам силу законов!

Он даже побледнел и задыхался от гнева.

- Не подпишусь! - отвечал я.

- Почему?

- По многим причинам.

- Слышите ли вы и понимаете ли вы, что я вам говорю? - захлебываясь от гнева, кричал частный. - Именем Императора приказываю тебе - подпишись!

- Воля Государя Императора для меня священна, - с твердостью отвечал я, - и за Веру, Царя и Отечество я не пощажу своей крови и даже самой жизни, а подписываться не стану, и вы сами от меня не в праве того требовать, тем более, что вы и следствие-то произвели без соблюдения законных формальностей...

- А в чем именно? А?

- Да вот, в записанных вами показаниях все листы без законной скрепы, а лист с подписями так и вовсе белый и к делу не подшитый: на нем можно написать выше подписей все, даже денежное заемное письмо. И что тогда? Обитель должна будет уплатить лишь потому, что вы заставили отца игумена и всю братию подписаться под листом чистой бумаги - так, что ли?..

Надо было видеть конфуз частного!.. Пришлось-таки ему забрать и переделать все вновь, а взволнованный игумен ушел в свою спальню, ворча во

всеуслышание:

- Вот навязался на нашу шею мошенник! Анафемская душа! Погоди: я покажу тебе форму!

Дознание было переделано, как я хотел, и было в нем засвидетельствовано, что иеродиакон утонул от нетрезвого поведения.

Многих скорбей мне это стоило, но рапортом преосвященному было донесено, что умерший утонул в белой горячке.

Но владыка, получив такой рапорт, безмолвствовал, оставив в обители все по-старому Нет - не по-старому оставалось у нас после того в монастыре, а еще хуже прежнего. Довольно будет сказать, что из Четьи-Миней начали вырывать целые листы для курения табаку, а монастырская власть уже ни на что более не обращала внимания. Правда, ездили к нам и благочинные, но их умели делать и глухими, и немыми. А были среди них и такие, которые возвышались даже до выговора игумену за то, что при выезде их из обители... не трезвонили в колокола!..

LXII

Какая же была причина тому, что так низко падала древняя обитель? Почему было так слабо игуменское управление? В ответе на второй вопрос заключен и ответ на первый.

Игумен наш всех боялся и старался не о порядке в обители, а только о том, чтобы кто-нибудь не составил на него прошения владыке, и не завелось бы дело. Мы видели, каковы они с казначеем: не мудрено было, что они и не щадили никаких денег, лишь бы затушить всякую искру протеста против нестроения в управляемом ими монастыре.

Эта боязнь у них доходила до такого страха, так была всем известна, что некоторые из приказных, исчерпав все источники для выпивки, напишут, бывало, от себя прошение да и придут к игумену, говоря:

- Вот, батюшка, такой-то написал на вас (а иногда, для разнообразия, - на какого-нибудь брата) прошение.

И игумен осыпал их деньгами и запаивал водкой.

"Каков поп - таков и приход", - говорит мудрость народная: оттого и в нашем монастыре за правило было принято отказывать в поступлении в обитель каждому умному и трезвому человеку, зная наперед, что ему не ужиться с братией, большая часть которой состояла из исключенных семинаристов и вдовцов белого духовенства. Еще простеньких мужичков у нас принимали за безответность и как чернорабочую силу, и ими-то, по правде сказать, только и держался монастырь, отвлекая от него кару Божию. А что из себя представлял остальной состав братии, то его можно назвать истинной язвой того монашества, что держалось и могло держаться в монастырских стенах только одной дисциплиной - стаканами сивухи от монастырского начальства, щедро раздаваемыми рукой монастырского начальства, которое и само лишь этой дисциплиной держалось. И творилось это под видом доброты душевной, из жалости будто бы к павшему брату подносилась ему водка и давались деньги на табак. Действительная же цель была другая: начальству, редко бывавшему трезвым, требовалось окружать себя такими людьми, которые сами были бы перед ним в чем-нибудь замараны, а, стало быть, и безгласны. Натворит каких-нибудь штук брат в пьяном виде, а его же еще и одобряют, поднося стаканчик:

- На, опохмелись! Ну, что делать: мы все немощны, все - под грехом!

Но такая система не приносила того плода, какой был бы желателен монастырскому начальству, и пасомые садились на шею своим пастырям, пользуясь их слабостью к тому же пороку: приходили к игумену и казначею в безобразно пьяном виде, требовали вина, денег и ругали их всячески. И все требования удовлетворялись безропотно, можно даже сказать, рабски. Общий порок ставил всех под круговую друг за друга ответственность и творил из них, хотя и безобразную, но тесно сплоченную и дружную семью, умевшую прятать концы в воду и крепко держаться друг за друга, скрывая от постороннего взгляда высшего начальства все, что творилось у них келейно. Наказаний в монастыре не было и в помине: за семь лет я не видал ни разу, чтобы кого-нибудь ставили на поклоны. Да и кому было ставить и кого ставить?

Живущие в монастыре радовались таким порядкам и называли игумена: "душа-человек". Но были и другие, те вместе со мной страдали и плакали. Слезы эти иногда становились известны игумену, но он мало ими смущался, отмахивался и говорил:

- Пускай их, себе говорят, что хотят, а я, хоть лыком шит, да игумен. Они-то говорят, а я свое дело знаю!

Говорить ли о том, что за игумена вся Консистория стояла горой и всегда представляла о нем владыке, как о человеке редкой души, ни на кого еще не подававшем ни одного рапорта. Конечно, консисторские сами хорошо знали, что игумен этого и сделать никак не мог. Один из его приятелей, столоначальник Консистории, недаром советовал ему в минуту откровенности, как рассказывал мне сам игумен:

- Ты подбирай к себе дурачков, чтобы они ничего не понимали!

Можно себе представить, как я был мил игумену, когда приходил умолять со слезами - прекратить монастырское бесчинство!

Кто мог бы подумать, глядя на такое падение истинного монашеского духа, что в то время, как мы стремглав, вниз головою, летели в пропасть, рядом с нами, в семи верстах, росла и цвела Троекуровская Илларионовская женская обитель, а в двенадцати верстах те же женщины, истинные рабы Божий, за молитвами Сезеневского затворника Иоанна, воздвигали не обитель, а лавру?!..

Наш игумен не унывал и все ждал себе наперстного креста, хотя в обители начинали уже разваливаться стены. Мечты эти в нем взрастили и поддерживали члены Консистории, заставлявшие игумена на так называемое просвещение юношества вносить ежегодно четыреста рублей, а то и более. Но владыка почему-то все откладывал награждение, и тогда игумен впадал в уныние и сожалел о своей ошибке. Как-то раз в горести своей он и мне это высказывал.

- И что ж, батюшка, вы не постыдитесь его надеть? - спросил я.

- А что мне стыдиться? Ведь я числюсь попечителем богоугодных заведений.

- А я думал, что вы наперстного креста ждете за уничтожение благочиния в обители, - сказал я, чем привел игумена в каприз.

Я знаю, что меня многие не похвалят за мою дерзость, но им побыть бы на моем месте - жить, видеть и претерпеть всю горечь ненависти и бесчиния в управлении нашим монастырем, чтобы понять, каково было моему сердцу дожить до награждения нашего настоятеля долгожданным наперстным крестом и еще за что? За "примерное управление"!

Кому ведома ревность о Доме Господнем, тот поймет и не осудит меня.

Отче милостивый! Отпусти нам и буди милостив ко всем нам, грешным!

LXIII

Однажды, в праздник Богоявления, после поздней Литургии вся братия, по заведенному порядку, собралась в келью отца игумена "для утешения".

В обителях древних по уставу во дни поста, "прилунившуюся празднику", например, в Николин день шестого декабря, стало быть. Рождественским постом, давалось разрешение на "елей из освященного кадила" для "утешения" братии, то есть позволялось постную пишу готовить на лампадном масле. Конечно, тогда и лампадное масло было не нынешнее, а беспримесное - оливковое, да и братия-то была тогда не наша, Лебедянская.

У нашего отца игумена "утешение" было иное: сперва подавали чай, а потом приступали прямо к водке, которую казначей подносил аж квасными стаканами, не исключая из числа пьющих и малолетних.

Оговорюсь: я так старательно записываю в летописи моей жизни весь ужас нашего монастырского бесчиния для того, чтобы потомство знало, если до него дойдет моя рукопись, что за язва, что за чума для монашества и монастырей белое духовенство, которое, овдовев, принимает постриг по большей части из личных своекорыстных видов. У нас в монастыре это сословие было господствующим. Горе той обители, которая его принимает в число братства без предварительного продолжительного искуса! Чтобы решиться его допустить в монастырь, нужен искус гораздо более продолжительный и тяжкий, чем для простых мирян. Во всю мою продолжительную монашескую жизнь я как редкость великую видел кого-либо из монашествующего белого духовенства, кто, достигши начальствования, не привел бы к упадку вверенной ему обители. Над столпом монашества - старчеством - эти люди смеются, отеческие книги с трудом разбирают, к послушанию не способны, жаждут "кружки", к трудам - последние, а на "поминах" - первые.

Конечно, были и будут и из них иноки высокой, подвижнической жизни и образцы монашеского смирения, но такие - исключение, которое лишь подтверждает общее правило...

Возвращаюсь к игуменскому "утешению". Когда начали пить чай, в другой комнате, где сидела младшая братия, ставили закуску на разных тарелках: икру, рыбу, селедку и прочее. Не успел келейник расставить все это и отойти, как

послушники и монахи мгновенно бросились к закускам, давя друг друга, что-то запихивая в рот, что-то засовывая в карманы. Поднялся крик, шум, ругательства; закуску стали вырывать из рук друг у друга...

Не вытерпел я и шепотом сказал казначею: - Удивляюсь, батюшка, вашему молчанию: почему бы вам не сказать двух-трех слов и прекратить подобное бесчинство? Ведь и у свиней, как пишет один святой отец, есть свой порядок, а тут - взгляните, что делается: ведь это - кабак!

Боже мой, что сделалось с казначеем! Он так толкнул от себя чашку с чаем, что весь чай разлился по столу и потек на пол. Как сумасшедший, вскочил он из-за стола, глаза его засверкали, как два угля, казначей побледнел и с пеной у рта, как бешеный, брызгая слюной, подскочил ко мне и закричал не своим голосом:

- Как ты смел мне это сказать? Кто ты? Что ты меня учишь? А! Что же это за диавол навязался на нашу шею!

С этими словами он выскочил в залу, где сидел отец игумен, и начат ему и всей старшей братии кричать, что я всех их ругаю бесчинниками, нарушителями отеческого благочестия...

- Вот он какой мошенник! - не унимался казначей, - вот он как отзовется о нас каждому встречному и поперечному! Что вы на него смотрите? А вы, отец игумен, дозволяете всякому мальчишке, щенку, у которого материнское молоко на губах не обсохло, говорить такие дерзости в глаза! И мало того, дозволили ему поселиться в саду; а ему не только в саду, и в обители не должно быть места. Напишите на него рапорт да и выпроводите вон из монастыря: пусть поживет в Сарове, или в Оптиной - там соблюдается для подобных благочиние на дровяном дворе!

Я дал ему излить всю накипевшую против меня злобу, вышел на середину залы и стал объяснять, что было в действительности, но казначей не давал мне говорить и все кричал:

- Какие мы бесчинники, мошенник ты этакий? У нас древнее благочестие. Погоди, брат, мы тебе хвост выщипим!

Насилу игумен уговорил его помолчать и дать мне высказаться. Я встал на колени среди залы и ко всем присутствующим обратился со слезной мольбой ради Христа, ради Богоматери, ради всех святых пресечь, наконец, силою

предоставленной игумену власти, бесчинство если не во всем монастырском обиходе, то хотя бы в храме, в трапезе и в игуменских покоях. Я не плакал, я - рыдал, валяясь у них в ногах, но они все... безмолвствовали. Казначей бросался, было, меня ругать, но ему отец игумен приказал молчать, и он ушел в другую комнату, озираясь на меня, как зверь, грозя пальцем и приговаривая:

- Погоди, брат - мы у тебя хвост-то повыщипим: будешь знать, как учить старших!

На том дело и кончилось. Но спустя некоторое время, когда я шел с игуменского "утешения" в сад, казначей кликнул меня к себе в келью и, к удивлению моему, стал просить прошения:

- Прости, пожалуйста, и не серчай, что я тебя оскорбил. Это я ведь нарочно сделал, чтобы возвысить в других мнение о управлении нашем: надо же было услужить игумену. Что, брат, делать - человеки! Я и сам вижу, что хуже некуда; но ведь это не от меня. А ему хоть не говори, он-то и виной всему своевольству. Ты правду говорил и правильно все заметил, но что же я-то буду делать, о, Господи!.. Если бы ты, брат, знал, как я сам об этом в душе скорблю! Но что поделаешь, когда у нас игумен - колпак... Прости ж и не серчай!

- Бог вас простит, - отвечал я в полном недоумении от его речей, а казначей все твердил:

- Глаза бы мои на все это не глядели, да ничего не поделаешь!

Слава Богу, что мы мирно расстались и тем закончили печальное столкновение.

Но мира истинного с окружающей меня обстановкой и людьми в Лебедянском монастыре у меня так и не было до конца совместного жития моего с лебедянской братией.

LXIV

Падала наша обитель не по дням, а по часам - и материально, и нравственно. Все мои старания помочь ей нравственно подняться разбивались, как о стену горох. Попробовать бы ей чем-нибудь помочь, подумал я, хоть материально-то, и первое, что привлекло мое внимание - был фруктовый сад, столь близкий моей келье и, понятно, потому и моему сердцу. Сад наш старел, а варварское к нему отношение власть имущих насильственно сокращало его старые и

многоболезненные дни: его рубили на дрова для нужд монастырских. Была у монастыря верстах в пяти своя роща - дуб и береза, но по бесхозяйственности часто случалось, что летом не было дров даже для варки пищи, и это - не от экономии, а по простой распущенности: у нас лес целыми сотнями дарили посторонним нужным людям в город; братия зимой так топила печи, что растворяла, как летом, и окна, и двери, а на лето запасу дров у нас частенько и вовсе не оставалось даже для трапезы. Повар поищет, поищет дров да и идет к игумену: дров нет, а тот пошлет его в сад и скажет:

- Поди в сад и поруби там сухих вишен.

Придет повар в сад, или не найдет сухого вишеннику, или искать не станет и с досады принимается рубить здоровые яблони.

Случится мне это увидеть, я кричу:

- Что ты это, брат? Бога ты не боишься: можно ли рубить хорошие плодовые деревья!

А он вместо ответа пустит площадное ругательство и прибавит:

- А ты что за птица - игумен что ли? Где ж мне взять дров-то? Время нечто ждет - мне обед варить надо!

Раз такой случай был на глазах Троекуровской игуменьи, матушки Макарии, вышедшей со мной в сад на прогулку. И удивлялась же она, глядя на наши порядки!..

На монастырской земле, за гостиницей, была удобная земля и довольно пространное место. О нем еще и раньше благодетель обители. Лука Алексеевич Федотов, говорил игумену, как о месте, годном для разведения сада, но сказанное доброе слово, по заведенному у нас обычаю, было основательно позабыто. И решился я напомнить игумену благом совет Луки Алексеевича.

Нетерпеливо выслушал мое предложение игумен и воскликнул:

- А мне какая нужда рассаживать для других - дети они мои, что ли? Что я им - лакей разве?

- Неужели вам, батюшка, - сказал я, - неприятно теперь гулять в саду, посаженном, - спаси его, Господи! - игуменом Никоном, пользоваться весь год

плодами да еще получать аренды больше чем двести рублей в год?

- Да, оно, конечно, хорошо! Только вот трудов много, да к тому же и денег, а где я их возьму?

- Зато, батюшка, поблагодарит вас потомство, когда будет отдыхать под тенью деревьев, вами посаженных, и пользоваться их плодами.

- Нужна мне очень его благодарность! Я уж тогда буду в могиле.

- Зато имя ваше не умрет в памяти благодарных сердец.

- Вот, чудак! Да ведь на это деньги, нужны да и народ.

- Денег немного нужно: сотня самых лучших трехлетних яблонь стоит пятнадцать рублей.

- Ну, что ж! Хватись-ка, ан рублей сто и надо? Да еще не отделаешься... да надо садовника, да надо поливать... А кому это? Для кого?.. Захотят, так сами и насадят. Поди-ка, нужно очень? Есть сад - чего еще?

- Сад этот, батюшка, уже устарел: вы видите, что деревья стали сохнуть, да и мороз их зимой крепко побил.

- Ну, брат, вот когда ты будешь игуменом, тогда и насадишь, а у меня для этого денег нету!

Так отрезал мне игумен и уже хотел, видимо, прекратить разговор, но я не отставал.

- Неужели, батюшка, - остановил я его, - вам жалко для столь полезного дела ста рублей? Ямки покопать и поливать мы можем братией сами - вы только благословите - и многие с радостью примутся за дело.

- Тебе говорят, - выказал уже некоторое нетерпение игумен, - говорят тебе, что денег нету. Ну, что ты пристал? Эка, подумаешь, попечитель какой: за двадцать лет вперед думает! Не твое это дело - ступай, внимай себе: без тебя обитель четыреста лет стояла: и тебя не будет, останется стоять. Надо на это сперва приготовить деньги.

- Да вы, батюшка, вот уже три года готовите, а все говорите денег нет...

Я чувствовал, прости Господи, что в моем сердце закипело негодование и, каюсь, дальше я в разговоре не сдержался и вышел из пределов, дозволенных в обращении монаха со своим игуменом.

- Денег нету! - продолжал я. - Посылая сборщиков говорили, что это на возобновление Покровского иконостаса. Они более полторы тысячи рублей уже собрали, а иконостас все тот же... К слову пришлось, так уж простите, скажу вам горькую истину: вам с казначеем мало в год пятиста рублей пропить, а на сад ста рублей нет. Грех вам, батюшка! Благословите: я на свои деньги насажаю и все сделаю, что нужно будет для разведения сада.

- Мало бы ты чего ни сделал, да не велят. Когда будет твоя воля, тогда и сажай! А теперь ступай вон, дерзитель, - я хоть лыком шит, да игумен.

На том и кончилась наша беседа и, несмотря на мою дерзость, мы разошлись довольно мирно. Спустя некоторое время, встретились мы как-то с игуменом в саду, он вспомнил наш разговор и заметил:

- А ты, брат, тово - меня тот раз обидел - можно ли так говорить начальнику: вам с казначеем пятиста рублей мало в год пропить?..

- Простите, батюшка, но, ведь, это правда.

- Мало ли что правда, да всего говорить нельзя, а тем более начальству.

- Вам, - сказал я, - прискорбно слышать о том, что вы делаете; а каково смотреть на то, что вы делаете?!.. Не делайте, и не будут говорить, а то хоть кого горе возьмет - простите!

Игумен промолчал. Мы и на этот раз с ним расстались благодушно, хотя и не пришлось договориться до дела.

Но, видно, пришло время новому саду быть: однажды мы были вместе с отцом игуменом в доме Луки Алексеевича Федотова и пили чай. Я опять, по предварительному уговору с Лукой Алексеевичем, завел разговор о саде и вместе мы, что называется, прижали отца игумена к стене, и он, наконец, дал свое благословение начать посадку с тем, чтобы мне посадить двести яблонь. Луке Алексеевичу - сто пятьдесят и отцу игумену - сто пятьдесят: всего, чтобы было пятьсот корней.

Стояла уже поздняя осень, и порядком похолодало. Добрый и благороднейший

Лука Алексеевич на другой же день приехал к нам в монастырь, чтобы разбить места; были привезены и саженцы. Но и тут отец игумен, тайно убеждаемый казначеем, распорядился, было, выгнать из сада уже нанятых рабочих под предлогом, что уже, дескать, и поздно и холодно.

- Что вы делаете, - нашептывал ему казначей, - ведь, он (то есть я) вам совсем на шею сядет: вы думаете, что посадку сада вам припишут? Не вам, а все ему. Не будь его, скажут, не было бы и сада.

Казначейские козни, однако, не выгорели и, глядя на уже сделанные затраты и привезенные деревья, отцу игумену пришлось, хотя и скрепя сердце, дать свое благословение на посадку. И было посажено не пятьсот, а семьсот штук плодовых деревьев.

Не обошлось и без скорби: некоторые саженцы яблонь по ночам вырывали с корнем и тут же бросали, поломанными, а несколько штук, как потом узнали, стащили в корчму и в город к приятелям и продали, в чем и были уличены купцом Чурилиным. Но как бы то ни было, в два-три года насадили более тысячи деревьев, и все они, благодарение Богу, принялись, несмотря на то, что и сажали их поздно, и уходу за ними почти не было. Когда, например, напоминали отцу игумену:

- Надо бы, батюшка, полить посадки. Он неизменно отвечал:

- Это еще на что? А как же лес-то растет?..

Стал возрастать наш сад. Я, бывало, иду полюбоваться, и слышу, как отец игумен или кто-нибудь из братии мне вслед полушепотом говорят:

- Вон новый игумен пошел в свой сад... Самозванец!

Но то дивно, что с сего времени братия стала стыдиться при мне бесчинствовать и, случалось, что идешь в трапезу к обеду - там чистый базар с казначеем и игуменом во главе, - а меня увидят и предваряют друг друга:

- Тише - Феодосии идет!

И все придет в порядок; а некоторые иеродиаконы и даже иеромонахи стали при встрече со мной неожиданно снимать шапки.

LXV

Жил в числе лебедянской братии один иеромонах из вдовых священников, отец А. Кончил он курс богословских наук далеко не из первых учеников, но по протекции выпало ему, когда уже был монахом, стать учителем латинского языка в первых классах Лебедянского духовного училища, впоследствии переведенного в город Липецк. Никогда этот иеромонах не соглашался служить соборне, если с ним вместе служил казначей: казначей тоже учился когда-то в семинарии, но дальше риторики не пошел, а при соборном служении ему надо было стоять первым по игумене - так вот это-то и нетерпимо было для нашего богослова. Бывало, совершает он уже и проскомидию, а как узнает, что будет служить с игуменом казначей, то бросит и проскомидию, снимет с себя облачение и скажет:

- Что-то мне нездоровиться. И уйдет вовсе из храма.

Долго ему в его местничестве уважения не было, потому в торжественные дни он никогда не служил, ни за что не соглашался выйти на соборный молебен, твердя одно:

- Чтобы мне да стать ниже казначея! Этого я себе никогда не дозволю: я выше его - пусть еще до моего доучится.

Так и держал он свою линию, пока не сошлись они на чем-то с казначеем, и тот не уступил ему своего места. И стал наш отец А. на первое место по игумене; надо было видеть поступь его, взоры, весь вид его, которым он каждому как бы внушал: смотри, де, кто я - я выше казначея!.. У этого иеромонаха была привычка, во время совершения проскомидии, спихнуть с тарелочки Богородичную просфору, а на ее место поставить свою частную заздравную. Служил я раз с ним и, когда он это сделал, я молча снял его просфору с тарелочки и поставил на жертвенник, а Богородичную возвратил на подобающее ей место на отдельной тарелочке, в честь Пречистой устроенной. Взглянул на меня иеромонах, взял свою просфору и вторично поставил на место Богородичной. Скорбно мне это было, но чтобы не возмущать его духа, я смолчал и сделал вид, как будто не заметил.

В другой раз то же повторилось, но уже при отце игумене, который стоял в алтаре близ жертвенника. Я молча снял частную просфору, а Богородичную поставил на свое место. Иеромонах мой, смотрю, тотчас взял свою просфору и поставил рядом с Богородичной. В это время я кадил в алтаре. Окадивши алтарь,

я подошел к жертвеннику и увидел, что его просфора стоит на самой середине тарелочки, а Богородичная свесилась с тарелочки и одним краем лежит на жертвеннике. Скорбно мне стало за такое неуважение к имени Той, в Чье имя вынимается эта просфора, и я снова, молча, вернул ее на середину тарелочки, а частную просфору иеромонаха поставил на жертвенник. Побледнел мой иеромонах, так и затрясся от гнева. Грозно взглянул на меня и сердито вопросил:

- Ты учить меня что ли хочешь?

Я поклонился и ответил:

- Простите, батюшка, я не дозволю себе учить вас, а просто ставлю Богородичную просфору на уготованное ей место.

- То-то - я вижу! - буркнул он и опять поставил свою просфору рядом с Богородичной.

После Литургии, когда прочтены были благодарственные молитвы, я принял от него благословение и, не вытерпев, сказал:

- Простите, батюшка, но вы оскорбляете мои религиозные чувства: для чего вы так небрежно позволяете себе спихивать с тарелочки просфору в честь и память Преблагословенной и на ее место ставить свою частную? Если вы это делаете неумышленно, то да не вменит вам Господь сего во грех; если же вы творите это с умыслом, то вот здесь, у престола благодати говорю вам, что накажет вас Господь.

Сконфузился иеромонах, а я продолжал:

- Простите, вы более от меня этого никогда не услышите, а будете делать по-старому, я безмолвно буду скорбеть об унижении Той, Ее же молитв Святая Церковь просит, чтобы Господь принял бескровную жертву в пренебесный и мысленный жертвенник. Ныне вот, в последний раз я вам это говорю, и от вас теперь будет зависеть утешать меня, или продолжать оскорблять мои чувства. Но не забудьте, что Бог поруган не бывает. Простите меня!

И я поклонился ему.

Он так сконфузился и растерялся, что не знал, что мне и отвечать, а спустя некоторое время сам пришел ко мне в келью чай пить и старайся оправдаться,

говоря:

- Это я ведь для того так делал, чтобы кто-нибудь не взял моей просфоры.

А выходя из кельи и благословляя меня, он добавил:

- Ревнив ты, отец Феодосии, как огонь, и нас воспламеняешь уважением к святыне! Это хорошо. Дай Бог тебе!

- Помолитесь, батюшка, - сказал я, кланяясь в ноги, - чтобы буяя моя ревность не вменена была мне в осуждение.

И мы мирно расстались.

LXVI

Хотя и стали многие в монастыре относиться ко мне с некоторым как будто уважением, но скорби от братии и от начальства меня не оставляли: расчистишь, бывало, зимой дорожку от своей кельи, глядь - за ночь монастырская молодежь возьмет мне да кучками в рядочек и понасажает своих следов, так что, не очистив, и не пройти. Во время служения мне старались подать самое плохое облачение... Были мне подарены одним лицом дорогие атласные поручи - на них испортили кресты, кинули их в сырое место, испятнали какими-то рыжими пятнами и порвали. На мой вопрос: "Кто порвал?" - получил ответ: - "Мыши поточили".

Отец игумен, зная, что поручи мои испорчены, всякий раз, как служил со мною, не без ехидства приказывал пономарю:

- А отцу Феодосию положи поручи, ему подаренные...

Еще с поступления в монастырь я положил себе за правило, испросив на то моему недостоинству благословение духовного отца, еженедельно исповедоваться и причащаться Святых Тайн; когда же меня рукоположили в иеродиаконы, то по совету и благословенью великого моего старца, Амвросия Оптинского, я обязательно чреду своего служения отправлял с правилом, то есть с приготовлением. Мое недостойное усердие и послушание старцу, конечно, стало ненавистно врагу моего и общего человеческого спасения, и он не замедлил и тут воздвигнуть на меня свою брань, действуя на сослужащих со мною иеромонахов. Доходила эта невидимая брань иногда до того, что

иеромонахи стали во время Богослужения смущать мой дух:

- Что ты? Ангел что ли, или Серафим Саровский? Кого ты из себя корчишь? Великого что ли из древних?.. Ханжа ты этакий!..

- Я не могу с тобой служить, - говорил другой, бледнея от гнева, - ты дух мой смущаешь...

И эти слова я слышал из уст того, кто во время их произнесения умывал руки и читал молитву: "Аз же незлобием моим ходих"...

- Простите, батюшка, - просил я, - вникните в слова произносимой вами молитвы - можно ли с такими словами на устах изливать свой гнев на брата и сослужителя? За что? Только за то, что я служу с правилом?..

- Что ты учителем хочешь мне быть? А? Святоша этакий... Вот навязался на шею!..

Со мной старались даже избегать "входной", и когда я говорил:

- Что же, батюшка, вы меня не подождали минутки?

Мне в ответ злобно молчали, или разражались невероятной бранью. Особенно преследовал меня один иеромонах, отец М., и однажды он не захотел даже преподать мне Тела и Крови Христовой, но в это время в алтаре стояли иеромонах Н. и казначей, и из них первый, увидав неправильное действие иеромонаха М., подошел к престолу и заметил ему:

- Что это вы делаете?

Казначей же молчал. Тогда заступник мой, повысив голос, сделал служащему еще более резкое замечание, на которое пришлось отозваться и казначею, и он, в свою очередь, подойдя к престолу, вынужден был сказать:

- Преподайте: ведь, иеродиакон-то готовился, кажется...

Только тот поймет меня, кто на себе и в моем положении испытал подобные искушения вражьи.

Помянутый иеромонах до того дошел, наконец, что перед началом Богослужения когда я подходил к нему брать благословение, он с места спрашивал меня:

- Ты опять с правилом?

- С правилом, батюшка!

Иеромонах прямо вон из себя выходил от гнева, отталкивал меня и не давал благословения.

Такой образ его действий вынудил меня обратиться к отцу игумену с просьбой, чтобы он при всей братии потребовал от иеромонаха объяснений, так как поведение его не столько обижало меня, сколько нарушало учение и правила Святой Церкви. Игумену пришлось исполнить мое законное требование. Хотел, было, иеромонах уверить братию и игумена, что я - бесстыдный лжец и оболгал его, но тут же, при всей братии, был сам изобличен во лжи иеродиаконами Арсением и Гедеоном, которые мою правоту торжественно удостоверили при всем соборе. И было иеромонаху посрамление великое.

Великий мой старец, Амвросий Оптинский, советовал мне выбрать удобное время и предложить отцу игумену, не благословит ли он - мне вступить на круглый год в чреду ежедневного служения ранних Литургий с тем, чтобы прочие иеродиаконы чередовались в служении поздней, если только на это последует согласие самих иеродиаконов. Иеродиаконы все согласились с радостью, и я, получив благословение игумена, вступил в отправление чреды годичной.

Прошло всего только три недели со вступления моего в чреду, а уж враг научил казначея позвать к себе одного иеродиакона из белого духовенства и подпоить, а подвыпившего уговорить, чтобы он заявил претензию против моего ежедневного служения. Но недолго продолжалось это искушение: этот иеродиакон во время трапезы сам покаялся мне в своей вине, объяснив откуда были ему подговоры. Я пошел к казначею и спросил его:

- Что, батюшка, препятствует вашему спасению в моем служении? Зачем вы научили диакона не допускать меня к служению ранних?

Казначей изменился в лице и гордо, громко и грозно спросил меня:

- Какой тебе диавол сказал это?

- Не диавол, батюшка, а диакон сказал это мне в трапезной при братии, объяснив, что вы просто приказали не давать мне служить. Сколько я терпел и терплю от вас, но не могу терпеть, что вы меня безвинно лишаете, да еще против

игуменской воли, радости служения Господу. Бог вам - Судья!

Казначей бросился ко мне с криком и, подняв руку, вероятно, чтобы дать пощечину, но, к счастью, на крик его вошел отец игумен, и ударить меня не пришлось. Тогда он накинулся с криком на отца игумена:

- Что вы на него, мошенника, смотрите? - выкрикивал он, как безумный. - Теперь он меня обвиняет, а завтра, доберется и до вас!

И с этими словами он бешено выскочил вон из кельи, а отец игумен повел меня в свои покои и там сказал:

- Оставь их: ты видишь, они, как звери на тебя нападают. Не знают они ничего, а я-то верю, что ты из ревности по Бозе желаешь служить. Ну, что делать - потерпи! Вот поеду в Тамбов с годовыми отчетами, возьму тебя с собой и произведу во иеромонахи. Ты только молчи, никому об этом не сказывай.

Я поклонился ему в ноги, а он опять, меня благословляя, сказал:

- Бог, де, благословит тебя, а я желаю, чтобы ты был иеромонахом.

Тут вошел казначей. Я и ему поклонился в ноги, прося прошения за то, что смутил дух его своим обличением.

- Бог тебя простит, - ответил он, - а я прощаю. Смотри ж, не поминай сего более никому.

И был на сей раз посрамлен враг-диавол. О, если бы люди жили более духовной жизнью и ведали бы все козни его! Как бы тогда жилось им на свете!..

LXVII

Но недолго продолжался мир души моей: вновь заработала незримо вражья сила... Поступив в монастырь, я не мог оставить Оптинского старчества, видя в нем и вообще в старчестве единый путь, с помощью благодати Божией, к монашескому спасению, и потому каждый год два раза к седьмому декабря и к восьмому мая ездил на совет к старцу моему, великому иеросхимонаху Оптиной пустыни отцу Амвросию. Конечно, близкое моему духу старчество не было пощажено лукавым духом, воздвигавшим на него хулы и насмешки, больно отзывавшиеся в моем сердце.

- И что это такое за старчество? - говорил отец игумен, - и кому оно в наше время нужно? Еще в прежние времена - куда ни шло, а теперь на что оно, когда ныне всякий знает как жить? Ну и живи, как знаешь: на то и ум Бог дал каждому, чтобы им руководиться. Хорошо быть старчеству в древние времена в Палестине для простонародья, не знавшего грамоты: ему нужны были руководители. А нынче всякий ребенок не менее иного старца знает. Ходи в церковь да молись Богу - и все тут.

А наши ученые монахи, из "белых" богословов, прибавляли:

- Ныне свет учения всех озарил: держись учения Евангелия и заповедей - вот тебе и старчество. Все это вымыслы людей невежественных, прежних времен, а ныне я сам напишу поумнее многих старцев.

Тяжело и больно было мне слышать такие речи, а еще ужаснее было видеть и жить среди плодов таких самочинных суждений: много к нам приходило в обитель из мира юных сердец с горячим расположением и ревностью к подражанию житию святых отец и пламенной любовью к Богу, и - что же? В скором времени без духовного руководства, без старческого окормления их духовно неудовлетворенной, жаждущей души, они охладевали в своей ревности и не только делались неспособными к жизни иноческой, но становились не только в прямое отягощение миру, куда они устремлялись обратно из обители, но и самим себе. Да и те, которые удерживались в обители, мы уже видели, во что они обращались без старчества. И это была та самая соль земли, о которой говорил Спаситель, но соль, терявшая в своем самочинии силу и становившаяся годной только... на попрание миру...

Скорбно мне все это было, и я сражался, как мог и чем мог, с хулителями старчества, но в ответ сыпались насмешки, злоречие, оскорбления... Называли меня ханжой, святошей, лицемером, ненавидели меня, и ненависть ко мне переносили на тех из братии, кто был ко мне близок, и даже мстили им.

Но не были они виноваты, а виноват был в гонениях, на меня воздвигаемых, все тот же исконный человекоубийца, действовавший в них прикровенно так, что они, по привычке, уже и не замечали его козней. А старчество так нестерпимо и опасно лукавому духу, что, по авве Дорофею, он ненавидит Не только самое наставление старческое, но даже звук голоса, его произносящего, ибо знает, что "спасение есть во мнозе совете, а имже несть управления, падают аки листвие".

Что же за орудие такое для спасения души человеческой это старчество? -

спросит меня, быть может, тот, кому достанется, если Богу угодно, разбирать мою рукопись. Но не моими малограмотными речами отвечать на возможные вопросы, отвечу я словами и писанием мужей ученых и богомудрых: отшельника скита Оптиной пустыни отца Климента Зедергольма, известного ревнителя Православия и писателя К. Н. Леонтьева, самых богомудрых старцев Оптинских и, наконец, светильника Русской Церкви епископа Феофана, затворника Вышенского.

Вот что пишут они о старчестве.*

---

* Далее цитируется книга, составленная отцом Климентом Зедергольмом: "Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва)", изд. Козельской Введенской пустыни. Одесса, 1890, сс. 19-22.

Переход отца Леонида в Оптину пустынь замечателен тем, что им введено и упрочено в этой обители так называемое старчество. Этот основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении образ монашеского жития, в наше время пришел в такое забвение, что о нем не лишне сказать несколько слов.

Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных детей к своему духовному отцу, или старцу.

Преподобные Климент и Игнатий в Добротолюбии выставили пять признаков такого искреннего духовного отношения: 1) полная вера к своему наставнику и предстоятелю; 2) истинно - истинствовать перед ним в слове и деле; 3) не исполнять ни в чем своей воли, а стараться во всем отсекать оную, то есть ничего не делать по своему желанию и по своему разумению, а всегда обо всем вопрошать и делать по совету и воле наставника и предстоятеля; 4) отнюдь не прекословить и не спорить, так как прекословие и спбрливость бывают от рассуждения с неверием и высокомудрием; 5) совершенное и чистое исповедание грехов и тайн сердечных (Добротолюбие, т. 5. Наставление безмолствуюшим в сотне глав, гл. 15). "Прельстишася, - говорит святой Иоанн Лест-вичник, - возложивший упование на самих себе и возомнивший не обретати нужды в руководителе" (Лествица. Слово 1, глава 7). "Якоже корабль, имеющий искуснаго кормчаго, благополучно, Божиим содействием, входит в пристанище: тако и душа, имущая добраго пастыря, удобно на небо восходит, хотя бы прежде

и много зла соделала. Как идущий по неизвестному пути без путеводителя удобно на оном заблуждает, хотя бы был и весьма разумен: тако и путь монашества самовластно проходящий удобно погибает, хотя бы и всего мира сего премудрость знал" (Лествица. Слово 26, главы 236 и 237).

"Кто идет (иноческим путем) самочинно, без евангельского разума и без всякого наставления, - говорит Марк подвижник, - тот много претыкается, впадает во многие ямы и сети лукавого, и во многие впадает беды, и не знает, какой конец получит... Ибо многие прошли путь свой подвижничеством и злостраданиями, и многие труды претерпели Бога ради; но самочиние, нерассуждение и то, что они не искали от ближнего наставлений, соделало таковые труды их тщетными" (Добротолюбие, т. I. Послание к Николаю иноку, гл. 10).

"Невозможно кому-либо самому научиться художеству добродетелей, хотя некоторые пользовались своим опытом, как учителем. Ибо самому по себе, а не по совету преуспевших действовать - самомнение порождает", - говорит святой Григорий Синаит: - "Если Сын ничего от Себя не творит, но как научил Его Отец, и Дух глаголати имать не от Себя, то кто помыслить может, что достиг такой высоты добродетели, на коей не имеет нужды в чьем-либо тайноводстве? Безумие паче нежели добродетель имеющим окажется таковый в самопрельщении" (Добролюбие, т. 5, О безмолвии и молитве, гл. 15).

"Впрочем не всех вопрошать надо, но одного того, кому и других управление вверено, кто жизнию блистает и кто, будучи беден, многих богатит, по Писанию (2 Кор. 6, 10). Многие неопытные повредили многим неразумным, за коих суд приимут по смерти. Ибо не всем надлежит руководить и других, но тем, коим дано Божественное рассуждение, по Апостолу, рассуждение духов (1 Кор. 12,10), отсекающее лучшее от худшего мечом слова. Каждый имеет свой разум и свое рассуждение естественное, деятельное или научное, но не все имеют рассуждение духовное. Почему премудрый Сирах и говорит: "Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим - один из тысячи" (Сир. 6, 6). "Не мал же труд найти руководителя незаблудного ни в делах, ни в словах, ни в разумениях. Незаблуден ли кто, узревается из того, если он имеет свидетельство от Писания и на деяние, и на разумение, смиренномудрствуя в том, о чем можно мудрствовать. Ибо немалый труд постигнуть истину явно и чисту быти от того, что противно благодати, потому что диавол обычай имеет, особенно для новоначальных, представлять под видом истины прелесть свою, преображая лукавое свое в духовное" (Добротолюбие т. 5. Святой Григорий Синаит.

Наставление безмолвствующим, гл. 7. О прелести).

Духовное отношение требует от руководимых, кроме обычной исповеди перед причащением Святых Тайн, и частого по потребности исповедания старцу не только дел и поступков, но и всех страстных помышлений, движений, и тайн сердечных, как о сем говорят (Добротолюбие т. 5. Деятельные и богословские главы, гл. 15-17) святые отцы*

---

* Желающие иметь более подробное понятие о пути старчества, да прочтут: Василия Великого слова о подвижничестве и правила пространно и кратко изложенные, части 5, 6; св. Иоанна Лествнчника слово 4 и слово к пастырю; преп. Аввы Дорофея слово 5 : преп. Феодора Студита огласительные слова, в особенности: 2, 4. 8. 9, 10. 12, 17. 26, 29, 46, 47 и 95: Симеона Нового Богослова главы 15-19, 38-44 (Добротолюбие т. 5); Каллиста и Игнатия главы 14 и 15 (Добротолюбие т. 5): преп. Касснана Римлянина о рассуждении с советом опытнейших (Добротолюбие т. 2); св. Феодора Едесского, главы 40-46 (Добротолюбие т. 3): а также сборник писем иеросхимонаха Макария, особенно части 4, к монахиням.

"Заповеди Христовы, - говорит авва Дорофей, объясняя значение монашества, - даны всем христианам, и всякий христианин обязан исполнять их: они, так сказать, должная дань царю. И кто отрекающийся давать дани царю избег бы наказания? Но есть в мире великие и знатные люди, которые не только дают дани царю, но приносят ему и дары; таковые сподобляются великой чести, великих наград и достоинств. Так и отцы: они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии суть: девство и нестяжание. Это не заповеди, но дары; ибо нигде не сказано в писании: не бери жены, не имей детей. Так же и Христос, говоря: "продай имение твое" (Мф. 19, 21) не дал этим заповеди; но, когда приступил к нему законник и сказал: "Учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследую", - Христос отвечал: "Ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй на ближнего своего" и проч. Когда же тот сказал: "Сия вся сохранил от юности моея". Господь присовокупил: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим" и проч. (Мф. 19, 21). Он не сказал: продай имение твое, как бы повелевая, но советуя, ибо слова: "аще хошеши" не суть слова повелевающего, но советующего" (Поучение первое аввы Дорофея об отвержении от мира).

Христианство далеко от нынешнего учения земных удобств и земного благоденствия. В основании своем оно есть безустанное понуждение о Христе; и

все наши добрые качества, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу плоти и духа, суть ничто иное, как дары Божий. Заслуги только в вере, в покаянии и смирении; все невольно хорошее в нас, все естественно доброе, есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухости сердца и равнодушию ума, идет христианин в церковь, или дома становится на принудительную молитву, это выше, с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая... Такая приятная молитва есть дар, награда, милость. Это не наше, это Божие. Наши только вера и смирение, то есть презрение к себе и благодарение Богу за все, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни.

Один добрый принудительный поступок человека жестокого или холодного (по данной ему. без вины его, натуре) ценнее в глазах Церкви, чем многие милости и многие щедроты по природе добродушного и щедрого человека. Симпатичнее нам, людям, будет, конечно, этот последний; мы можем только признать, что ему отпущен такой высокий дар благодати; но один хлеб, брошенный нищему скупцом Петром-мытарем ценится, по учению Церкви, более, чем самая привлекательная (в житейском смысле) щедрость расточительного по нраву человека. Возьмем другой пример. Мария Египетская была страстная по природе женщина; она не искала даже мзды за те грешные удовольствия, которые доставляла людям ее красота. Она не по природному темпераменту стала чиста и строга, а по страху Божию. Если бы она была женщина с природной благодатью чистоты или некоторой холодности, то ей бы не нужно было скрываться в пустыне. Тогда ей нужна была бы борьба не против чувственности, а против чего-нибудь другого, например: против внутренней гордости, жестокости, лжесмирения, лукавства, как бывает часто с людьми хладнокровными или более чистыми и по природе строгими в нравах.

"Только нудящие себя восхищают Царство Небесное"...

Вот почему монашество стало развиваться и распространяться на Востоке и Западе именно с тех пор, как прекратилось внешнее гонение. Мученичество, внешние гонения - были сначала средством получить "небесные венцы". Только после мирского торжества христианства явилась потребность иного мученичества - добровольного, свободного отречения от соблазнов, от роскоши, даже от самых невинных, допущенных законом, радостей семейной жизни. Если кто думает, что это легко, пусть попробует. Он увидит, что и в наше время быть добросовестным монахом есть великой труд (я говорю - добросовестным); и если есть у этих добровольных мучеников утешения и отрады, то они или детски

просты (например: отдохнуть лишний час, съесть что-нибудь получше), или самого высокого, самого идеального, мистически сердечного, так сказать, характера.

Хорошее монашество есть высокий цвет христианства; те, кто думают, что Церковь может жить без монашества (хотя бы и весьма несовершенного и слабого) ошибаются. Указывать на то, что первые века Церковь жила без монахов, значить впадать в заблуждение людей, не знающих дела. В первые века Церковь жила и без правильной церковной службы, без определенной Литургии, без окончательно утвержденного учения о таинствах, без ясно разработанного догмата. Если так, если все дело и весь пример в первых двух-трех веках, то отчего бы не оставить и ясный догматизм, и Литургию, и все церковные обряды, предоставить каждому выводить, что ему угодно из Евангелия и апостольских посланий? Однако многие из нерадящих о монашестве и презирающих его испугались бы подобной дерзости.

Монашество, сказал я, есть цвет христианства; слишком молодое деревце еще не цветет и плодов не приносит; и слишком старое, близкое к гибели дерево, также перестает цвести. Монашество было не нужно в первые века гонений, простоты и сравнительной малочисленности христиан; оно стало потом естественным результатом развития, и гибель монашества была бы верным предвестником гибели самого православного церковного учения в том народе, который оставил бы иночество.

В Оптиной пустыни с двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия начало процветать старчество.

Что такое "старчество", люди, не посещающие монастырей и незнакомые ни с историей Церкви, ни с духом истинного Православия, вовсе не знают.

Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется: "directeur de conscience". Не понравиться подобное приравнение может с двух совершенно противоположных точек зрения. Слышать, что православный старец есть то же самое, что "directeur de conscience", может быть неприятно и очень православному человеку и человеку равнодушному в делах веры; первому потому, что он смотрит на папство, как на заблуждение, а второму потому, что "иезуиты, де, очень лукавы и слишком много стараются приобретать влияния". И, наконец, разве у всякого нет свидетельства своей собственной совести?

Но этого рода рассуждения происходят лишь от того, повторяю, что у нас слишком мало знакомы с историей христианства, с его основами, оттого, что настоящий его смысл "не от мира сего" забыт, и образованный человек считает себя в праве брать из христианства то, что ему вздумается, и отвергать то, что ему кажется отсталым и бесполезным.

По мнению некоторых, главное содержание идеи христианства на католический лад заключено в презрении к плоти, в преувеличенном спиритуализме, в признании за зло всей природы, всех естественных влечений и радостей, в аскетическом отречении от мира.

Но не аскетическим взглядом на жизнь, на страх Божий, на смирение, на глубокую прирожденную греховность нашей природы, не отрицанием всемогущества человеческого, не отрицанием возможности какого бы то ни было счастья на этой земле, не советами безусловно, по мере сил, покоряться учению Церкви и советам ее представителей в нашей личной жизни - отличается католичество от восточного Православия. Напротив, это все именно то, что у него есть общего с православным учением. Отличается же оно позднейшим исключением тех основных догматов, которые были признаны первоначальною Церковью и введением новых, подобно догмату единоличной непогрешимости папы (вместо непогрешимости вселенских соборов), о незапятнанном первородным Адамовым грехом зачатии Божией Матери или об исхождении Святого Духа и от Сына, и другими. Вообще надо заметить, что папство мало существенного убавило и отвергло из учения единой и всеобщей первоначальной Церкви, но, напротив того, прибавило много лишнего. Поэтому в нем и не могло не остаться многого из первоначального апостольского и святоотеческого учения. Отец Климент Зедергольм говорил мне: "В католичестве истина до того глубоко спутана с самыми опасными для души заблуждениями, что надо обращаться с ними очень осторожно: и хвалить трудно западную церковь, и опрометчиво, невпопад, порицать ее опасно перед публикой. Воображая, по неведению, что порицаешь только одно папство, можно очень легко и некоторым сторонам наших верований повредить!"

Сверх этого, надо заметить еще вот что: хотя вся историческая судьба России тесным образом связана с Православием, однако, надо, в некоторых случаях, как можно внимательнее отличать наши национальные свойства от свойств, принадлежащих самой Православной Церкви. Учение Церкви одно, но приложение этого учения к жизни, история практических отношений Церкви к народу, может быть разная в разные времена и у различных наций,

исповедающих ту же веру. Различать это чрезвычайно важно уже для того, чтобы национальные недостатки или исторические несчастья наши не переносить ошибочно на характер самой Церкви. Хомяков в своих письмах к Пальмеру говорит: "Сомневаться в истине Православия нельзя только потому, что проповедь его идет не так успешно, как проповедь католицизма. Это может зависеть от национальных недостатков тех народов, которые в настоящее время служат главными представителями восточного Православия. Русские и греки виноваты в том, а не учение Церкви". Хомяков говорит это относительно внешней проповеди; то же самое можно сказать и относительно внутреннего руководства совестей. Не учение Церкви противно духу старчества (то есть духовному руководству совести), а наши исторические условия, наши национальные недостатки тому виною, что старчество (несомненно сильно развитое у нас в удельный и московский периоды) заглохло в последние века не только по отношению к верующим мирянам, но и в стенах монастырей. Подчиняясь в общих чертах уставам Церкви, высшее и более образованное сословие наше уже давно привыкло полагаться только на собственный ум и собственную совесть даже и в важных вопросах, и к духовнику обращалось лишь как к совершителю треб, который нравственных наставлений преподать не мог. И к несчастью, в большинстве случаев, наше образованное сословие было право. В монастыри не всякий имел время, средства и охоту ездить; а белое наше, и сельское, и городское духовенство было издавна, за немногими исключениями, поставлено в такое жалкое положение, что кроме боязни, простительной корысти и человекоугодия, оно не могло ничего обнаруживать перед людьми образованных классов. Какое же тут могло быть старчество?

Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: "Я знаю только то, что ничего не знаю!" Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение Церкви. Читал жития. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и вообще миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям, освободившимся по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно: меня это не успокаивает - я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума. Поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец

этот был безгрешен (безгрешен только Бог; и святые падали), ни даже - что он умом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! Я с теплой верой в Бога и в Церковь, и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь, прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее старца. Но стоит только мне вспомнить историю человечества, или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять, до чего даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И Священное Писание, и история Церкви совпадают вполне в этом отношении с практическою жизнью. Иуда был апостол, а разбойник* разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал Церкви и человечеству более вреда своею умственною гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.

---

* Покаявшийся на кресте.

Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу. Думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта и Православию совершенно чуждая, значило бы то же, что считать, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.

Как же может учение Православной Церкви не требовать, чтобы духовенство как можно более влияло на нашу личную жизнь, когда оно так высока ставит и сан священства и монашеский образ?

Наша распущенность, общая и мирянам и духовенству, наше равнодушие, наш "поздний ум, богатый с колыбели ошибками отцов", - вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.

Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин

верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большей свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в обществе, то как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями - между сырой пещерой афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, все же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели к поддержанию в себе во время земной жизни близости ко Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходить только поутру в часовню, чем монаху выстоять большую службу; уже по тому труднее, что мирянина ничто к тому не понуждает, кроме собственной веры: а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви, так называемая "среда", тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.

Итак, говорю я, разница между самоограничивающимся и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе, какое же бы могло иметь значение монашество, если бы оно не исходило, как высший плод, из того же христианского общества и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния, оно на этот внешний христианский мир не влияло?

В этом смысле, говоря о пользе и даже необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.

Я даже спрашиваю себя, не полезнее ли оно иногда для мирян, чем для самих монахов? Монах, если он мало-мальски добросовестен, сдерживается начальством, общиной; он беспрестанно в церкви слышит поучения, имеет всю возможность читать часто Святое Писание и святых отцов, а мирянину нашего времени некогда самому внимательно подумать о Боге и своей душе?*

---

* Здесь кончается часть главы о старчестве, составленная по книге К. Леонтьева - "Отец Климент

Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни." изд. 2, М., 1882. сс. 30-42.

Так пишет о старчестве известный всему русскому литературно-образованному миру бывший русский консул в Салониках и писатель-публицист Константин Николаевич Леонтьев, на личном опыте изведавший всю силу и значение старчества в лице старца Амвросия Оптинского*.

---

* К.Н. Леонтьев умер месяц спустя по кончине отца Амвросия, постриженный в мантию с именем Климента.

Великая важность и великое значение духовного отношения к старцам доказывается особенно двумя следующими примерами.

Преподобный Феодор Студит пишет: один старец не раз приказывал ученику своему исполнить некоторое дело, но тот все отлагал. Недовольный сим старец в негодовании наложил на ученика запрещение - не вкушать хлеба, пока не исполнит порученного дела. Когда ученик пошел, чтобы исполнить поведенное, старец умер. После его смерти ученик желал получить разрешение от наложенного на него запрещения. Но не нашлось никого в пустынной местности, кто бы разрешил это недоумение. Наконец ученик обратился с своей просьбой к Константинопольскому патриарху Герману, который для рассмотрения этого дела собрал других архиереев. Но ни патриарх, ни собравшийся собор не нашли возможным разрешить епитимию старца, о котором даже неизвестно, имел ли он степень священства. Посему ученик до смерти принужден был питаться пищею из одних овощей.*

---

* Пр. Феодора Студийского огласительные поучения в русском переводе. М., 1872. с. 133.

В Прологе на пятнадцатое октября повествуется: в ските жил монах, который в продолжении многих лет был послушлив своему отцу; наконец по зависти бесовской отпал от послушания, и без всякой благословной причины ушел от старца, презрев и запрещение (ибо он имел от старца запрещение за

непослушание). Пришедши в Александрию, он был схвачен и принуждаем тамошним князем отречься от Христа, но остался непоколебим в твердом исповедании веры и за это был мучим и предан смерти. Христиане того града взяли тело нового мученика, положили в раку и поставили оную во святом храме. Но в каждую Литургию, когда диакон возглашал "елицы оглашении изыдите", рака с телом мученика, к удивлению всех, невидимою силою выносилась на паперть, а, по окончании Литургии, сама собою поставлялась опять в храм. Один александрийский вельможа молился о разрешении этого недоумения; и ему было открыто в видении, что замученный монах был ученик такого-то старца, и за непослушание был связан от него. Как мученик, он получил венец мученический, а, как связанный запрещением старца, не может оставаться при совершении Божественной службы, пока связавший не разрешит его. Тогда же отыскан был старец, который пришел в Александрию и разрешил связанного от запрещения. С того времени рака уже никогда не трогалась со своего места.

"Многие в настоящее время, особенно из отвергающих путь духовного отношения, в оправдание свое ссылаются на недостаток и оскудение духовных наставников. Но святой Василий Великий говорит, что, если кто усердно поищет доброго учителя, то и непременно найдет. И святой Симеон Новый Богослов учит: "Молитвами и слезами умоли Бога показать тебе человека, который бы мог хорошо упасти тебя". И далее говорит: "Лучше называться учеником ученика, а не жить самочинно, и обирать бесполезные плоды своей воли". (Добротолюбие, т. 5. Деятельные и богословские главы, гл. 33).

Впрочем, если бы кто и по тщательном и усердном искании не мог обрести духовного наставника и руководителя, в таковой нужде старец Паисий Величковский в письме к иерею Димитрию предлагает следующий совет:

"В нынешние лютые времена, еже многому плачу и рыданию достойно, до зела таковым наставником оскудевшим, аще кии ревнителие от инок восхотели бы таковым житием общежительным Богу угождати. Сам Бог и божественное чтение преподобных отец онех, общежительных наставников, Божиим промыслом даже и доселе соблюденное, есть учитель и наставник: на неже, аки на онех самех, взирающе внимательне, со страхом Божиим и разумом чтущий могут отчасти, Божиим поспешеством, и житию их богоугодному подражатели быта, окормляеми и вразумляеми суще отцом своим, о имени Христовом их собравшим, или от них единомысленне избранным, иже не от себе, но от писания святого и от тогожде святых отец учения чад своих духовных

научающем" (Житие и писания Паисия Величковского. М., 1847 г., с. 248).

"Путь старческого окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями Церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны в Христовой Церкви. Старчество процветаю в древних Египетских и Палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие даже начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, а в конце восемнадцатого столетия и почти совсем стал неизвестен. К восстановлению в России этого, основанного на учении святых отцов, образа монашеского жития много содействовал знаменитый и великий старец, архимандрит молдавских монастырей, Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творения аскетических писателей, в которых содержится учение о монашеском житии вообще и, в особенности, о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия, схимонахом Феодором, жившим в Молдавии около двадцати лет, этот порядок иноческой жизни передан иеросхимонаху отцу Леониду, а им и учеником его, старцем иеросхимонахом Макарием, насажден в Оптиной пустыни.

Тогдашний Оптинский настоятель отец Моисей и брат его, скитоначальник отец Антоний, положившие основание своего иночества в Брянских лесах, в духе древних пустынножителей, давно желали ввести старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и многосложными занятиями по устройству и управлению обители, и потому что вообще соединение в одном лице двух этих обязанностей, настоятельства и старчества, как мы уже упоминали, хотя в прежние времена при простоте нравов и бывало, но в наше время весьма неудобно и даже невозможно. Когда же в Оптиной пустыни поселился отец Леонид, тогда отец Моисей воспользовался этим, и. зная его опытность в духовной жизни, поручил его руководству всех братии, жительствовавших в Оптиной пустыни, и всех приходивших на жительство в монастырь.

С того времени весь внутренний строй монастырской жизни изменился в Оптиной пустыни. Без совета и благословения старца ничего важного не делалось в обители. К его келье ежедневно, особенно в вечерние часы, стекалась

братия с душевными своими потребностями: каждый спешил покаяться перед старцем, в чем согрешил в продолжении дня делом, словом, помышлением, просить его совета и разрешения во встреченных недоумениях, утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней борьбе со страстями и с невидимыми врагами нашего спасения. Старец всех принимал с отеческою любовью и всем преподавал слово опытного назидания и утешения.

Благодетельно стали отражаться богомудрые наставления старца на оптинском братстве, которое понемногу начало совершенствоваться в нравственном отношении.

Искусное врачевание немощствуюших душ, мудрость старца, свидетельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро сделали отца Леонида известным и вне обители. С каждым годом стечение народа в Оптиной пустыни умножалось, через что она видимо процветала. Понимавшие хорошо духовную жизнь мужи, но подвизавшиеся в затворе или безмолвии - Георгий затворник Задонский, Илларион Троекуровский и др. - со всех сторон России стали присылать под руководство отца Леонида в Оптину пустынь для обучения в монашеской жизни людей всякого сословия, искавших для себя более надежного пристанища. Отовсюду начали стекаться братия, как пчелы в улей, дабы напоевать сердца свои потоками сладости Божественной, истекавшей из медоточных уст старца*".

_____

* "Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва)", изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни. Одесса, 1890, сс. 22-30 (составил отец Климент Зедергольм).

_____

Это толкование старчества принадлежит перу отца Климента Зедергольма.

В 1834 году перешел из Плошанской в Оптину пустынь иеромонах отец Макарий Иванов, с самого поступления в эту обитель начавший помогать старцу в обширной его переписке с лицами, просившими у него духовных советов и назидания. В то же время отец Макарий стал и помощником старца в духовном окормлении братии и посетителей, особенно же с 1836 года, когда был определен духовником обители*.

_____

* Там же, стр. 181.

Восьмого октября 1839 года в Оптину пустынь прибыл учитель Липецкого Духовного училища, Александр Михайлович Гренков, которому Промысл Божий судил стать прямым преемником по старчеству Леонида и Макария и великим светильником Православия, на многие годы озарившим светом своего кроткого и немерцающего сияния всю верующую, еще не отпавшую от веры отцов, Русь Православную.

Таково старчество, по свидетельству людей, проникшихся его духом и свое проникновение им запечатлевших принятием на себя монашества.

Один из них (отец Климент Зедергольм) был сыном реформатского суперинтенданта* в Москве и одним из лучших студентов историко-филологического факультета Московского университета. Другой (К.Н. Леонтьев) - известнейший публицист, один из ярких представителей русской образованности шестидесятых годов и всей так называемой "великой эпохи великих реформ", бывший российский консул при Турецком правительстве. Оба - духовные дети старца Амвросия.

---

* Суперинтендант - духовное лицо в протестанстве, стоящее во главе церковного округа.

А вот что писал великий затворник Вышенский, епископ Феофан об основном различии между откровением помыслов старцу и исповеданием перед духовником*.

---

* "Письма еп. Феофана" - Душеп. Чтение 1896 года, сс. 224-226.

"Милость Божия буди с вами!

Ваше смущение и беспокойство относительно исполнения возложенного на вас послушания совершенно законно, потому что и доброе дело можно делать не

добре и тем губить и плод его. Успокоить вас может только точное определение, что подлежит вашему ведению, особенно же, что окончательно вами решаться должно и что от вас должно переходить к духовнику для исповеди и таинственного разрешения. Кто должен это определить? - Ваш настоятель. Вам, старцам, надо сойтись вместе, разъяснить затруднения, встречаемые вами в своей практике, придумать меры к устранению их и затем придти к настоятелю доложить ему о всем и просить сделать властные распоряжения относительно всего, или по вашему мнению, или по его собственному. После всего, вам останется только разумно исполнять постановленное и быть покойну.

Мне же решать что-либо по сему делу совсем не приходится. Ибо очень возможно, что я решу так, - старцы этак, - а настоятель еще иначе. И выйдет пересыпание из пустого в порожнее. А ведь у нас с вами есть на руках дела не пустые и не порожние.

Да как же это у вас уместны недоумения?! У вас ведь это святое душеспасительное дело исстари ведется - разумею старчество и откровение. Думаю уже на деле не раз разрешались всевозможные случаи. Собрать бы эти решения, и вышел бы кодекс старческих решений.

Как это не сделано, то вам, кроме настоятельского определения круга вашего действования, остается только - обратиться к старцам же, в деле состоящим, а не к кому-либо другому, незнакомому с этим делом. Я совсем не знаком с этим делом. Общее рассуждение о сем деле у меня есть. Достаньте изданную Афонцами маленькую книжку: "Что потребно покаявшемуся и вступившему на путь спасения". Там достаточно определено дело старчества, но только в общих положениях, или в теории... Что же до практики касается, то об этом и слова нет. Потому-то, не имевши практики, не следует и браться за изображение дел сей практики. Об обязанностях старчества я всегда той был мысли, что сюда относится только откровение помыслов и смущения и разрешение их, или, лучше, - разъяснение как быть. Коль же скоро из того, что открывает брат старцу, нечто встретится такое, что требует исповеди и таинственного разрешения, то в этом надо отсылать к духовнику. Что именно под таковым признавать должно, это решите сами между собою, - разумею старцев, - и утверждения настоятельского испросите. Что вы не смели отказаться от старчества, это в порядке. Но когда настоятель заметит, что вы негожи, и отставит, то поклонитесь и отблагодарите.

Говорите: "Старцу приходится разрешать, наказывать". Мне думается, что

старцу не следует ни разрешать, ни наказывать. Его дело рассудить и определить состояние ученика, разъяснить ему, как дошел до худа, и указать способ, как на будущее время избегать этого, и как погасить страсть, от которой произошло дело, и - помолиться. Старец - советник, а не судья и не каратель. Его дело - пожалеть и воодушевить, предав брата благодати Божией.

"Приходит ученик, - кается в нарушении заповеди. Старец наказывает поклонами и прощает". Сознательное нарушение явной заповеди требует исповеди перед духовником и таинственного разрешения. Старец, выслушав ученика, дает ему разъяснение относительно падения и указывает способы, как избегать таких падений... и потом отсылает к духовнику. Тот разрешает и налагает епитимью. Старец дает только советы: ты бы поусердней помолился, не дал бы себе поесть, как обычно... и от сна взял бы часть некую, и подобное. Слова: "Благодатию Своею Бог простит" имеют смысл благожелательный. Бог да простит тебе, брате, или - Бог простит, брате! Не унывай, - крепись и борись, разрешение же в силе - "елика разрешите" - ему не принадлежит. Разрешение старцево не имеет разрешительной силы, свойственной таинственному разрешению. Это принадлежит духовнику.

Старцу принадлежит разрешение грехов простительных, и разрешаются они самим откровением. Как открыт такой грех, - так и прошен. У святого Димитрия Ростовского исчислены такие грехи в повседневной исповеди и в молитве на сон грядущим есть немного указаний.

Какую имеет силу старчество?.. Великую и превеликую, только вся она не юридического свойства, а нравственного - советы, разъяснения, воодушевления, молитвы. Долг старца, чтобы всякий ученик отходил от него как обмытый, как бы искупавшись.

В случае перемены старца, все, от прежнего старца советованное, должно быть оставлено. Ученичество снова начинается для ученика. Больше сего не имею что сказать.

Главное соберитесь и все определите и бойтесь зайти в область духовничества".

Как смотрели на старчество сами подвигоположники старчества в Оптиной, старцы: Лев, Макарий и сам отец Амвросий, видно из вышеприведенного рассуждения о старчестве, взятого мною из жизнеописания оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва), составленного по благословению отца Амвросия и с его одобрения отцом Климентом Зедергольмом. Но

непосредственно и сами благодатные старцы высказывались письменно по этому вопросу, особенно, когда началось гонение на старчество во времена отца Леонида в Оптиной, когда некоторые даже и духовные лица, отчасти по недоразумению, а, главным образом, по наущению от врага - диавола, не терпящего ничего доброго и истинного, восстали против старчества как бы против "нового учения", и притом едва ли, по этому враждебному мнению, не еретического.

"В числе приходивших к отцу Леониду для духовных советов, были и девицы разных сословий, которые, не имея склонности к брачной жизни, но желая с молодых лет уневестить себя Единому Небесному Жениху и Невестокрасителю чистых душ, Царю Христу, просили о сем совета у опытного старца.

Он принимал и их с отеческою любовью и, раскрывая им правильный взгляд на иноческую жизнь, научал идти узким путем отсечения своей воли и разума, и не только удаляться от страстей, но исторгать и самые корни их, очищая сердце от страстных помыслов и мысленных приражений, через частое откровение и исповедание оных опытным и искусным в духовном делании. Некоторым из них, изъявлявшим искреннюю готовность идти сим путем, советовал вступить в Белевскую обитель и вручить себя руководству одной тамошней старицы матери Анфии, которая возросла и преуспела в деятельной духовной жизни под опытным руководством самого отца Леонида, и относилась к нему за духовными советами и наставлениями еще до водворения старца в Оптиной пустыни*".

---

* Жизнеописание отца Леонида, сс. 114-115.

Против этого-то руководства восстал священник Белевской обители отец Г., не усумнившийся обозвать малоизвестные отношения этого рода именем ереси. По его наветам и доносу возникло целое дело, причинившее немало скорбей матери Анфии и ее духовным дочерям. Из писем старцев, писанных ими к матери Анфии и единомысленным с нею сестрам, приведем здесь одно, выясняющее взгляд самих Боговдохновенных старцев на суть дела и на их духовное окормление своих духовных детей:

"Достопочтеннейшия о Господе мать Анфия и мать Н.!

Мы прочли ваше письмо с немалым удивлением. "Маловерный! Зачем ты

усомнился?" (Мф. 14, 31). Так говорил Божественный наш Спаситель возлюбленному ученику Своему Петру в то время, когда он утопал. Теперь то же потопление случилось с вами, а мы тем же гласом Спасителя взываем к вам: "Маловере!" Неужели многократные опыты наших наставлений от Божественных писаний и святых богоносных отец не могли удостоверить вас в истине спасительного пути, коим шествовати преподобные отцы, которым мы тщимся подражать по мере сил наших? Хотя недостойны и скудны в добродетелях, но желаем вам, хотящим спастись, шествовать путем, указанным нам ими; а потому немало огорчает нас ваше малодушие. Если вам угодно слушать нас, то "для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?" (Мф. 9, 4). Рассматривая едва не потонку* действие врага рода человеческого, видим, как он тщится, под предлогом истины, совратить вас с пути избранного, с пути добродетели. Спрашиваем вас: может ли учить иностранному языку тот, кто оного не знает? Великое различие между людьми, дознавшими по опыту и знающими по одному слуху. Кто в какой чин призван, тот в нем да пребывает. Опыт - лучший учитель. Писано есть: "Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим - один из тысячи" (Сир. 6, 6). А когда усумневаетесь в советах и наставлениях наших, почто прибегаете к нам? Мы никого к себе не привлекаем: вы это знаете.

---

* По-тонку: подробно, в деталях.

По уставам иноческого предания, при пострижении, от Евангелия предают старицам, а не духовным отцам, которым (то есть старицам) и должны новоначальные открывать свою совесть, для получения советов и наставлений, как противостоять искушениям вражьим; но это не есть исповедь, а откровение; и в сем случае исполняется апостольское предание: "Признавайтесь друг пред другом в проступках" (Иак. 5, 16). Таинство же исповеди совершенно другое, и не имеет к откровению никакого отношения; обязанности духовника совершенно другие, нежели отношения к старицам. Припоминаем об одной синклитике, которую архиерей передал одной старице и вопросил ее, в каком находится исправлении? Получил в ответ, что слишком добра к ней; тогда он предал ее другой старице, строжайшей, и, по прошествии некоторого времени, узнал от нее, что сия смягчила ее нравы: не есть ли оное образ и нынешнего предания? Мать игуменья ваша поступает благоразумно и сообразно уставам иноческого предания, желая сестер заблаговременно приучить к очищению своей совести,

до пострижения в монашество; а тем самым делает настоящий искус, по преданию святых отец, в иночестве просиявших.

Что же касается до того, что будто в келье без священника нельзя молиться, то это более удивления достойно, нежели вероятия. Сколько видим святых жен, в пустыне жительствовавших, в посте просиявших; чем занимались они, как не молитвою в уединении? Святая Мария Египетская в пустыне без пресвитера приносила свои молитвы и токмо в последний год жизни удостоилась узреть святого Зосиму и принять от него Святые Христовы Тайны. На счет же того, что без благословения старицы ничего не делать, это не только полезно, но и спасительно. Из множества примеров, имеющихся в Патерике и писаниях святых отец, напоминаем о том ученике, который, будучи послан на послушание от старца в город, едва не впал в любодеяние, но, воспомянув старца, невидимою силою был восхищен и очутился в келье своей. Что относится до старцев, то в девичьих монастырях подразумевать должно о старицах. Не все старцы были священники, сие ясно видеть можно из жития преподобного Пафнутия Боровского чудотворца (память первого мая), ибо у него в монастыре из семиста братии не было ни одного священника, но все были под руководством старцев. Итак, лучше сообразоваться с уставами иноческого жития и быть спокойными.

В Добротолюбии, в послании святого Кассиана к Леонтину игумену (IV части лист 157 на обороте) напечатано: "Авва Моисей рече: да не точию, яже творим, но и яже помышляем, открываем отцем; и да ни в чем же своему помыслу веруем, но и во всем словесем старец да последуем; и оно быти добро веруем, еже аще они искусят. Сие же делание не точию истинным рассуждением и правым путем инока невредима пребывати устрояет, но и ото всех сетей диавольских без вреда того сохраняет". Сия помянув вашей любви от многого малое, и поручая вас покрову Божию и слову благодати Его, остаемся ваши недостойные богомольцы, многогрешные иеросхимонах Леонид и многогрешный иеромонах Макарий. Девятнадцатого сентября 1840 года"*.

---

* Жизнеописание о. Леонида, сс-124-126.

LXVIII

Конечно, не стоило думать, что временный отдых, данный мне врагом

человеческого рода после столкновения с казначеем и сравнительно редко нарушаемый гонением за защиту старчества, что отдых этот будет продолжителен, и у нас в обители вскоре произошел весьма печальный случай, который мог бы ввести меня в скорбь тягчайшую, если бы не милость Божия, помиловавшая меня, грешного. Началось новое вражеское гонение на меня с того, что как я уже раньше говорил, не по духу пришлось моему начальству и братии расположение и даже любовь ко мне Луки Алексеевича Федотова, сделавшего меня, по смерти своей единственной дочери, душеприказчиком по завещанию к его немалому имуществу. И завещано-то оно было нашему монастырю, а вот - поди ж ты - как мутил лукавый и возбуждал против меня братию за это!

Девица Федотова, дочка Луки Алексеевича - упокой, Господи, душу ее в селении праведных! - была погребена у нас, в ограде монастырской. На могиле ее заботливые родители с любовью насадили дивные цветы, и, конечно, я почитал святой обязанностью поливать эти цветы ежедневно, когда стояла засуха. И сколько же выслушивал я брани за эту поливку, это и описать трудно!..

Я положил за правило выходить к могилке в шесть часов вечера, и к этому часу там уже собирался праздный народ - послушники, иеромонахи и даже казначей, направляя стопы свои в трапезную к ужину.

- Какой это монах! - восклицали одни.

- Наемник! - ворчали другие.

- Всем бы ты был хорош, - говорили более доброжелательные, - но дело твое соблазняет не только иноков, но даже мирских. Грех тебе!

- Да что ему не поливать, - глумились третьи, - он ведь за это сотни рублей берет, мошенник этакий!

- Не ругай его! - слышались возражения, - ведь он их душеприказчик!..

Тяжко было на сердце, но я старался бороться с лукавым словами смирения:

- Прости меня, дурака! - говорил, - простите, если оскорбляю и соблазняю вас...

- Знаем мы тебя, химера! - отзывались мне на эти слова мои хулители, - только и слов у тебя, что - "простите", а завтра опять придешь?

- Простите - приду! - отвечал я.

И на другой день, бывало, опять начинается та же история, пока-то им это не надоело. Но тут и произошел такой случай, о котором не след бы и говорить...

Однажды пришел я от поздней Литургии, где был сослужашим, к себе и только что снял рясу, как вдруг услыхал торопливый стук в дверь моей кельи. Отворяю и вижу садовника, бледного как смерть, с испуганным лицом... Что такое?

- Батюшка, подите-ка за мной скорее, - проговорил он, едва переводя дух от волнения.

- Да что у тебя там такое?

- Да идите - увидите! Чудо-то какое! Ведь у вас на дорожке лежит мертвый голенький младенчик... Должно, его через ограду перекинули!

И правда: на дорожке лежало жалкенькое, ничем не прикрытое, маленькое тельце новорожденного и уже мертвого мальчика... Я послал садовника за игуменом и сам пошел вслед за ним: очень уж у меня волновалось сердце - я предчувствовал скорби, которые меня ожидают...

Пришел игумен. Послали за полицией, за доктором. Поднялись в обители суды-пересуды... Приехала полиция, приехал доктор. Младенца анатомировали и, определив, что он четырехмесячный недоносок, предали земле. Но заваренную чьей-то немилостивой рукой кашу пришлось расхлебывать мне, грешному Феодосию.

- Ай да отшельник! - радостно восклицали мои недоброжелатели, - ай да затворник! Вот так - пустынник! Вот зачем он и в саду-то поселился - поди-ка, кто бы мог это подумать?.. Да ведь они - святоши, все такие!

Младенец был подкинут не далее семи сажен от моей кельи. Толпы народа запрудили весь сад и усеяли все монастырские стены, когда производили анатомирование младенца...

Каково было слышать эти речи! Но, благодарение Богу, я перенес это искушение с таким хладнокровием, как будто оно меня вовсе не касалось. И когда некоторые из братии, жалея меня, советовали не скорбеть, я отвечал:

- Простите меня и помолитесь обо мне, грешном!

- Да в чем же ты просишь прошения? - спрашивали меня доброхоты.

- В день оный узнаете вину, если теперь не верите, - отвечал я, вспоминая грехи юности моей и неведения, а также и горькие падения моей прежней жизни...

У подкинутого младенца нашли трех матерей сразу: шла ярмарка и имелось три роженицы, чьих детей не отыскали. Которая из них была повинна, доведомо одному Господу.

Прими, Господи, раскаяние виновной!

LXIX

И видел я вскоре после того дивный сон: стою я будто, в Троицком храме в алтаре, на правой стороне, у стеночки. Идет Божественная Литургия, и поют "Блажени плачущий, яко тии утешатся"; и надо кому-нибудь из иеродиаконов облачаться, чтобы идти с выходом Евангелия. В алтаре в это время, на одной со мной стороне, стоит, будто, отец игумен, и я вижу, как он старается незаметно спрятать ризы, чтобы не дать мне облачиться. И когда он около комода делал вид, что приводит что-то в порядок, а сам в это время прятал от меня облачение, пропели все "блаженны", а выходить некому, так что служба остановилась... В это мгновение из южных врат вошла в алтарь величественная жена, в богатой как бы царской одежде, с длинным шлейфом по земле. И когда я увидел, что в алтарь входит женщина, то сердце мое исполнилось ревности и я хотел, было, сказать ей: остановись, кто бы ты не была! Ты - женщина и должна выйти отсюда, ибо земля, на которой ты стоишь, свята есть - Господеви... Но едва я это помыслил, как жена эта обратилась взором своим ко мне и им указала, что ей здесь место, а затем она подошла к отцу игумену и грозно спросила:

- Почему ты не даешь ризы отцу Феодосию? Для чего их от него прячешь?

Отец игумен будто бы страшно растерялся и второпях подал мне поручи, сказав:

- На, надевай!

Необыкновенно красивы были эти поручи, вышитые золотом и осыпанные драгоценными каменьями... И не успел я надеть этих поручей на обе руки, а надел только на одну, как жена эта вышла из алтаря, а другой иеродиакон облачился в старый стихарь и пошел со входом. И запели тут точно

архиерейским хором: "Приидите поклонимся... молитвами Богородицы поющие Ти: аллилуйя... "

А я все дивился на надетый поручень, с тем и проснулся и увидел, что рука моя поднята вверх.

Долго я удивлялся этому сновидению и тому, кто бы могла быть эта жена, и что значило, что она упрекала отца игумена? Хотя я привык относиться к сонным видениям с большой осторожностью и не доверялся им, но этот сон оставил в моем сердце сильное впечатление.

Тем временем стали ожидать приезда к нам владыки Феодосия, и игумен и казначей, многие также и из братии говорили мне:

- Вот приедет владыка, и тебя посвятят в иеромонахи.

Отец игумен считал нужным добавить:

- Здесь не будет неизбежных расходов, как в Тамбове - здесь уж заодно и посвятим тебя.

Но когда приехал владыка, игумен представил ему, что иеромонахов достаточно, а я, как кандидат на священство, нужнее во иеродиаконах, потому что во всякое время исправен и могу служить, тогда как другие иеродиаконы не таковы. Так и не состоялось мое на этот раз посвящение: слишком опасалось меня начальство, как возможного заместителя в том случае, если бы их слабости дошли до сведения владыки. Сказывали мне, что перед приездом архиерея казначей говорил игумену:

- Да вы только посвятите Феодосия: тогда никто из граждан к нам и под благословение-то не подойдет. Уж и теперь на него многие смотрят, как на единого от древних, а тогда и с Троицей-то* никто нас в дом брать не будет...

---

* Чудотворная икона Лебедянского монастыря.

Сколько было в передаче этих слов правды, судить не мне, но на дело это было похоже. Меня даже не допустили в приезд владыки до служения с ним в соборе.

Великой печалью поражено было мое сердце, но не потому, что меня обошли - недостоинство мое меня обличало, - а потому что приезжал владыка, как говорится, ни про что, а уехал ни с чем: беспорядки наши, о которых он уже был предуведомлен (ему писал Л.А. Федотов), не удостоились внимания преосвященного и, послужив у нас, приняв трапезу, он остался благодарен и, когда садился в карету, то осенил братию крестным знамением и промолвил благожелательно:

- Ну, братия, молитесь!

И больше мы от него ничего не услыхали.

О, сила великая ключаря и благочинного!

Между тем в то время, когда архиерей кушал в игуменских покоях, что за умопомрачение творилось в трапезной! Шум, гвалт, бесчиние, разливанное море!.. Казначей вырывал из рук трапезного пятый штоф сивухи, угощая братию, которая уже и без того была достаточно "утешена". Трапезный не давал, казначей рвал из рук... Крик, ругательства! Тут же пьяные кучера владыки и благочинного, с трубками в зубах, ругаясь площадными словами, заигрывали песни и, не держась уже на ногах, приваливались к лавке...

Я все это видел, и вот это-то самое и заставляло скорбеть мое сердце. А тут еще злобные и торжествующие улыбки моих недоброохотов точно кичились своим торжеством надо мной, точно говорили:

- Ну, что? Видишь, как мы боимся архиерея!

По отъезде владыки встретил я нашего казначея: шел он из трапезной и уже едва стоял на ногах. Взял меня за руку и, едва лопоча пьяным языком, стал говорить:

- Не скорби, отец Феодосий: будет время, будешь и ты иеромонахом. Я сочувствую твоей скорби: ты желаешь лучшего устроения в обители - я знаю это. Но что ты будешь делать, когда ты сам видишь, какой у нас игумен? Я, брат, тоже, брат был и так, и сяк... да нет, брат, ничего не сотворишь: это просто Крылов "чурбан", а для порядков надо "журавля"... Я ведь, брат любезный, все понимаю!.. Ну, не скорби, пожалуйста, не скорби!., придет время... а теперь терпи!

И он лез ко мне целоваться... Я всю ночь не мог уснуть - сон бежал от глаз моих... И это называется обозрением епархии! И как это, думалось мне, можно

было так, в глаза, обманывать владыку?.. О другом о чем я и думать боялся...

LXX

Стоял я за ранней Литургией у свечного ящика; смотрю, вошел в церковь какой-то юродивый и стал скромненько в углу, у самой печки. Когда, по окончании службы, народ выходил из храма, шел и отец игумен. Юродивый этот вышел из своего угла, подошел к игумену и, показывая ему рукой на меня, громко сказал:

- Смотри, - видишь ты вон того монаха, что стоит у свечного ящика? Смотри ж, помни, что я тебе скажу: ты его не трогай! А тронешь, то сам свои поруки с себя сронишь!

Игумен не нашелся, промолчал. А юродивый этот, которого я прежде никогда не видал, пришел после ко мне в келью и объявил:

- Хочу чай пить - напои меня чаем!

Пока я ставил самовар, он все время ходил по келье и что-то бормотал про себя невнятное, а затем подал мне образок святителя Афанасия Сидящего, что в Лубнах, и сказал:

- Вот тебе святитель Афанасий в помощники: молись ему - он все больше любит помогать дворянам. Он тебе поможет. Молись ты за меня, а я - за тебя, а он - за нас: вот и будет хорошо!

Я спросил юродивого об его имени. Он ответил:

- Я отцу Иоанну Сезеневскому брат, а о моем имени ты после от кого-нибудь узнаешь, а то я забыл, как меня звать...

Спрашивал я батюшку отца Амвросия про этого юродивого, и батюшка мне говорил про него:

- Я его знаю - это истинный раб Божий, и вот увидишь: все его предсказания сбудутся.

И точно, со временем, они все сбылись да так, что я о юродивом невольно вспомнил.

Вскоре после нашего свидания в келье меня рукоположил преосвященный

Феодосии во иеромонахи, и было мне великое утешение принимать самого владыку, вместе с известными по жизни отца Амвросия и по истории устроения им Шамординской женской обители - помощником Феодором Захаровичем Ключаревым, тогда уже иноком, и бывшей в миру его супругой, тоже уже инокиней, Амвросией.

И стал ко мне, по рукоположении моем, ходить народ для совета и благословения, и я говорил об этом великому моему старцу, батюшке Амвросию, спрашивая его, что делать с народом - вступать ли мне с ним в беседы, или уклоняться? И батюшка мой ответил так:

- Ведь ты за ними не посылаешь - они сами к тебе идут под благословение и просят твоего совета: так нечего тебе от них и отказываться, а преподавай им благословение да и совет подай, что Господь внушит тебе отвечать на их вопросы. Бог благословит: говори им во утешение.

По благословению батюшки Амвросия и во исполнение предсказания блаженного юродивого, первыми мне пришлось принять двух женщин, из которых одна пришла ко мне за советом, а другая - как ее спутница. Было это дело так: шел я от ранней обедни. Подхожу к своей келье и вижу, что у крылечка стоят две женщины, и по обличью их видно, что они - не из простонародья, хотя одеты были так просто, что не всякий бы узнал, что из благородных. Женщины объяснили, что желают получить от меня совет по очень важному делу.

Я пригласил их в келью и поставил самоварчик, тут одна из них сказала, что она родная сестра помещика Д.В. Наумова; этого Наумова я знал, когда служил в Лебедяни по откупу: у него в тридцати верстах от города было имение - целая деревня крестьян и конный завод. Был он человек холостой и большой охотник до картежных собраний и женского пола, хотя мотом и кутилой не слыл.

Так вот, его родная сестра оказалась первой моей посетительницей, звали ее Екатериной Васильевной Щербаковой. Умер у нее муж, и на руках осталось трое малолетних сыновей и две дочери, и всех нужно учить, а у нее всего достояния - маленькое расстроенное имение по соседству с братом и для воспитания детей средств не хватает, а время уходит, и она не знает, что делать.

Рассказала она о своем безвыходном положении и со слезами спрашивала моего убогого совета. И поставила она меня в крайне затруднительное положение, не знал я, что и советовать ей... Только вдруг меня точно что осенило: я благословил ее образком святителя Афанасия Сидящего, который мне был дан

юродивым, и сказал:

- Вы теперь для воспитания детей живете в Ельце - советую вам, в первое же воскресенье одеть ваших деток в праздничное, лучшее платье и пойти с ними в каменный храм, который от вас недалече и, когда войдете в храм, поставьте всех детей ваших перед местной иконой Божией Матери и научите их, чтобы они, когда запоют "Достойно есть, яко воистину", стали бы все на коленки, а вы - позади их, и все вы просите Матерь Божию. чтобы Она приняла вас под покров Своего милосердия. Смею уверить вас, что Матерь Божия, увидав ваши слезы и смиренную молитву веры вашей, испросит вам милость от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и вы безбедно проживете, и дети ваши получат желаемое вами воспитание.

Совет этот, верую, внушенный мне свыше, госпожой Щербаковой был исполнен в точности, и Матерь Божия вняла их сиротской молитве. Вскоре смертельно заболел брат ее, Д.В. Наумов, и перед концом своим для всех неожиданно распорядился своим имением не в пользу братьев, людей состоятельных, а в пользу своей сестры - бедной вдовы, и в этом смысле, не сказав никому из близких, он и оставил по себе завещание. Вскорости тут он и умер, и госпожа Щербакова со своими детьми получила все его достояние.

И вышло благословение святителя Афанасия Сидящего на помощь дворянке и, притом, первой, которая пришла ко мне за духовным советом. Вот что значили слова блаженного:

- Он все больше любит помогать дворянам.

Когда же начались для меня новые скорби от игумена, то в оправдание предсказания юродивого, умер благодетель и верный защитник нашего настоятеля, благочинный архимандрит В., а следом уволили игумена от настоятельства на покой - исполнились, таким образом, и другие слова юродивого:

- Как его тронешь, так и свои поруки сронишь!

LXXI

Многое можно было бы еще написать о жизни моей в Лебедянской обители, жизни, исполненной всяких скорбен и искушений - и от злого духа, и от людей, не ведавших, что творят, но будет с меня и того, что написано: "Еже писах -

писах".

Пятнадцать лет исполнилось со дня моего вступления в обитель, и срок пребывания в ней, предназначенный мне, видимо, исполнялся: чья-то невидимая рука уже предупреждала меня о том, что приближается время моего отшествия из этого места плача и воздыханий.

Шел я от ранней обедни к себе в келью и, вдруг, чего никогда не бывало, калитка оказалась запертой; и на ней появилась откуда-то надпись:

- Здесь тебе скоро нельзя будет ходить.

Я пошел к другим воротам, которые были вне стен монастырских, и на этих воротах той же рукой было написано:

- И здесь тебе скоро не придется более ходить.

Меня это поразило, но приписав эти предупреждения чьей-нибудь шутке, я вскоре об этом случае позабыл.

Зная о моих скорбях и гонениях, друг мой и отец о Господе, брат по иночеству отец Филарет писал мне, чтобы я переходил к нему в Плошанскую пустынь*, в новоотстроенную келью в саду. Писал мне, зовя к себе, и даже неоднократно, из Переяславля-Залесского Троицкого Даниловского монастыря архимандрит Герасим (Косенков), тот, которого еще моя бабушка-покойница благословила на иноческий путь... Но я твердо держался раз данного обета: из монастыря, Богом мне через старца Иллариона назначенного, никуда не выходить, пока не наступит то время, тем же старцем предуказанное, когда придется перебраться в вожделенную моему сердцу Оптину пустынь.

_____

* Орловской губернии. Севского уезда.

_____

Наконец, время это настало.

Когда сменили нашего игумена отца Иоасафа, около этого времени скончались и мои благодетели Федотовы, а я вступил по утвержденному Елецким окружным судом духовному их завещанию душеприказчиком ко всему их имуществу,

оставленному Лебедянскому монастырю и заключавшемуся в капитале, землях, лесах и домах. В то же время к нам в монастырь был назначен в настоятели Святейшим Синодом ректор Тифлисской семинарии, архимандрит Валентин. Кавказские мои родные уже мне писали о нем весьма неутешительные известия, что вскоре же по его приезде и оправдалось. Ознакомившись с духовным завещанием Федотовых и узнав из него, что монастырское начальство не имеет при мне права распоряжаться завещанным имуществом, а также осведомившись заблаговременно о моем характере, архимандрит Валентин решил меня из монастыря выжить, что называется, не мытьем, так катаньем... Не прошло и месяца с его водворения в нашем монастыре, иду я по дорожке в саду к себе в келью и несу ведерко воды для самовара, тут повстречался со мной новый настоятель и говорит:

- Ай, какое прекрасное вы себе избрали место для жительства, отец Феодосии! Я вам завидую, право, завидую!

И начал он медоточиво излагать всю красоту духовной жизни в уединении, а, кстати, и моего одобрительного поведения; но рацею свою закончил неожиданно такими словами:

- Только вот что, отец Феодосии, я должен вам сказать: нужно вас перевести из этого уединения внутрь монастыря. Мнение мое таково, что там жизнь ваша, будучи на виду у братии, послужит к исправлению слабостей здешнего братства. Здесь вы только спасаете себя, а живя среди братии, вы можете влиять на их поведение.

На том мы расстались - он удалился с ехидной улыбкой, а я остался стоять, как громом пораженный.

Услыхали о том Лебедянские граждане и упросили исправника, чтобы он, будучи в Тамбове, заехал к архиерею и попросил владыку приказать архимандриту не трогать меня из садовой кельи. Владыка просил исправника передать настоятелю, что он не благословляет переводить меня внутрь обители. Приехал исправник к архимандриту с этим извещением в седьмом часу вечера и застал его уже в некоторых градусах повышенного настроения духа, и когда исправник передал слова владыки обо мне, то отец архимандрит в ответ гневно возвысил голос и, как бы передразнивая владыку, сказан:

- Не благословляю! Не благословил!.. Эка штука какая - не благословил! Пусть он благословляет там, у себя в Тамбове, а здесь я начальник и, следовательно,

его не благословение для меня ничего не значит. А вы можете передать вашему Феодосию, что ко дню Пасхи я все-таки переведу его в монастырь, да, мало того, келью его сломаю!

И он в точности привел свои слова в исполнение, но кельи моей не ломал до времени.

И вот перевели меня, грешного Феодосия, в сырую, темную, холодную келью, в которой только что стены были вымазаны известью. И это ранней-то весной, когда еще не могло быть никакой сушки сырым стенам! Мало того: один из иеродиаконов вылил под пол целую бутылку скипидару, так что было трудно дышать.

Утром, едва передышавши ночь, я пошел к архимандриту и сказал ему:

- За что, батюшка, вы мне оказали такую немилость? Ведь, в келье моей невозможно жить.

- А вы, - отвечал он мне, - привыкли, чтобы у вас пахло резедой, или розовым маслом... - и много он мне тут наговорил неприятного.

Делать нечего - надо было покоряться: поднял я окошки, растворил настежь двери и, выдув и мало-мальски осушив келью, затворился в ней, так как ко мне не велено было строго-настрого никого пускать из народа.

Написал обо всем подробно моему великому старцу, батюшке Амвросию Оптинскому, и получил от него ответ - подавать немедленно владыке прошение об отпуске на месяц или на два в Киев. "Когда получишь отпуск, - писал мне батюшка, - то в Киев ты не езди, а приезжай ко мне в Оптинский скит, я же немедленно от себя напишу в тамбовскую консисторию, чтобы тебя не задержали высылкой билета". Я, конечно, так и сделал.

И раньше получал я предложения на перемещение в скит Оптинской пустыни: предлагали мне помещение в келье корпуса Федора Захаровича Ключарева и затем в корпусе, выстроенном графом Александром Петровичем Толстым для отца Климента Зедергольма. Но при всех скорбях моих и воздвигаемых врагом нашего спасения гонениях у меня не было желания оставить колыбель моего иночества - всегда звучал тайный голос в сердце моем: "В терпении вашем стяжите души ваша". И положил я сердцу моему обет - не иначе оставить избранное мной от начала и предуказанное мне место, но если меня будут гнать,

как негодяя, силой власти, по слову Спасителя: "Аще гонят вас во граде, бегайте в другий".

И бывало до нестерпимости тяжело в моем монастыре, и мог бы я в предотвращение скорбен и в воздаяние моим гонителям пресечь их злохудожество непосредственным обращением к митрополиту Московскому Филарету, к которому я имел доступ, но я обращался только к молитве, прося Господа и Пречистую просветить сердца моих гонителей светом благоразумия, во еже творити Святую волю Его, и их молитвами помиловать и меня грешного. И батюшка Амвросий, старец мой великий, тоже все советовал мне терпеть и предаться воле Божией, не открывая наготы братьев моих, чтобы не нанести удара монашеству, и без того уже ненавидимому "умниками" века - либералами, реформаторами, вольнодумцами и нигилистами. И я терпел, и молчал, пока не исполнился час воли Божией, и сам батюшка Амвросий не вызвал меня под благодатную сень великой из великих Оптиной пустыни.

Но мне что-то долго не высылали билета из консистории, и "уны во мне сердце мое, и смятеся дух мой", и не было в моем сердце такого уныния за всю мою многогрешную жизнь. В таких безотрадных мыслях, чувствуя, как непомерной тяжестью навалилась на грудь мою безысходная тоска, лежал я на койке в сырой и холодной своей келье при закрытых дверях и спущенных занавесках и, вдруг, - о. Господи! - отворилась дверь моей кельи, и в келью вошла Сама Преблагословенная Дева Матерь Господа нашего Иисуса Христа, держа Предвечного Младенца на Своих пречистых руках; и в ручках Младенца была виноградная кисть. И протянул мне, окаянному. Младенец ручку Свою с виноградной кистью. А сзади Пречистой вошли святые мученицы; но сколько их было, мне за Царицей Небесной не было видно; и у всех у них были в руках небольшие кресты и высокие, зеленые ветви, наподобие осоки. И сказала мне Преблагословенная Словеса Свои сладости неизреченной:

- Мы пришли навестить тебя!

И с этими словами чудное видение скрылось из грешных глаз моих...

Не могу я передать сладости, ласковости и приятности небесного голоса Пречистой...

Уныние мое исчезало, аки дым, и в сердце водворилось такое неизреченное торжество, такая радость, что сердце мое было вне себя от восхищения и, как голубь, трепетало в груди моей, вырываясь, казалось, и с многогрешной и

окаянной душой моей.

О, Преблагословенная! О, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим!..

LXXII

Вскоре после этого видения, дарованного не заслугами моими, а неизреченной милостью Божией, я получил, наконец, и свой отпуск, с которым и выехал к батюшке Амвросию в Оптину пустынь.

Батюшка с радостной улыбкой меня встретил словами:

- Ну, что - приехал, отец Феодосий!

- Приехал, мой батюшка, - отвечал я, обливаясь слезами, бросившись к ногам святого старца.

- Ну, не скорби - все к лучшему Бог устроил! - сказал дорогой батюшка. - Пей чай да иди к отцу игумену Исаакию, скажи, что я тебя к нему прислал.

Отправился я к отцу игумену и, когда нам с ним келейник подал, было, чай в соседней с залой комнате, я пить чай не стал и на вопрос отца Исаакия:

- Ну, что ж, не пьешь?

Ответил ему земным поклоном и, сквозь слезы охватившего меня волнения, сказал:

- Простите, батюшка: не чай я пришел пить, а просить у вас милости принять меня в число братства вверенной вам обители.

Отец Исаакий быстро вскочил с диванчика и, поднимая меня с пола, ласково промолвил:

- Что ты, что ты? Плачешь о чем? Ведь, ты был у батюшки, отца Амвросия?

- Был.

- Что ж он тебе сказал?

- Да к вам послал.

- Ну, хорошо: пей чай и ступай уже от моего имени к батюшке.

Когда я пришел к старцу и объяснил ему, что прислан отцом Исаакием, батюшка отец Амвросий встал со своей кроватки, надел на голову свою теплую камилавочку, взял меня под руку и, выйдя наружу, повел меня в соборный корпус, где ежедневно совершается братское правило. Там среди комнаты стоял небольшой сафьянный диванчик. Батюшка сел на него и стал снимать с ножек своих сапоги и, когда снял один сапог, я хотел, было, помочь ему скинуть другой, то он удержал меня, сказавши:

- Погоди немного! - а сам обратился к иконе Взыскание Погибших, перед которой горела день и ночь неугасимая лампада, и с лицом, исполненным глубокого и сосредоточенного молитвенного внимания, долго и молча смотрел на нее умиленным взглядом.

Помолившись тайной молитвой перед иконой, батюшка обернулся ко мне, положил на мое плечо свою ручку и сказал:

- Слушай, отец Феодосий, что я тебе скажу - с того времени, как я поступил в скит, я никого лично не водворял на службу в келью. Тебя первого сам привел и первого водворил. Вот тебе келья вместо Лебедянской в саду: смотри ж, живи, спасайся, молись и за меня молись!

С этими словами батюшка встал с диванчика, благословил меня, надел сапог на ногу и пошел из кельи в скитский сад, где его сразу обступила народная толпа, а я, проводивши его, вернулся в соборный корпус в отведенную мне келью, где и прожил с первых чисел июня 1875 года по двадцатого декабря 1876 года, когда неожиданно указом из калужской консистории был вызван к архиепископу Григорию II, которым и был назначен настоятелем в Свято-Троицкий Лютиков монастырь. Настоятельствовал я там, управляя братией, до пятнадцатого марта 1894 года, и оттуда был водворен обратно в скит Оптиной пустыни, где и живу доселе, вот, уже до пятнадцатого апреля 1903 года, когда записываю сие для памяти.

Всего было в моей жизни много и было много мне скорбей и разных неприятностей и от Лебедянской братии, и от начальников, и от самого себя. За все - благодарение Господу! Всем научал Он, Всеблагий, меня грешного и вел неведомыми Своими путями к познанию самого себя, учил терпению, указывал

немоши, таящиеся в моем сердце страсти, о которых я бы без испытаний и не знал, и во всем совершал Он, Неисследимый и Премудрый, Свою святую волю, и да будет она благословенна от всех Им сотворенных и от меня, многогрешного, во веки. Буди! Буди!*

---

* Все, что было мною здесь написано, не для того писано, чтобы кто подумал, что я не имел за собой никаких недостатков, нет. я был много немощнее других и крайне малодушен в часы скорбей моих, утешая себя одной надеждой на бесценность заслуги Сына Божия. Каялся я ежедневно, ежедневно клал и начало к исправлению и... ежедневно видел крайние свои немощи, о чем и плакал, боясь часа смертного и Страшного дня Судного. А писал я, единственно вспоминая из прошлого, как оно было на деле, ничего не прибавляя и не убавляя.

Молю Тебя, Преблагий, не поставь в грех тем, кто гнал меня и ненавидел, и не помяни в день оный, но молитвами их, по бездне благости Твоей, за молитвы Преблагословенной и всех святых, ради дражайшей, пролитой Тобою, Крови Твоей, спаси нас всех. Господи! Озари сердца наши светом Твоего благоразумия, да единым сердцем и устами вси в признательности сердца воспоим Тебе вечное громогласное: Аллилуйя!

У вас, у всех, отцы святые и братья, со слезами целуя руки и ноги ваши, прошу: простите и меня, аще словом, видом или делом когда-либо как-либо оскорбил и опечалил или соблазнил. Простите, ради Распятого на Кресте, мне вся, яже содеял лютых, и помолитесь за меня, а я всех и за все прощаю, как и всегда прощал, не давая солнцу закатиться во гневе моем. Многие скорби принял я и многим сам досаждал, желая и умоляя Господа исправить обитель, в которой я полагал начало моей иноческой жизни, и тем возвеселить сердца, жаждующие славы Пресвятого имени Божия на земле, но зла никому не желал я и, видит Бог, никому не мстил за обиды, мне нанесенные.

Молю и прошу всех отцов и братьев, родственников моих и всех православных христиан, если кто пожелает поминать меня по смерти моей в своей ли частной молитве, или при Безкровной Жертве, поминать и возлюбленные моему сердцу имена великих и неизменных моих благодетелей - Луки Алексеевича и супруги его Любови Степановны Федотовых и матери ее, Александры Петровны Антоновой - вместе с именами моих родителей - Афанасия и Агафьи. А кому это покажется затруднительным, то пусть поминает только их, а имя мое пусть исключит из своей молитвенной памяти. Это духовное завещание для всех

любящих меня, и за послушание воздаст Господь каждому по сердцу его.

Богу нашему слава. Ему честь и держава всегда ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Матерь Божия, спаси нас!

* * *

Несколько слов от составителя биографических воспоминаний игумена Феодосия.

Благожелательство старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Иосифа, с благословения которого составлено это жизнеописание, дало мне возможность воспользоваться рукописным материалом, оставшимся в скиту Оптинском после почившего игумена. Использовал я этот материал, как умел и как мог, но с любовью и в убежденном сознании, что он даже и в моей слабой обработке может и должен принести великую пользу как монастырям русским, этим великим хранителям Православия и Православной России, так и подвизающейся в них иночествующей братии. Быть может, спросит меня кто-нибудь: на чем основана такая моя уверенность? В ответ я не стану вдаваться в подробное оправдание моего взгляда и скажу просто: "Чтущий да разумеет!"

Большим пробелом в воспоминаниях почившего игумена представляется отсутствие какого-либо следа в них о периоде настоятельства его в Троицком Лютиковом монастыре Калужской епархии - от двадцатого декабря 1876 года по пятнадцатого марта 1894 года - и о последних годах его жизни в скиту Оптиной пустыни - с пятнадцатого марта 1894 года по двадцатого октября 1903 года - дня его кончины и венца земной его жизни. Как все, что совершается в жизни этой привременной, творится только волею Божией, то признаем и в этом обстоятельстве Десницу Господню, которой одной - власть открывать завесу прошедшего, настоящего и будущего, и не будем доискиваться на стороне того, чего не нашли в первоисточнике, в уверенности, что не будет это полезно для единой цели как труда моего, так и единой цели жизни всякой души христианской - ее вечного спасения в Небесных Обителях Отца нашего Небесного.

О последних годах жизни почившего в Бозе игумена мне со слов очевидцев известно сравнительно немногое, а вместе с тем и очень многое. Немногое - в

том, что касается, так сказать, исторических фактов из его жизни, а многое - в той великой к нему любви Оптинской братии, которая окружала смирение последних годов его жизни и которая проводила его в последний приют всех земнородных пришельцев и странников - в могилу братского кладбища Оптиной пустыни.

Отличительная черта конца земных Христа ради подвигов почившего игумена, по воспоминаниям Оптинской братии, была его необыкновенная незлобивость, смирение и редкий дар благоговейно-умиленных слез во время совершения Божественных служб, особенно же Таинства Евхаристии*. Славился игумен Феодосии и особым тонким юмором, всегда утешавшим смиренных Оптинских иноков меткостью и назидательностью игуменских суждений в области словопрений или обыденной монастырской общинной жизни.

---

* В полной мере исполнились на нем пророческие слова великого Оптинского старца Макария: "Искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей обогатит тебя смиреньем, и ты будешь снисходительнее к другим". Но величайшая эта христианская добродетель приобретена была им не сразу, как это видно из его автобиографических записок, а постепенно и принесла свой плод только к концу его земной жизни, когда он достиг меры возраста Христова.

Но, все же, отличительной чертой этого выработанного милостью Божией и собственными усилиями воли характера было смирение, которым он до конца дней своих бил своего невидимого врага, общего всему христианскому миру.

Приходит как-то раз игумен Феодосии в трапезную, а там два брата моют посуду и спорят между собою. Один из них говорит:

- Если я вижу брата моего близким к падению, то моя обязанность остановить его на этом пути словом предупреждения.

Другой возражает:

- Нет - это будет с твоей стороны духовной гордостью: этим ты его можешь соблазнить, а себя ввести в прелесть.

Заспорили между собою иноки. А иноки те были из новоначальных.

На спор этот случился игумен Феодосии, пришедший в трапезную с ведром за

водой, чтобы идти мыть в скиту отхожие места. Это было его добровольное послушание. Увидели игумена споряшие и воскликнули:

- Ну, вот, батюшка отец игумен и разъяснит нам наше недоумение!

Игумен в ответ:

- Ну, вот! Ну, вот! Нашли кого спрашивать! Меня-то, дурака?..

- Да, батюшка, скажите же нам что-нибудь по этому вопросу! - не отставали от него молодые иноки.

- Да, что вам от меня, дурака, какая польза?.. Ну, - знай себя и будет с тебя: вот вам и мое дурацкое слово!

С этим словом налил игумен в ведерко воды и пошел чистить скитские ретирады.

Еще один скитский брат рассказывал мне про игумена Феодосия:

- Истинный раб Божий он был, и мне думается, был в нем и дар прозорливости, только он его тщательно скрывал от других. Вот, что я на себе испытал: с небольшим прошло года два или год с чем-нибудь, как я принят был в Скиту послушником, и, конечно, как всякого искреннего новоначального, меня снедала неумеренная ревность о Боге и я, что называется, горел усердием не по разуму. В такое время, крайне опасное для новоначальных иноков, я на свой лад судил и рядил и братию, и скитские порядки: мне казалось, что в Оптиной все не то, к чему стремилась в миру душа моя и, наконец, в мыслях своих дошел до того, что решил уйти из скита, так как нет в нем ни одного спасающегося, и с братией скитской, думал я, только свою погубишь душу, а пользы никому не принесешь... Как-то раз с особенной силой напал на меня этот дух-искуситель, и иду я, понурив голову, по скитской дорожке в саду, а в голове так и долбят неотвязные мысли: уйду, уйду! Сами гибнут и меня погубят!.. Вдруг кто-то меня толк в спину. Я обернулся, смотрю - сзади меня игумен Феодосии - лицо серьезное, а глаза так и светятся добротою и участием...

- Не так, не так думаешь, брате! Все здесь спасутся и спасаются, и ты спасешься, только каждый своим путем.

Проговорив эти слова, игумен отошел от меня, а я был до того поражен, что не сразу даже и опомнился, но мысли мои в голове после этой встречи приняли

совсем другой оборот, и я не ушел из Оптиной и думаю в ней, если Богу будет угодно, и сложить грешные свои кости.

До конца дней своих игумен Феодосий приносил свою службу Богу и едва ли не в день своей кончины служил Литургию.

Здоровьем своим он славился среди Оптинской братии, и дивились же этому богатырю, когда он, бывало, в крещенские морозы из жарко натопленной братской бани нагой, прямо с раскаленного банного полка, выбежит на снег и сидит на нем, пока не переберет мороз все его жилочки и все суставчики. Клубом валит от него банный пар и сверкающим на солнце инеем падает на обнаженное игуменское богатырское тело, а ему и горя мало: посидит, посидит так-то на морозе и опять на полок париться. А было ему уже в ту пору за шестьдесят лет.

- Ну, и молодец же игумен! - восхищались его здоровьем братия.

Когда пришла пора ему умирать, игумен Феодосии послал сказать в скит одному близкому ему по духу брату, что он что-то себя очень плохо чувствует и просит придти к нему и принести с собою аптечку электро-гомеопатии графа Маттеи, в целебное свойство которой он верил. Врач этот застал игумена уже в предсмертной борьбе угасающей жизни с грозным призраком смерти.

- И что ж вы думаете, - сказывал мне этот брат. - Враг-диавол, преследовавший игумена всю его жизнь, и тут не отстал от него: руками кончающегося игумена он срывал с него монашеский его параман, чтобы лишить его спасительных язв нашего Господа, которые он всю свою монашескую жизнь носил на своем теле, и не дать ему отойти с этой печатью монашеских обетов ко Господу... Я не захватил с собой аптеки и, пока бросился за ней в свою келью, пока вернулся к игумену, великое таинство смерти успело совершиться: игумен Феодосии уже лежал мертвый на своей кровати с монашеским крестом в руках, сложенных крестообразно на груди и с параманом на спине, который лежал на нем, как следует истинному воину Христову, представшему на смотр своему Царю, Владыке Христу.

Так кончилась жизнь старца игумена Феодосия. Мир праху его, а молитвами его - милость Господня всем призывающим имя Божие во истине.

Николо-Бабаевский монастырь.

Семнадцатого августа 1906 года.

Часть вторая

Севская игумения Магдалина скончалась двадцать пятого августа в двенадцать часов. Обитель осиротела! Неутешный плач, стон и вопль во всей обители продолжаются; но даже и мирские все рыдают, ее лишившись. Она, матушка, заслужила такую любовь простотой, смирением, терпением и незлобием. Триста сестер успокаивались под ее кроткомудрым правлением. Несомненно, что она получит блаженную вечность: она предчувствовала свою кончину и кое-как намекала о сем; в самое время кончины некоторые сестры видели венец звездный над ее кельей. А площанский отец строитель за несколько дней пред кончиной ее видел сон: будто вдруг небеса отверзаются и отец Леонид (Лев) оттоле говорит игумений: "Магдалина! Скоро ли ты придешь ко мне? Я давно жду тебя и построил тебе келью", - а она будто отвечает: "Скоро, скоро, батюшка, приду". Вот Вам, батюшка, радостно-печальные весточки; Вы, верно, прольете слезы печали и радости о сей досточтимой матери. При трогательном чтении описания кончины ее, нельзя было никому удержаться от слез, а особенно представив пораженных скорбью ее духовных чад.

Из Писем старца Макария Оптинского к монашествующим
(изд. 1862, стр. 65).

Самоотверженная игумения

Оптину пустынь в тридцатых годах прошлого столетия в числе многих, приходивших и до нашего времени приходящих к Оптинским старцам за духовным советом, посещали игумения Севского монастыря Магдалина I с монахиней Досифеей Лыкшиной.

Обе в миру были вдовы: одна - полковника, другая - генерала. Монахиня Досифея в Севском монастыре несла послушание по канцелярской части и потому всюду, во всех поездках сопровождала свою игумению.

Замечено было Оптинской братией и постоянными посетителями пустыни, духовными детьми великого старца Леонида, положившего основание

старчеству в Оптиной, что старец Леонид всякий раз при встрече с игуменьей и ее письмоводительницей с улыбкой, не лишенной для окружающих некоторой таинственности, называл игумению: то - "победитель", то - "фельдмаршал", и особенно часто - "кавалер игумения". И все трое включая старца, улыбались с таким видом, что окружающим казалась несомненной какая-то тайна, какое-то общее для них воспоминание, не лишенное некоторой, если можно так выразиться, игривости, вообще чего-то, чего нельзя вспомнить без улыбки. Великая духовность и святость этих трех лиц исключала даже возможность какой-либо, не только игривой, но даже несерьезной мысли об общем для них воспоминании и, конечно, тем больший интерес возбуждали и прозвища эти и эти улыбки.

Один из современников старца Леонида оптинский монах Арсений, ближе других, вероятно, стоявший к другому великому оптинскому старцу, Макарию, другу, сотаиннику и ученику старца Леонида, заинтересовался и осмелился как-то раз спросить батюшку Макария, что означают эти прозвища игумении Магдалины, но старец отвечал: "После о том узнаешь!"

"И вот, - пишет в своей тетрадке монах Арсений, - прошло с тех пор немало времени, поехал я в Киев. Езда тогда была в Киев через Севск, и я не преминул быть в девичьем Севском монастыре и посетить почтенную старицу, игумению Магдалину, которая при своих посещениях нашей богоспасаемой Оптиной, всегда отличала меня своим доброжелательством и доверием. Старца Леонида в это время уже не было в живых.

При этой встрече с матушкой игуменией я, вспомнив слова старца Макария - "после узнаешь", решился приступить к ней с неотступной и убедительной просьбой объяснить мне, что значили слова и улыбка почившего великого старца.

Была тут еще в игуменской келье, и неразлучная спутница и собеседница игумении, мать Досифея, которая, дай Бог ей доброго здоровья, просьбу мою поддержала, сказав игумении:

- Ну, матушка, скажите ему все - за что называл вас батюшка такими именами да еще потом прозвал нас и "хороводницами". Теперь уж, матушка, времени с того много прошло - чай, и поперемерли те-то, кого это касается. Расскажите-ка, матушка!

То, что рассказала мне матушка, то я здесь и записываю в точности со слов этой

почтенной старицы и хранительницы словесных овец стада Христова.

- Когда в Севск прибыл драгунский полк, офицеры полка зачастили к нам в церковь и порядочно-таки бесчинничали. Ни одной, бывало, вечерни не пройдет, чтобы обошлось без каких-нибудь самых наглых дерзостей от них. И было очень скорбно нашему сердцу видеть такое умаление духа Христова в христолюбивом воинстве, и вспоминались нами со страхом слова Спасителя: "Вы есте соль земли, аще же соль обуяет, чим осолится; нивочто-же будет к тому, точию да изсыпана будет вон, и попираема человеки"*. А в то время офицеры Государева войска, да и теперь, кто были они, как не соль земли Русской?!..

---

* Мф. 5. 13.

К тому времени, как начали у нас в церкви бесчинствовать господа офицеры, в число сестер нам поступила Александра Викентьевна, институтка, красавица собой, и это довело до истинного беснования "христолюбивых" вояк и даже самого полковника, хотя он уже был человек немолодой да к тому же еще и семейный. И пошло у нас в храме такое непотребство, что хоть святых вон выноси: придут наглецы в церковь Божию, шарят во всех углах и громко, с подлым смехом спрашивают друг друга:

- Где она, где она?

Наконец, дело дошло до того, что меня уже из города стали предупреждать, что полковые хвалятся схватить Александру Викентьевну и силой увезти из монастыря. Что тут делать? - думаю: зимой вечерня отходит уже темно - очень удобно похищение устроить, да к тому же, полковник злонамеренно выбрал себе квартиру против самого монастыря и ко злу тем присоединил новое зло: у нас - обедня, а у них музыка гремит, у нас - вечерня, а у них, как станет смеркаться, зорю играют, а сам полковник для тех же офицерских штук зачастил да зачастил в церковь на великий соблазн и скорбь всем нашим монашенкам... Меня, думаю, это в могилу уложит! Ну, рассуждаю я сама с собой, что ж будет толку из того, что я умру от одних своих думок? Умирать все одно, что от думок, что от дела и, призвав на помощь старческие молитвы батюшки Леонида и при содействии всемогущей благодати Божией, я решилась, наконец, на последнюю крайность...

Приказала я собрать всех сестер к себе в келью и объявила им, что в виду

тяжкого соблазна, который угрожает всему монастырю, они должны удвоить свою бдительность и, особенно, усугубить молитвы, а что я до последней капли крови постою за монастырь при помощи старческих и обших молитв. Объявив о том сестрам, я Александре Викентьевне запретила ходить в церковь и, в особенности, к вечерне...

Приблизился для полка праздник - день Ангела полкового командира. Я приказала сготовить пирог с разукрашенными печеньями и просфору о здравии именинника и своего ближайшего соседа и все это послала к нему с матерью казначеей Магдалиной и матерью Досифеей, и приношением этим полковник наш был отуманен, как Валтасар, и попался в ловушку, как Олоферн. Наговорил он тут нашим посланницам с три короба всяких глупостей, а мать Досифея, не переча ему по мыслям, тоже с ним острила и шутила.

- Вы меня уверяете, - спрашивал полковник, - что мать игумения меня полюбила?

- Да, как же вас не любить, - пресерьезно ответила ему мать Досифея, - когда вы нас почти каждый день забавляете!

И так все, в том же духе.

Расстались они с полковником такими приятелями, что хоть бы весь век жить вместе. И обещал полковник явиться ко мне с визитом, а Досифея-то моя, будь умна, да и скажи на это полковнику:

- Покорно просим пожаловать, ваше высокопревосходительство!

То величание его еще более восхитило, и он обещал непременно утешить нас своим посещением, вероятно, уже предвкушая в своем антихристианском сердце образовать из монастыря готовый сераль с мусульманскими гуриями.

Недолго собирался полковник с визитом: уже на следующий день пожаловал ко мне его адъютант - просить разрешения явиться.

Конечно, я ответила, что, мол, просим покорно дорогого гостя. Является гость в полной парадной форме.

- Добро пожаловать, - говорю я, - ваше высокопревосходительство! Покорно прошу - садитесь. Да чем вас потчевать? Мы вот скоромной-то пищи не

употребляем, да нынче-то и день постный...

- Да, я слышал, - отвечает мне весьма любезно полковник, - слышал. Только, знаете, вы это напрасно: к чему эти посты? Это все одна глупость, выдумка, одна фантазия!

- Ну, - говорю я полковнику, - это, ваше высокопревосходительство, не нами установлено, не нами заведено, не нами и кончится.

Пока-то мы так говорили, девушки наши монастырские, по моему распоряжению, то одна, то другая - ко мне, будто как за делом, и все глупый разговор-то прерывают. А он не пронимается и все продолжает болтать свои глупости:

- Вы, мать, напрасно своих девушек так строго держите и никуда не пускаете. Ишь, какие хорошенькие! Просто - прелесть: не стыдно бы их и моим кавалерам под пару!

А девушки мои поминутно ко мне вбегают и все наш разговор прерывают. Я делаю вид, что на них гневаюсь и выговариваю им:

- Ах, подите вы от меня - право, надоели!.. Вот так-то, - говорю я полковнику, - ваше высокопревосходительство, начальнику-то: все хлопоты, и не можно днем хорошего человека принять - и поговорить-то свободно не дадут - сами видите. То ли дело - вечерком: никто нам тогда не помешает. Да вы приходите по-домашнему, без формы, а то нам без привычки страшно на вас и посмотреть!

- Так, так, мать, с удовольствием! - отвечает он мне, - только уж вы, мать, будьте тогда откровенны!

На том мы и простились с господином полковником.

На следующий день этот господин со своими сорванцами пожаловал к вечерне, и в церкви началось бесчинство с еще большим нахальством. Тут подошла к полковнику мать Досифея и говорит:

- Ваше высокопревосходительство! Вас мать игумения просит к себе.

- А, прекрасно, - говорит он, - идем!

Приняла я его так же благосклонно, и он взялся с еще большей дерзостью и

нахальством говорить мне самые непозволительные пошлости.

Делать нечего, протянула я время, пока от вечерни из церкви все вышли вон. И когда мне об этом тихонько доложили, то тут уж я тон свой переменила.

- Девушка! - крикнула я, - а что из церкви вышли?

- Вышли, матушка.

- Так, запирайте ворота и калитки, а ключи принести сюда!

- Ключи здесь, матушка.

- А что ж, - спросила я, - сошлись старшие монахини?

- Есть, - отвечают они, - человек тридцать, матушка!

- Довольно! Пусть войдут сюда!

И когда вся моя приемная наполнилась монахинями, я обратилась к ним и громким, решительным голосом сказала:

- Вот, матери, судите меня с этим человеком!.. А ты, господин командир Государева полка, принявши присягу пред святым Евангелием в добросовестном служении Богоучрежденной власти Царя и Вере Православной, знаешь ли ты, что присягой этой ты поставлен быть блюстителем закона и благочестия в России и особенно, во вверенном тебе полку? Известно ли тебе, что и игумения монастыря имеет от Бога через Святую Его Церковь повеление и святую обязанность блюсти в себе и во вверенном ей словесном стаде Христовом девство, целомудрие, чистоту и заповеди Божий? Знаешь ли ты, что эта обязанность предлежит и всем христианам, но что мы, монахини, в этом еще даем особые и страшные обеты, как и ты присягу твою, перед святым Евангелием во услышание всей Церкви?.. Теперь: если в военное время неприятель атакует полк, что тогда должен делать полковник? - скажи-ка нам, господин, а мы послушаем!

- Конечно, - отвечал растерявшийся от неожиданности полковник, - принимать все меры, чтобы отбить неприятеля, хотя бы это и жизни стоило.

- А если бы кто изменил Царю? - спросила я.

- Тому, - сказал он, - политическая смерть, или расстрел.

- Хорошо!.. Ну, а если волк попадется в овчарне, что должен хозяин хищному волку сделать? Оказать ему милость и выпустить на волю?

- Что за детские вопросы вы предлагаете мне, мать игумения, - смешно, право! Ну, ясно, как день: обыкновенно, убить волка, и все тут.

- Покорно благодарим тебя, господин полковник, за твой праведный суд, - сказала я, - и этот суд твой мы теперь же и совершим над тобою, как над волком, расхищающим агниц Христовых. Дело решенное: ты исполнение этого суда получишь в эту же ночь... А теперь что вы, матери, скажете: убить ли нам сего волка, или глаза ему выколоть? Раздалось несколько голосов:

- Лучше, матушка, глаза выколоть!

- Матушка! - выступила тут из рядов мать Оболенская. - Матушка! Какая неволя руки поганить в волчьей крови, все одно, что в собачьей, а лучше повесим его, как собаку, да и только!

- Нет, нет, Маргаритушка, - сказала я. - не дело говоришь: тогда все вы должны будете подлежать уголовному суду, а я вам сказала, что одна за всех жертвую собой. Подведем мы его к калитке, и я палкой выколю ему глаза, а вслед предам себя в руки правосудия. Пусть уже он останется живым - все-таки, еще и покаяться может... Прощайте, сестры, может быть, более не увидимся! Поминайте в своих молитвах мать вашу, положившую свою душу за вашу непорочность и за охранение ваших девственных обетов, хранить которые я обещалась Богу до последнего издыхания. Пусть я, грешница, буду для вас живым примером.

При этих словах я поклонилась им до земли. Тут прямо стон поднялся в моей келье: плач, рыдание, скорбные восклицания!..

- Матушка! - кричали сестры, - мы все идем с тобой - пусть всех нас посылают на каторгу!

- Нет, - заявила я решительно, - оставайтесь все, я одна иду. Подайте мне ватничек поплоше: на что мне в тюрьме-то хороший?.. Теперь, прощай и ты, господин полковник: больше ты отныне меня тоже не увидишь!

Я и ему поклонилась в ноги.

И что же в моей немощи совершила сила Божия!.. Пока я все это говорила, полковник мой все время стоял, как остолбенелый, и молчал, только трясся, как в лихорадке. Когда же я ему сделала земной поклон, то он зарыдал, как ребенок, и в ужасе воскликнул:

- Права ты, мать игумения! И повинен я лютой казни, но чем же виновато семейство мое? Жена, дети?.. Они должны остаться на век несчастными: умоляю тебя, сжалься над ними!

- Господин! Я лучшего счастья не могу им доставить, как вернуть им отца с вечным уроком благочестия и добронравия. А что теперь? Несчастные, по примеру своего развратного безбожника отца, они и сами будут такими же?

- Нет, матушка, - воскликнул полковник, - клянусь вам - я уже не останусь таким!

- Не легче нам от этого, - возразила я, - вишь у тебя полк - ты всех своих сорванцов заразил своим безбожным развратом. Да и за тебя ручаться опасно: забудешь эту ловушку и будешь мстить; а мы - люди беззащитные: один Бог - наша надежда, Который лишил тебя здравого рассудка. Кончено! И суд кончен!

- Святые матери! - взмолился полковник, - помилуйте, уговорите свою праведную игумению! Я все, что угодно, для вас сделаю!

Тут вступилась за него мать Досифея.

- Матушка! - сказала она, - а что, если господин полковник оставит Севск? Ведь он может переменить стоянку своего полка в другой уезд: тогда нам не может быть никакого опасения.

- Хорошо, Досифеюшка! - ответила я, - а ну, как он нас да обманет? Ему, ведь, только отсюда дорого выбраться, а тогда он другое запоет!

Не успела я этого сказать, как полковник бросился мне в ноги, встал на колени и сквозь слезы начал умолять меня простить его, восклицая:

- Нет, нет, матушка, не солгу! Даю вам торжественную клятву перед Господом Богом и перед всеми святыми, что завтра же распоряжусь о перемене полковой стоянки. Только молю и вас, матушка и сестры, здесь присутствующие, дайте и

вы клятву в том, что тайна этого вечера, пока я жив, останется тайной!

Подумала я, посоветовались между собою с сестрами, и согласились мы помиловать на этих условиях полковника, но я сделала одну оговорку, что тайна эта до времени, которое после его смерти определит Господь, останется тайной для всех, кроме моих старцев духовных, которым я это открыть должна. На том и порешили, дали друг другу взаимную клятву, целовали крест и, после четырехчасового испытания мать казначея с матерью Досифеей проводили полковника до его квартиры, где и расстались с тем, чтобы уже более на этой земле не видеться.

Полковник свято исполнил свою клятву и на следующий же день после памятного для всех нас вечера отправил своему начальству рапорт, в котором донес, что хотя он и полк стоянкой очень довольны, однако во всем уезде тинный прудовой водопой, производящий по наблюдению ветеринара в лошадях мыт и зуд, от которых лошади очень худеют, то он и ходатайствует о скорейшем переводе полка из Севска.

Недели через две слышим, гремит музыка, играют походный марш, и драгунский полк вместе со своим полковником и всеми офицерами выступил навсегда из Севска, а у нас в обители водворилась тишь да гладь, да Божия благодать.

Так совершилась Божия сила в немощи моей человеческой. Вот отчего улыбался при встрече со мной и звал меня "фельдмаршалом" великий оптинский старец Леонид.

* * *

Наказывал Господь русское воинство за отступничество от великого примера боголюбивого Суворова, истинного христианина и верного сына Православной Церкви, казнил Наполеоном, наказывал Севастополем, Парижским трактатом. Берлинским договором, покарал, наконец, кровавой казнью японской; гремит ныне гнев Божий над флотом нашим, почти уничтоженным, и над войском, разбитым и опозоренным в грозе изменнических мятежей и позорных расстрелов безбожных изменников Богу и Царю Православному; с великим трудом остаток воинской чести, доблести и былой суворовской славы поддерживают верные присяге войсковые части во главе с доблестным Семеновским полком; ученые и многоученые военачальники изобретают реформу за реформой для преобразования когда-то великой русской армии, но никому, о Боже великий! - никому невдомек, где корень всему злу, который губит и Россию, и

непобедимую некогда армию!

Не наведет ли подвиг севской игумений Магдалины и стыд посрамленного слабой старушкой-монахиней полковника на верный путь тех, кому ведать надлежит обновление нашего несчастного войска и обезумевшей России?!.. Благослови, Господи!..

Несчастный

В одну из моих поездок в благословенную Оптину пустынь довелось мне встретиться с Божией старушкой, устроившейся доживать свои дни поблизости от этого святого места.

В страшные дни, переживаемые Родиной, терзаемой внутренними и внешними врагами, единственным приютом, где сколько-нибудь успокаивается и смиряется взволнованное сердце, могут служить только эти тихие пристани духа, - наши православные русские монастыри, в которых еще чувствуется дыхание Духа Животворящего, ощущается веяние умиротворяющей благодати святыни. Вне - злоба, ненависть, разгар политических и иных страстей; внутри, в ограде монастырской - тишина, спокойствие, тайна Божьего домостроительства, созидающего новую жизнь нового человека-христианина для новой земли и неба, где правда обитает.

Нет ничего слаще и вожделеннее для смятенного духа или маленькой скорби маленького человека, как тихая эта пристань молитвенных воздыханий человека к Богу. И стремятся эти маленькие люди с трепещущим сердчишком к великому дому Господню; приходите только и пейте от источника воды живой, текущей в вечность - в дому Господнем всем места хватит!..

Моя старушка, от имени которой я и поведу далее рассказ, была из тех, для простоты которых смысл и значение Оптинской благодати утаены не были, и приютила она свою серенькую одинокую жизнь под ее воскрылия. Тут-то и случилась наша с ней встреча, за встречей беседа, а за беседой и история помощника казначея одного из уездных казначейств нашего обширного отечества. Показалась она мне полезной для тех, кто хочет и, с помощью Божией, умеет поднимать свой взор от земли к небу; я и записал ее со слов моей Анны Дмитриевны, а теперь предлагаю вниманию моего читателя.

I

Во второй половине прошлого столетия приблизительно, в предшествующее эмансипации десятилетие, на должности помощника казначея Е. уездного казначейства состоял некто Андрей Александрович Карасев*. С ним-то и произошла та история, что, ударивши по нем, коснулась до известной степени и меня. Андрей Александрович, старый одинокий бобыль, умер в доме моего отца, секретаря местного общественного банка, и повесть своей жизни рассказал мне незадолго до своей кончины.

---

* Фамилия вымышленная.

На памяти моей, Карасев был человеком крайне молчаливого и даже, с виду, несколько угрюмого характера. Но отличительной чертой этого замкнутого й сосредоточенного в себе человека была его ненависть к тому полу, который в те времена звался слабым и прекрасным, то есть к нам, женщинам. Одной мне, да женской половине нашего семейства он как-то делал исключение, а от остальных жен-шин бегал с угрюмым и ненавистническим видом. Ко мне Карасев испытывал что-то вроде нежной дружбы, насколько она могла проявляться в молчаливой суровости его отношений; со мной он иногда и заговаривал сам, и так это было необычно, что даже отец мой заметил и, полушутя-полусерьезно, попробовал ему однажды сказать:

- А что бы вам, Андрей Александрович, жениться на Анюте? А то ведь пропадет ваша пенсия!

Надо было видеть нашего женоненавистника при этих словах моего отца! Он весь как-то съежился, собрался в себя и резко так ответил:

- Нет, кум! Меня на это не возьмешь: у меня на всякую свадьбу заклятие, и меня женить - легче гору своротить!

Сказал, как отрезал, и вышел в другую комнату. Чуть не поссорился он тут с отцом, а уж на что его любил и даже кумом доводился, крестив младшую мою сестру, Клавденьку.

По счастью, размолвка не была продолжительна, и дружба ко мне нисколько не пострадала, а к концу жизни его даже еще усилилась. А все-таки пенсия после

него пропала.

Так угрюм и молчалив был Андрей Александрович, и если бы не его пристрастие к игре в карты, в "мельники", "свои козыри", "в шестьдесят шесть" и тому подобные безобидные домашние карточные игры, во время которых он несколько оживлялся, да любовь его к чтению вслух духовных книг, которые он любил и нам читывать, его с его болезненным видом иной раз можно было принять за мертвого человека. При этой его молчаливости, можно было бы думать, что и история его жизни уйдет с ним в могилу, но его предсмертная болезнь и мой уход за ним в это время нас настолько сблизили, что душа его открылась, и Андрей Александрович поведал мне свою сердечную тайну.

Быть может, ее и знал кто-нибудь из Е-ских старожилов, где мы жили и где служил Андрей Александрович, но мне-то она стала открываться в последний год его жизни, а уж окончательно открылась лишь незадолго до смерти этого несчастного человека.

Собиралась я как-то утром к поздней обедне. Андрей Александрович, как свой уже человек в нашей семье, пил с нами чай и, по обычаю своему, помалкивал. Пока наши пили чай, а я собиралась, принесли с почты письмо, адресованное на его имя. Письмо он прочел, как будто несколько изменился в лице, перекрестился да и говорит мне:

- Анюта! На тебе рубль: пойдешь в церковь, подай за упокой души новопреставленной Синклитикии и отслужи по ней панихиду!

Я взяла рубль, сходила к обедне, помянула рабу Божию Синклитикию, отслужила по ней панихиду и вернулась домой. Села пить чай, смотрю - на полу лежит разорванный и неубранный конверт от письма. Я подняла его, взглянула на адрес и увидала внизу подпись: "Из Тульского тюремного замка"... Меня это поразило: кто бы это мог у Андрея Александровича умереть, да еще женщина, и где же - в остроге? Близких, как мы знали, у него никого не было. Знали мы, что он когда-то был женат, но жена его, как он сам сказывал, у него умерла давно... Кто была эта умершая в остроге Синклитикия?.. И имя-то какое странное!.. Спросить же самого Андрея Александровича я боялась, а помимо него, узнать было неоткуда. Так прошел почти целый год, и я каждый раз, как ходила к обедне, носила Андрея Александровича рубли на помин души новопреставленной рабы Божией Синклитикии.

Было очевидно, что с этим именем связана тайна его души, но что это была за

тайна, выяснилось, как я уже говорила, при конце жизни нашего кума.

II

В начале пятидесятых годов прошлого столетия Андрей Александрович был, что называется, мужчина во всей красе возраста, да и положение по должности помощника казначея, для того мало требовательного в глухой провинции времени, занимал немалое и, стало быть, для многих невест нашего города был приманкой хоть куда. Однако, внимание завидного жениха не обратили на себя барышни состоятельного круга, а выбор его, вопреки ожиданию многих, остановился на круглой сироте, жившей из милости в одном богатом доме нашего уездного города. Красавица она была на редкость, но только и было у нее приданого, что ее выдающаяся красота, понятно, что Андрею Александровичу не пришлось за ней долго ухаживать, и скоро в городе прошел слух о близкой их свадьбе. Вскоре слух этот подтвердился: за жениховский счет невесте было сделано приданое, и тут же вскоре их повенчали. Совершилось все это быстро: горожане наши не успели толком и посудачить о женихе с невестой, как они уже стали мужем и женой.

Вот с этого-то рокового дня свадьбы и началось злоключение всей жизни Андрея Александровича.

Из церкви, после венчания, молодые благополучно приехали домой, где их и всех многочисленных свидетелей нового супружеского счастья ожидал обильный пир. Андрей Александрович не жалел издержек, чтобы как можно торжественнее отпраздновать праздник своего сердца. Но Бог судил иначе, и праздник обратился в горе, а веселье - в плачь, и на плечи молодому свалилась такая скорбь, которой наши горожане, в патриархальности своих обычаев, не только не видывали, но о которой даже и слухом-то не слыхивали.

По приезде из храма после венчания, молодые супруги были встречены толпой поздравителей разного пола, звания и возраста. Полилось шипучее искрометное вино; раздались шумом восклицания, поцелуи, приветствия: в общем приветственном гуле и суматохе смешались все - и поздравители, и новобрачные. Затем веселая и шумная толпа разделилась на группы и разъединила новобрачных... Хлопали пробки, и искрометная влага рекой разливалась по бокалам...

Молодой сиял радостью увенчанной любви, но непродолжительно было его счастье... Распорядитель брачного пира пришел приглашать новобрачных и

гостей к обеденному столу, стали соединяться разрозненные группы гостей, и тут все заметили, что самой виновницы торжества нет ни в одной из собравшихся групп гостей. Раздались по всему дому восклицания:

- Синклитикия Платоновна, где вы?

А Синклитикии Платоновны и след простыл. Искали ее по всему дому, обыскали, можно сказать, все мышиные норки: бегали в сад, искали во всех дворовых хозяйственных постройках... С молодым обморок сделался; а молодая, как сквозь землю провалилась, - так и не нашли Синклитикии Платоновны.

Тут всем стало ясно, что сотворилось что-то такое неладное, настолько что-то необычайное, чему жители нашего города сгоряча даже и названия подобрать не сумели. Что же вышло? А вышло то, что Синклитикия Платоновна для отвода только глаз заглянула в квартиру мужа и воспользовавшись поздравительной суматохой, под каким-то благовидным предлогом вышла из залы, прошла на крыльцо, где уже стоял дорожный экипаж, запряженный четверкой лихих коней, села в этот экипаж и укатила в направлении к выезду из города. Все это, как потом оказалось, видели соседи и ахнуть не успели, а понять-то уже только потом поняли, когда дознались, что Синклитикия Платоновна сбежала с молодым местным помещиком. Узнал об этом и несчастный молодой, но горю своему уже не мог ничем помочь: и молодая, и ее соблазнитель скрылись бесследно из нашего города.

Кто-то из купцов наших, имевших торговые дела с Поволожьем, спустя несколько месяцев после сего романического приключения, встретил будто бы беззаконную парочку в Саратове, но обездоленному Андрею Александровичу легче от этого не стало, и он, по коренному обычаю большей части русских несчастливцев, запил мертвую.

Долго пил Андрей Александрович свою мертвую чашу: пил не неделю, не две, пил месяцы. Конечно, такой образ жизни не мог не отозваться на службе, но начальство с полгода по крайней мере терпело его гибельную страсть, сочувствуя безнадежному горю, пока не было вынуждено сделать ему первого замечания.

За замечанием последовало предостережение; за предостережением - выговор; но, покатившись под горку, Андрей Александрович уже не мог остановиться, и пришлось ему вовсе уйти со службы. Любивший его начальник, расставаясь,

сказал на прощанье:

- Опомнись, Андрей Александрович! Опомнишься - опять на службу примем.

Хоть и посуровее те времена были против нынешних, но больше по виду: стлали жестко, зато спать было мягче. Теперь наоборот: "На устах - мед, а в сердце - лед", - говорит мудрость народная. Грубоваты были, что и говорить, тогдашние нравы, особенно в нашем захолустье, но сердца умели судить по человеку и сочувствовать страданию ближнего. Таково было и начальство Андрея Александровича, увещевавшее его опомниться.

Но где ему было в то время опомниться?!.. Со службы он ушел, а затем и вовсе выбыл из нашего города.

Посудили, порядили наши горожане о событии, погоревали, что стал он жертвой своей неопытности, предали анафеме и коварную, и ее соблазнителя, а затем, как все на свете забывается, забыли и опозорившее наш город приключение с новобрачными...

III

Но не забывало его бедное, измученное сердце Андрея Александровича.

После того как он расстался с нашим городом, осел Андрей Александрович в губернском городе Т., куда со скудными остатками своих сбережений, с погибельной страстью ко всероссийской утешительнице - чарке, перевез и свое одинокое горе.

Когда было пропито все и оставалось только носильное платье, чудом уцелевшее на его грешном теле, пришло время ему волей-неволей приостановить запой. В Т. нашлись добрые люди, разглядевшие и под пьяным обличьем живую и страдающую человеческую душу, и, когда кончился запой, определили они Андрея Александровича по вольному найму писцом в губернское казначейство.

Старая, привычная работа затянула мало-помалу своим механическим трудом когда-то образцового служаку, и потекла на новом месте прежняя чиновничья жизнь - серая, тусклая, однообразная... а все же - жизнь...

Андрей Александрович смирился, но с этого времени сделался тем женоненавистником, каким я его впоследствии узнала, замолчал наглухо и молчал так крепко, что только перед открытой, как говорится, могилой рассказал

одной мне, по особому доверию благодарности за мой уход во время его болезни, историю своей искалеченной, горькой жизни.

В Т., однако, недолго пришлось ему пользоваться своим относительным покоем; недолго продолжалось мрачное полузабытье, каким душа его стремилась отделить себя от соприкосновения с миром...

Снимал он водном из Т-ских переулков, поближе к казначейству, не то от хозяев, не то от жильцов, комнату окнами в переулок.

Как-то, уж под вечер, - дело было поздней осенью, - придя со службы и отобедав чем Бог послал, засел он, по усвоенному обычаю, у окошечка и стал глядеть на улицу... Известны картины провинциальных переулков глухой осенней порой, когда на них спускается сумрак ненастной, холодной ночи!.. Лил дождь, обмывая запыленные с лета и засиженные мухами стекла. Темнело, скорее, серело. Андрей Александрович все сидел да сидел, не отрывая потухшего, безжизненного взгляда от потемневшего окошка, бессмысленно, но упорно следя за струйками дождя, слезящими оконные стекла.

Весь ушел он в свое безотрадное, унылое одиночество. Впереди - тоска, беспросветная, глухая ночь! А позади? Жгучая, незаслуженная, несмытая обида, непоправимое, неисцеленное горе.

Вдруг - стук в соседнее окошко!.. Там - другой, третий... И кто-то упорно барабанил сперва по стеклу, а затем, уже сильнее, по оконной раме.

Настойчивый, наглый стук этот вывел горемыку из его забытья, сжалось сердце от предчувствия какого-то нового неожиданного удара: Андрей Александрович встрепенулся, вскочил и бросился к окошку, в котором от стука дребезжали стекла... Не успел он его открыть, как следует, как чья-то рука сунула в полуотворенное окно какой-то мягкий сверток, и из сумрака сгустившейся осенней ночи вместе с порывом ворвавшейся в комнату промозглой, холодной сырости, как отравленный кинжал, в самое сердце Андрея Александровича вонзился звук знакомого, любимого голоса:

- Андрей! Это тебе - твоя дочь Татьяна. Люби ее вместо меня!

Пока ошеломленный неожиданностью и страшной сердечной болью несчастный успел опомниться и придти в себя, за окном уже никого не было; а в мертвой тишине захолустного переулка где-то вдали погромыхивая, замирал шум колес

удалявшейся кареты, уносившей, как и в тот роковой свадебный день, ту, кому так безнадежно было отдано бедное сердце... Неужто это она была у окошка - жена его по одному только, ею опозоренному, его имени... Не сон ли это был, тяжкий, гнетущий кошмар?..

Нет, то не был сон: в судорожно сжатых руках Андрея Александровича нечто живое закутанное в мягкий женский платок, беспомощно билось и трепетало, пищало жалобно так, жалобно...

IV

Одному Богу было известно, какое чувство руководило матерью несчастного ребенка, кинувшей его в руки коварно обманутого ею человека и мужа только по имени, но Андрей Александрович ребенка не бросил.

Когда он опомнился от страшного нервного потрясения, первым его порывом было броситься вслед за извергом-женщиной, не пощадившей в нем ничего святого. Он, было, и бросился со своим свертком на улицу, но злодейки и след уж простыл; один только убогий огонек уличного фонаря, засветившийся на отдаленном перекрестке в сыром тумане осенней ночи, мог бы указать, куда умчалась мать покинутого ребенка, но он молчал, безмолвный свидетель тяжкого преступления, совершенного предательской рукой над беззащитным сердцем. Куда было бежать?.. Между тем, живое, беззащитное, маленькое существо билось в судорожных конвульсиях, надрываясь от беспомощного плача.

Эта жалкая беспомощность смягчила сердце несчастного... И с той роковой ночи удивленные хозяева, затем соседи, а там и весь переулок узнали, что Бог дал Андрею Александровичу дочку Таню. Одни пожимали плечами не без некоторой доли ехидства; другие недоумевали; третьи пребывали равнодушнее, но таких, конечно, в Т-ском переулке было значительное меньшинство, как и во всякой провинции, склонной проявлять особый интерес к интимной жизни ближнего.

"Это - твоя дочь Татьяна!"

О, злая, беспощадная насмешка! Она жгла бедное сердце и днем, и ночью, как раскаленным железом! Что бы с ним было, если бы не ребенок, отвлекавший заботой о себе его сердце от безнадежного отчаяния, - христианину страшно и подумать! Беспомощность и заброшенность ни в чем неповинного младенца, покинутого на его попечение, гнали от Андрея Александровича черные мысли, и

он кончил тем, что страстно полюбил маленькую Таню. Кто может проникнуть в глубины человеческой души? Не перенесло ли отвергнутое сердце своей любви на то, что было живой частью любимой женщины?.. Дома Андрей Александрович ни на минуту не расставался с ребенком; только служба - источник пропитания этих двух заброшенных существ отрывала его от маленькой Тани, зато все остальное время было посвящено ей безраздельно. Как же любило, стало быть, его сердце и мать этого ребенка!

Но недолго крепился Андрей Александрович: старая тоска, неизжитое горе взяли верх над воздержанием, одолела старая страсть, и - опять завилось горе веревочкой, и затонуло оно в мертвой чаше. Запил бедняга.

В Т., где его меньше знали, меньше и терпели на службе, когда стала заметна начальству пагубная страсть, вернее, болезнь горемыки; со службой ему пришлось расстаться вторично - с тем рушилась, стало быть, последняя преграда, сколько-нибудь удерживавшая его от окончательного падения. Опускаясь с каждым днем все больше и больше, спуская последние гроши, Андрей Александрович дошел, наконец, до того, что стал таскаться по самым последним кабакам, пропивая даже остатки домашней своей обстановки. В ненастный зимний вечер, когда на дворе бушевала такая вьюга, что добрый хозяин на улицу и собаки не выгонит, забрел он с питомицей на руках в один из последних притонов пьяной страсти. Побоялся что ли темной ночью, в морозную вьюгу возвращаться с ребенком домой, или у него к тому времени и дома-то не было, только пришлось ему заночевать с малюткой на холодном земляном полу у кабацкой стойки. Видно, есть до поры до времени у пьяного своя судьба-покровительница, или уж Богу не угодно было погубить исстрадавшуюся душу, только Андрею Александровичу эта ночевка прошла даром, а ребенок простудился насмерть и, прохворав с неделю, отдал Богу свою ангельскую душеньку.

Эта неделя у изголовья умиравшей Тани отрезвила несчастного, со смертью его последней на земле привязанности отступила от него и его гибельная страсть: он бросил пить и уже до конца своих дней более не прикасался к рюмке.

Что творилось в его сердце, что вынесла его душа, когда маленький могильный холмик навеки скрыл последний живой лучик минувших надежд?

Видно, и яд бывает сладок, если его подносит любимая рука. Люди старого закала это понимать умели. Должно быть, понимал это и Андрей

Александрович...

V

Последний, совершенно трезвый период жизни Андрея Александровича весь прошел в нашем городе. По возвращении его приняли на службу в казначейство, где он вскоре занял свое прежнее место помощника казначея. Трезвым-то он был служака отменный.

К тому времени история его настолько успела забыться, что для меня она явилась откровением. Родители-то мои, быть может, ее и помнили, но с нами, дочерьми, об этом никогда не говорили. Наши времена-то были не то, что теперешние: и взрослые не всегда знали то, что теперь детям открывают чуть не с пеленок...

Прошло пять лет со времени кончины новопреставленной Синклитикии, умершей в остроге. От Андрея Александровича, когда он поведал мне свою историю, я узнала, что узница была его женой. Двенадцать лет томилась она в тюрьме, так и не увидав больше земной свободы. Тайну ее преступления Андрей Александрович унес в могилу; только стороной, значительно позже, довелось мне от кого-то слышать, что ее соблазнитель умер от болезни, которая судебным властям показалась подозрительной: едва ли он не был отравлен, и вот по делу-то об его отравлении и обвинялась жена нашего горемыки. В те времена суд был долгий, и Синклитикия Платоновна до суда так-таки и не дожила, отстрадав в остроге и отплатив своими страданиями Небесному Правосудию за то зло, которое она на земле причинила бедному сердцу своего мужа. Но за достоверность этого слуха я не могу ручаться: другое бы дело, если бы я об этом узнала из уст самого Андрея Александровича, а он, как я уже сказывала, на этот счет не обмолвился ни одним словом: видно, хорошо умело прощать его сердце.

Со времени возвращения в наш город, Андрей Александрович поселился в нашем доме и так к нам привязался, что даже крестил вместе со мною младшую мою сестренку. Духовным этим родством он очень дорожил и до конца жизни звал кумовьями моих родителей. Меня же он звал просто по имени - Анютой.

Так вот, когда прошло пять лет со смерти жены, заболел и наш кум-горемыка. Старый ли запой отозвался на потрясенном организме, а, может быть, - кому доступна глубина человеческого сердца - и трагическая смерть жены повлияла, но этой болезни суждено было стать для Андрея Александровича последним

этапом к переходу в вечность.

VI

Необыкновенно заболел предсмертной болезнью наш несчастный. Видно, уж так было Богу угодно, чтобы за исключительные его страдания увенчаться ему и исключительной кончиной.

Был май месяц 1881 года, около двадцать пятого числа. Сирень уже отцвела. Наступало жаркое лето... По издревле заведенному в провинции доброму обычаю, послеобеденные часы посвящались сладкому отдохновению, как тогда говорили, "в объятиях Морфея" или "Храповицкого". После обеда, обыкновенно раннего - не позже двух часов - и после отдыха у нас к пробуждению домочадцев ставился самовар; за которым, обычно, хозяйничали или моя мать, или я, как старшая. На меня же возлагалась и обязанность будильщицы.

Андрей Александрович отдыхал после обеда в одной комнате с отцом: отец - на постели, а он - на диване. До этого дня наш кум был совершенно здоров, да и после обеда лег отдыхать, ни на что не жалуясь. Когда все стали собираться к послеобеденному чаю, а его, смотрю, все нет. Я окликнула его, но ответа не получила. Окликнула опять. Ответа нет. Вошла я в комнату, где он отдыхал, и что же вижу? Стоит Андрей Александрович около своего дивана почти совсем одетый; в руках у него жилетка, и он все мнет ее в руках, а сам ничего не видит и не слышит.

- Андрей Александрович, а, Андрей Александрович! Идите ж чай пить: все уже собрались и вас ждут.

А Андрей Александрович хоть бы голову повернул в мою сторону: стоит, как зачарованный, мнет в руках жилетку, глаза широко раскрытые смотрят куда-то вверх и все в одну точку. У меня сжалось сердце от неясного предчувствия. Я опять - ему:

- Андрей Александрович! Да идите ж: мы чай пить вас дожидаемся!

Он как будто опомнился немного от настойчивого тона моего голоса и стал отвечать, но все не отрывал взгляд от какой-то невидимой мне точки:

- Некогда, некогда мне теперь, Анюта, чай пить: домой надо идти скорее!.. Давай мне сапоги, калоши, шапку, палку!.. Да, неси все скорее... Пора, пора!..

Я не поняла сразу - куда это ему пришла пора собираться и хотела, было, обратить его речи в шутку: думала, не заспался ли мой Андрей Александрович.

- А где дом-то ваш? - спросила я, - куда это вы так идти-то спешите?

- Там - мой дом! - указывая вверх, ответил Андрей Александрович, - там - и мой, и твой, и кума, и всех, всех!..

А глаза у него стали как-то еще больше. На зрачки прямо жутко было смотреть - до того они расширились...

Так вот оно что! - подумала я испуганно...

- Там, там - дом наш! - продолжал говорить, точно в забытьи, Андрей Александрович, - все скоро там будем: и кум, и кума... и ты туда тоже пойдешь в свое время!.. Никто дома своего не минует!..

- Да вы разве что-нибудь там видите? - спросила я, а у самой сердце так и заколотилось.

- Все, все вижу, Анюта... Хорошо там, Анюта! Веди меня туда скорее, скорее веди! Уж немного осталось мне до дому: веди скорее!

- А как немного-то?

- Да три шага всего, а там и дом!

И Андрей Александрович вздохнул с какой-то особенной радостью удовлетворения...

Тут вошел в комнату мой отец, и мы, кое-как надев на Андрея Александровича его жилетку и пиджак привели его к чайному столу. Он шел с нами, как автомат, устремив взгляд все в ту же незримую для нас точку.

Привели его к столу, усадили, налили ему чаю... Он вдруг склонил голову на руки и, облокотившись на стол, стал тереть одной рукой лоб и все в том же полузабытьи говорить.

- Быть и не быть - статья мира такая!.. В этом вся статья мира: сейчас тут, а завтра - где? Был и нету!.. Как - нету? Есть!.. Был, есмь, буду!.. Вот и вся статья мира: быть!..

Все мы тут поняли, что Андрею Александровичу настало время умирать, и что это - ему предсмертное видение.

Водворилось торжественное и вместе жуткое молчание... Продолжалось оно довольно долго, а Андрей Александрович все тер лоб и приговаривал все те же слова...

Наконец молчание наше было прервано моим отцом:

- А мне, - спросил отец, - скоро, кум, там быть?

- Вскоре после меня и ты туда пойдешь! - отвечал ему Андрей Александрович... И мать, и я, и сестра стали его о том же спрашивать, но тут у него внезапно покраснело лицо: он как-то полуоткинулся на кресле и захрапел. Глаза закрылись... Мы хотели его поднять, чтобы перенести на кровать да не осилили - послали за нашим кучером, и с его помощью отец перенес Андрея Александровича в свою комнату. Хотели, было, там уложить его на диван, но сделать этого не удалось: какая-то сила приводила его в сидячее положение... Так мы и оставили его сидеть, обложив подушками, а под ноги поставив кресло.

Он все храпел, но лицо уже не было так красно.

В таком положении он провел восемь суток, не приходя в сознание. Хотели призвать доктора, но кум наш врачей терпеть не мог, и отец мой, боясь, как бы он, придя в сознание, не увидел около себя доктора, звать его не позволил.

Тяжелое для всех нас было время - эти восьмеро суток: приходилось и днем, и ночью дежурить у изголовья больного, ни на минуту его не покидая, в ожидании, что вот-вот он придет в себя. В конце последних суток у него вдруг открылось горлом кровотечение: много вышло крови, и тут кум очнулся в полном сознании. Потребовал, чтобы его обмыли; надел, с помощью отца, чистое белье и, как ни в чем не бывало, только очень слабый, вышел через восемь суток своего забытья к послеобеденному чаю. За столом сидел, как здоровый, но из-за стола встать не смог: с ним сделалось что-то вроде паралича в ногах, и тут-то он уже окончательно заболел своей предсмертной болезнью.

VII

Тяжелая эта была болезнь и сопровождалась таким тяжелым запахом от больного, что отец мой, несмотря на все расположение к куму, уговорил его

поместиться в городской больнице. Сам свез его туда на своей лошади и сдал с рук на руки больничному начальству.

- Не скучай, кум, - сказал он, - навешать тебя будем каждый день. А поправишься - опять к нам, милости просим. Видишь - твое дело идет на поправку: какие были ноги-то твои? А теперь уже и владеть ими начинаешь. В больнице тебя живо выправят.

Кум обещал не скучать. Но не прошло и двух дней, как он неожиданно для всех вернулся к нам в дом, едва передвигая свои больные, опухшие от водянки ноги. Отец был в это время на службе.

- Обманул кума-то: не остался в больнице, - объявил он с болезненной и жалкой улыбкой, - к вам притащился помирать - уж вы меня, ради Христа, не гоните!

У кого же хватило бы духу гнать беднягу, и он остался доживать у нас свои страдальчески последние дни. Но было немыслимо, чтобы он оставался в доме: слишком тяжкий дух шел от его больного, исстрадавшегося тела, и мы на общем совете порешили поместить больного в нашем саду. Была там небольшая холодная постройка - уютная, чистенькая, заново оклеенная обоями комнатка, куда в летнюю жару отец мой любил удаляться на ночлег - от ночной духоты в доме и от утренних мух; вот эту-то комнатку мы и отвели больному. Шел июнь месяц; стояло тепло, и ему в саду было куда лучше, чем в доме. Только другая была беда: никто из прислуги за ним ходить не хотел, не перенося запаха. Пришлось ходить за больным мне, его куме: так и ходила я за ним до последней его минуты.

Тихой, блаженной была кончина страдальца. За две недели до смерти, по его желанию, мы его особоровали и причастили, и с этого дня и до самой кончины он не переставал тихонько, про себя петь: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!..

Изредка просил меня поиграть на гитаре - я на ней немного пощипывала, - а затем опять принимался петь Трисвятое.

Так и прошли последние две недели перед смертью.

Жалел он меня, понимая, что тяжело мне за ним ухаживать, хотя я этого ничем не показывала:

- Потерпи немного, бедная Анюта: скоро, скоро я тебя освобожу - уже и шагу

полного не осталось до могилы!

- Полноте, Андрей Александрович, что вы говорите такое: еще мы с вами "в шестьдесят шесть" поиграем. Бог даст, скоро совсем поправитесь!

А где там было поправиться: больной таял, как догоревшая свечка.

Он загадочно и грустно улыбался в ответ на мои успокоительные речи, а сам все твердил:

- И полного шагу-то и того не осталось!

Я не понимала в то время этих слов: из памяти вышло, что говорил он нам во время своего видения. А дело-то потом само себя оказало, и стало ясно, что это были за "шаги" Андрея Александровича.

Двадцать четвертого августа была суббота. Я пошла вечером ко всенощной. Возвращаюсь домой, а мне прислуга и говорит:

- Вас что-то Андрей Александрович скричался: идите к нему скорей!

Я побежала в сад и с ужасом увидела: стоит мой Андрей Александрович в дверях своей комнаты и не своим голосом кричит:

- Анюта! Беги скорей, купи два хлеба!

И было чего мне по первоначалу испугаться: все время мой больной был без ног, а тут встал сам и стоит у дверей, как здоровый, да еще кричит таким, показалось мне, страшным голосом. От изумления и с перепугу я не сразу ответила, а он опять кричать:

- Беги скорей, покупай два хлеба!

Тут я немного пришла в себя и ответила:

- Успокойтесь, Андрей Александрович, подите - лягте: какие теперь хлебы - булочные все заперты.

- Да не эти хлебы - не булочные: небесные два хлеба принеси для нас с тобой, Анюта!

Не поняла я его, а он-то о Причастии, выходит, говорил, называя его небесным

хлебом.

Уложила я беднягу тут в постель. Он совсем обессилел.

На другое утро, - было это воскресенье - я собиралась к ранней обедне, смотрю - кум кончается, и с первым ударом колокола, отлетела из измученного тела исстрадавшаяся душа страдальца, кого на земле звали Андреем Александровичем Карасевым.

Умер он двадцать пятого августа, а около двадцать пятого мая заболел. Ровно три месяца исполнилось со времени его видения: они-то и были загадочными тремя шагами, отделявшими горькую земную жизнь несчастного от блаженной жизни вечности.

VIII

Плакала я по нем, когда его хоронили - уж очень к нему привязалась за последнее время, очень жалела его за все горе, какое довелось перенести на земле горемыке-куму. Прошло сорок дней со дня кончины. Все сорок дней я ходила ко всем службам, подавала за обедней частички за упокой его страдальческой души, служила панихиды... Только на сороковой день вот что произошло со мной: это вы уж, как хотите, так и понимайте!

Собралась я к ранней обедне последний раз помянуть кума у престола Божия; стала одеваться, да уж, сама не помню, как, сидя на стуле, взяла да заснула. Смотрю - во сне ли то, или на яву, разобраться в этом я не умею, - и вижу: отворяется дверь в мою комнату, и входит сам Андрей Александрович, как живой, но только такой хороший, хороший! И лицо радостное. Входит он и говорит:

- Ты меня не бойся, Анюта! Я только на минуточку: меня насилу к тебе отпустили - уж очень я к тебе просился, и отпустили-то всего на самое короткое время... Да ты меня не бойся же, Анюта!

- Да я и не боюсь вас, Андрей Александрович, - ответила я, а у самой поначалу, ох, как жутко было на сердце... Потом - ничего, обошлось и стало как-то интересно, и радостно: что, мол, дальше будет?

- Вот, зачем я пришел к тебе, Анюта: я хочу тебе показать, какую я тебе рядом со мной комнату приготовил. Хочешь ее посмотреть?

- Покажите, милый Андрей Александрович! Тут Андрей Александрович подошел к глухой стенке моей комнаты, что-то там отодвинул, и моим глазам предстала чудная, светлая, невиданной красоты комната: а за ней - открытая дверь в другую, соседнюю...

- Эту, вот, я тебе приготовил, - сказал Андрей Александрович, - а вот та, другая, рядом - это моя теперешняя. Видишь, как нам будет с тобой хорошо!*

_____

* "И боляй, и служан едину мзду приимут", - говорят святые отцы. (Одинаковую награду получат - и боляший, и служащий ему.)

_____

Сладко стало у меня на сердце: я забыла свой мимолетный страх и уже смело обратилась с вопросом к душе своего кума - я уже знала, что это была душа его:

- Скажите мне, Андрей Александрович: страшно вам было переходить мытарства? Ведь вы уже их, стало быть, перешли, если вас ко мне отпустили?

- Экая какая ты, Анюта! Все-то тебе расскажи. Некогда мне, Анюта - пора домой: ведь я на короткий срок отпущен... Да, видно, делать нечего: еще с тобой минуточку побуду... Есть у тебя тут каша?

- Есть! - ответила я; смотрю: в самом деле, на моем столике откуда-то взялась тарелка, верхом полная каши, и рядом с тарелкой ложка.

Андрей Александрович взял ложку и стал ею брать и откладывать с тарелки по несколько крупинок каши:

- Вот столько, - говорит он, - отдал я за такой-то грех, столько - за такой, а вот столько - за такой...

Все свои грехи пересчитал Андрей Александрович, а тарелка с кашей, как была верхом полная, так, вижу, и осталась...

- А вот, это все, - добавил Андрей Александрович, указывая на полную тарелку, - отдал я за грех тайной злобы, которую я держал на сердце, и только-только хватило мне на расплату... Храни сердечный мир со всеми, Анюта! Всех и за все прощай ото всего сердца; не осуждай никого - и сама судима не будешь!.. А

теперь пока, прощай, Анюта!

С этими словами скрылось мое видение, а я очнулась, или проснулась - это уж вы сами рассуждайте, как знаете. Как была я полуодетая, так и очнулась, сидя на своем стуле.

В приходском храме благовест уже звал меня к последней, сороковой обедне по душе новопреставленного раба Божия Андрея.

Прошло с того вот уже двадцать четыре года, успела я и состариться, и здоровьишко растерять, а все еще обещанной комнаты не могу удостоиться: видно, все ж осуждаю - не исполняю, видно, как следует, посмертного завета на земле несчастного, а в селениях праведных блаженного Андрея Александровича...

Упокой, Господи, душу его в мире и в мире Своем премирном!..

* * *

Такова история, слышанная мною в Оптиной пустыни от Божией старушки...

Подумай-ка над ней, дорогой мой читатель! Не наведет ли она тебя на ту правду, которой тщетно добивается твоя душа в нашем, во зле лежащем мире?..

Из мира Божественной тайны
(К двухсотлетию кончины святителя Митрофана)

В старых рукописях, в которых одно время довелось мне рыться, в поисках святых воспоминаний о великом молитвеннике за грешную Русскую Землю, преподобном Серафиме Саровском, я нашел один документ величайшей важности для православно-христианских упований.

Документ этот - письмо некой генеральши Ефимович к рославльскому помещику Михаилу Николаевичу Семичеву. Письмо это помечено октябрем 1834 года и касается оно благодатных чудес святителя Митрофана, со времени святой кончины которого двадцать третьего ноября 1903 года исполнилось ровно двести лет.

Привожу это письмо в подлиннике.

I

Любезнейший братец! Спешу сообщить вам существеннейшее событие в жизни нашей. Какие чу-дотворения милосердия Божия явлены нам! Какой явной благодати удостоены добродетельные Соколовские!

У них в селе Преображенском было сие святое событие.

Дочь Василия Азанчевского воспитывалась в Смольном монастыре и десять лет была одержима ужаснейшими болезнями: у нее были припадки беснования; была слепота на один глаз и имела ногу изболевшую. Обе монархини - покойная и нынешняя* - приложили о ней многомилостивейшие попечения, но все искусство докторов было бессильно и для нее бесполезно, и она оставалась в лазарете безнадежных. Там удостоилась она видеть во сне три раза святителя Митрофана, который, явившись в последний раз, исцелил ей ногу. Она проснулась, попробовала булавкой онемевшее место, с восторгом почувствовала боль и могла, с помощью ленты, ступить на ногу и ходить. Но она не решилась тогда исполнить приказание угодника объявить сие чудотворение, боясь неверия своих подруг.

---

* Мария Феодоровна и Александра Феодоровна.

Год, как она отпущена из монастыря. Не имея матери, она в Москве просила родственницу свою свозить ее в Воронеж, но болезнь этой родственницы (ее уже нет ныне в живых) воспрепятствовала сему. Болящая Азанчевская крайне сему огорчилась и непременно пожелала, чтобы отвезли ее в Преображенское к Соколовским.

Добрая сестра, Анна Андреевна Соколовская, не щадя своего здоровья, берегла ее дни и ночи, но припадки ее становились так сильны, что во время их самые сильные мужчины не могли ее удерживать.

II

Десятого августа было начало чудотворений.

Дочь Соколовского, Елена Павловна Лыкошина, везла малолетнего сына в

Смоленск к доктору и заночевала в своем имении, в шестидесяти верстах от Преображенского. Там она нашла одного своего слугу умершим, и в ту же ночь видит во сне, что он воскрес и говорит ей:

- Не удивляйся! Это ничего против тех чудес, какие ты увидишь в доме твоего отца. Спеши туда, как можно, к ночи.

Проснувшись в сильном волнении, она тотчас уехала к отцу, куда уже, оказалось, съехалось и много родных, сами не зная почему.

В десять часов вечера начались у болящей припадки сильнее прежних и продолжались до двенадцати часов ночи... Вдруг она воскликнула:

- Верую, святый угодник, верую! Но без ленты ходить не могу!..

Говорила отрывисто, как будто кому-то отвечала, а затем - опять:

- Верую! верую!..

С этими словами она вскочила и, кинувшись как бы к ногам угодника, целовала пол и как бы за кем читала молитвы...

Все были в таком волнении, что никто не собрался с силами за нею писать...

Потом болящая села и говорила:

- Не могу открыть глаз - уже десять лет закрыт... Верую, верую! - и кинулась к ногам угодника; затем наклонилась, как бы, под Евангелие, подходила под благословение; раскрыла грудь, на коей была рана и в которую еще утром Анна Андреевна вкладывала много корпии, и вдруг вскрикнула:

- Помазал, помазал!

Каково же было поражение всех предстоящих, когда увидели, что рана исчезла...

В четыре часа пополуночи она упала на кровать в сильной слабости и отдохнувши спросила:

- Видели ли вы угодника Божьего святого? Отвечали ей:

- Нет, мы недостойны видеть такой благодати. Она опять сказала:

- Он придет завтра и послезавтра... И другой был с ним Тихон Задонский; но я не могла его рассмотреть - так было от него светло. Он принимал Евангелие от святителя Митрофана.

Болящая передала слова, которые ей сказал святитель:

- Вот и я - на помощь твоих страданий! Я прислан от Бога исцелить тебя для прославления Его имени. Терпи, мужайся и не унывай духом. Много тебе будет искушений, а потом получишь исцеление, не будешь иметь никаких болезней, но будешь страдать за имя мое.

На это приветствие она ответила ему:

- Угодно тебе исцелить меня - я буду прославлять благодать, милость и имя твое; угодно тебе прекратить жизнь мою - я, на одре смерти лежащая, в изнеможении сил скажу: да будет воля твоя!

Потом она рассказывала, что святитель Митрофан выговаривал ей за то, что она не объявила никому в Смольном монастыре о происшедшем исцелении ее ноги, которое посему было приписано лечению лекарей. Она отвечала, как было выше сказано, что боялась неверия.

Угодник ответил:

- Кто не верит, пострадает более тебя...

III

В тот день - это было одиннадцатого августа - она получила исцеление глаза, ноги, и рана ее закрылась, но припадки к одиннадцатому часу стали еще сильнее, и она начала упрекать, что брат ее и Лыкошина не истинно верующие, что они хоть и верующие, но вера их пополам с любопытством, и что она оттого сильнее страждет.

В двенадцатом часу ночи явился ей святитель Митрофан. Опять было то же моление. Когда пришла в себя, сказала, что угодник объявил ей, что в следующую ночь он ей откроет жизнь, смерть и Царствие Небесное. К третьему часу ночи спросила себе чистое белье и сказала:

- Рубашка будет освящена нынешнюю ночь.

В десятом часу утра с нею были необыкновенные припадки, продолжавшиеся до трех часов дня.

Следующую ночь явился святитель Митрофан, открыл ей книгу ее жизни, в коей от самого ее детства вписаны все ее дела добрые и дурные, ее чувства и помышления. Потом он показал ей смерть. Она закричала:

- Как темно! - и с ужасом искала себе защиты у угодника и опять кричала: - Заступи, помоги, выведи! - и как бы оборонялась от кого-то.

В это время тело ее местами вспухало и покрывалось синими пятнами. Потом в трепете и исступлении воскликнула:

- Ах, как хорошо и светло!.. Господи! Ты очистил мою душу!

На ее лице был виден необыкновенный восторг... Потом, вдруг опечалившись, воскликнула:

- Для чего же мне еще здесь жить? Кому нужна жизнь моя?.. Да будет воля твоя, святый угодник!.. Молю тебя благословить всех, кого я назову.

И стала называть с расстановкой, как бы давая угоднику повторять имена всех предстоящих, многих отсутствующих и всех православных христиан.

Тут все с воплем кинулись под ее руки, которые она держала так, как бы получала благословение. А она все время явления хватала Анну Андреевну Соколовскую: видно было, что ей хотелось подвинуть ее к угоднику.

Потом святитель Митрофан помазал ее миром. Она подставляла для помазания руки и ноги и отирала их рубашкой. После того как святитель возложил на ее голову руки, тогда она поспешно велела разбудить всех детей, говоря, что лишь их невинные уста должны прикоснуться к сему освященному месту.

По ее словам, святитель ей сказал так:

- Вступая в новую жизнь, старайся приобретать нетленные богатства: смирение, кротость, терпение, любовь и несомненную надежду на милосердие Творца, и да будет твоим путеводителем вера!

Пришедши в себя, она тотчас попросила везти себя в Смоленск к Божией Матери. Велела снять с себя рубашку, так как святитель сказал:

- Ты ею будешь исцелять больных. А затем сказал:

- Тебе явится Ангел-хранитель.

IV

Восемнадцатого числа, в сопровождении всех тогда бывших, поехали в Смоленск, без затруднения и помощи всходила и сходила по лестницам и несколько дней была совершенно здоровой, но часто задумчива, молчалива и сонлива.

Ровно за неделю до Покрова дня - в понедельник - она ослабла и, когда уснула, то вдруг стала ясновидящей: отвечала на мысли каждого, кто сидел дома в третьей комнате. Мучилась, если вдруг чувствовала, что кто-либо искушает каким-нибудь неверием. Говорила такие слова, каких никогда не умела говорить. Потом сказала:

- Не думайте, чтобы это я вам говорила. Нет! Я внушена Ангелом - он при мне. Вот он!.. А в самый день Покрова Пресвятой Богородицы, Пречистая покроет меня Своим святым омофором, и все предстоящие будут видеть эти чудеса.

Тут все в великой радости хотели послать к своим знакомым, но она не позволила, говоря:

- Довольно будет тех, кому нужно быть. Богу угодно избрать для прославления сих чудес Леонида, ректора Смоленского, Павла и Платона Егоровичей Соколовских и Платона Рачинскаго.

Эти дни в Смоленске больная была в отрадном положении - и дни, и ночи, и говорила:

- Ах, как бы я желала, чтобы вы все могли хотя минуту насладиться этим небесным сном, которым я теперь насладилась!.. Ах, как сладостно, как приятно!..

Она вставала поминутно, переходила из комнаты в комнату, потом опять засыпала и опять восне начинала говорить. По всему было видно, что она желала освятить весь дом сопутствующим ей Ангелом, потому что переходила из комнаты в комнату по всему огромному дому.

Она чувствовала, ежели кто подъезжал к дому, и говорила:

- Вот еще едут верующие!

Непонятно, по какой причине съехалось шестьдесят человек, хотя никто не был извещен.

Когда кто входил с малою верою, она начинала страдать тоской и говорить с такой убедительностью, что каждый трепетал и приходил в должное чувство.

Иные боялись, чтобы она именно их грехов не обличила. Она чувствовала их мысли и говорила:

- Боятся иные (не говоря именно кто), чтобы я не объявила их грехов, а забывают, что Спаситель будет судить всех явно, а не тайно, и что сей страх означает совесть нечистую.

И в прекраснейших изречениях начала говорить, как мы должны очищать совесть нашу, подобно садовнику, очищающему сад от дурных растений: он не вдруг, но всякий день понемногу, их вырывает. Так и мы понемногу должны искоренять наши пороки.

Многие хотели записывать ее слова, но она не позволила, говоря, что эти слова должны быть у каждого в сердце, а не на бумаге...

Одна особа, приехав в тот дом, почувствовала такой неизъяснимый трепет, что не могла оставаться вместе со всеми и ушла в верхний этаж. Болящая, хотя и во сне, но явно сказала:

- Бедная! Она страдает, и я страдаю.

На другой день она почувствовала, что та молится Богу, и сказала:

- Погибающая душа скоро обратилась. Потом велела позвать ее к себе, стала над нею молиться, чтобы Бог обратил ее к добродетели, обняла ее нежно и начала говорить:

- Другие думают, что мы достойнее ее, а того не знают, что она была последняя, а теперь первая.

Затем обратилась к Соколовским и с восторгом говорила:

- Добрые души! Они не воображают, как часто Ангел записывает их добрые дела. Они вникли в положение Анны Андреевны Соколовской. Милая и кроткая! Душа ее страдает о сыне и молчит - до сих пор мне ничего не сказала, а он провинился и наказан. Но, слава Богу, что он имеет испытание это в молодых летах.

Сейчас не могу описать вам всех ее разговоров, но скажу о последнем важнейшем происшествии.

V

По возвращении обратно в дом Соколовских Ольга Васильевна (больная Азанчевская) начала говеть к будущему воскресенью, то есть к двадцать третьему числу, и в этот день удостоилась причаститься Святых Тайн.

В числе посетивших ее во время болезни был смоленского Авраамиева монастыря архимандрит Леонид, который приезжал двадцать пятого числа, а потом вторично посетил ее тридцатого числа, ночевал в доме и на Покров день после обедни уехал. Также был того же монастыря эконом из Болдина монастыря игумен Никодим, и она, сонная, рассказывала каждому о чудесном своем исцелении от угодника в таком точно порядке, как описано выше...

Можете себе представить, в каком находились все мы волнении в день Покрова Пресвятыя Богородицы!

Тридцатого к вечеру она стала слабеть и велела положить себя в спальне Анны Андреевны, на ее кровать; и тут начались страдания - тоска о неверующих; и так она металась, что боялись, как бы у нее не отвалилась голова. Многие не могли смотреть и вышли из комнаты, кроме Анны Андреевны Соколовской и Елизаветы Андреевны Храповицкой, которых она от себя не отпускала.

К девятому часу вечера опять все собрались около нее, но она так ослабела, что более походила на мертвую, чем на больную. Тут мы заметили, что она начинает вытягиваться, как при последних минутах жизни, с хрипотой в груди, и, наконец, видим непостижимые для человека чудеса: она поднимает руки вверх и так оставляет их в распростертом положении. Потом опускает ноги с постели и делает земной поклон, опуская голову до полу без помощи рук; потом привстает, и по движениям рук, которыми она обнажает грудь и спину протягиванием оных, равно и ног, мы заключаем, что она помазуется Царицей Небесной. При

сих действиях говорит:

- Радуйся, Радосте наша! Покрый нас честным Твоим омофором.

Сие повторила два раза. Потом становится на ноги и от слабости падает на постель, а ноги ее уже мы должны были положить на постель при помощи других, близ стоявших. Затем мы увидали, что сложила руки, как будто для получения благословения. Тут она начала говорить имена всех родных, всех здесь присутствовавших, отсутствующих и всех христиан, верующих во имя Божие - и все это очень внятным языком... Потом, помолчав немного и все продолжая держать руки в том же положении, она сказала:

- Еще прикажешь?.. Не угодно?..

Приняла руки и положила их на грудь со словами:

- Да будет воля Твоя! Немного погодя она воскликнула:

- Свершилось, свершилось! - и с сими словами села на постель и уже в полном сознании сказала:

- Прославим единым сердцем и едиными устами чудеса Божий!

За сим начала с нами обниматься, а мы - ее поздравлять с благодатию исцеления...

Во все время происходившего мы все стояли на коленях в великом страхе и рыдали.

Исцеленная после этого осталась в постели. Сидя в постели, совершенно здоровая, спросила просфоры, а потом горячего чаю, который ей и подали. Она в этот день ничего не пила и не ела... В постели она оставалась до следующего дня.

В восьмом часу утра первого октября призван был священник отслужить благодарственный молебен и акафист Божией Матери. Затем она встала, и мы все пошли пешком - также и она с нами - в церковь, где отслушали Литургию и молебен угоднику Божьему Митрофану.

Теперь Ольга Васильевна совершенно здорова. При исцелении были:

1) Архимандрит Авраамиева монастыря Леонид.

2) Поручик Александр Васильевич Азанчевский и сестры его. гвардии капитана дочери - девицы Анна и Екатерина.

3) Жена штаб-ротмистра Елена Павловна Лыкошина с малолетним сыном Николаем.

4) Живущая в доме Азанчевских из дворян девица Авдотья Семеновна Азанчевская.

5) Генерал-майор Иассон Семенович Храповицкий с женой, детьми, с живущей в их доме девицей Александрой Алексеевной Курашовой и гувернанткой Елизаветой Егоровной Доланд.

6) Полковник Василий Иванович Рачинский с братьями своими - Платоном, Иваном и сестрой Александрой.

7) Павел и Платон Егоровичи, и Анна Андреевна Соколовские и прочие, подробно в письме поименованные."

* * *

Самому миру не вместить описания всех чудес, источаемых милосердием Божием над грешным человечеством через святых Своих угодников. Наши Четьи-Минеи, Прологи - неистощимое море чудес и знамений, совершенных и до наших дней совершаемых благодатью Святого Духа по истинной и нелицемерной вере в Господа нашего Иисуса Христа. И если приблизилось к нам тяжкое и лютое время, когда, видимо, для всех верующих истощается чаша долготерпения и милосердия Божия, а с истощением ее сокращаются и чудесные явления Духа Милующего, то не на Бога вознесем мы хулу нашу за жестокие язвы, на нас налагаемые, а на самих себя: мы - отступники от веры Христовой, мы - тати и разбойники, ставящие в безумной гордыне своей престол свой выше Божьего, самих себя - на место Творца всяческих. Безумцы мы, жалкие мы, ослепленные миражем устроений земного нашего благополучия, разрушители старого и внутри себя творческого духа для создания нового не имеющие! Куда мы идем, в какую бездну стремимся, очертя голову? Мы, дерзающие признавать христианство дискредитированным, отвергающие Того, Кто один только и есть и Путь, и Истина, и Жизнь, и без Кого мы не можем творить ничего ни в духе, ни в истине?! Откуда же, откуда же возьмем мы дар творчества, когда Первоисточник

всякого творчества нами отвергнут, алтари Его повергаются, храмы поруганы, а призванные быть сосудами благодати Духа Святого - священство царское - стадо Христово и его пастыри и учители предались не устроению Небесного Царства в душе человеческой, а царства плоти, противления Духу Христову, всякой мерзости, хищения и лицемерного обмана в деле, в слове, в помышлении? Можем ли мы требовать у Бога Его милостей, Его чудотворений. Его знамений к нашему благу, к нашему спасению и здесь на земле, и там - на небе, когда доходим и уже почти дошли до полного отрицания Самого Всевышнего?.. Так не говорите же, хулители Духа, остатку верных, и тем, чья вера под злодейским и братоубийственным вашим натиском изнемогает: где Бог ваш и где явления Его Духа, подобные описанному? Не говорите, не дерзайте кощунственно глумиться над достоверными свидетелями веры, бросая в них грязь вашей клеветы, что свидетельство их - лживые легенды, сказки, плод нафанатизированнаго воображения. Вы требуете, чтобы эти чудеса и знамения были вами запротоколированы, вашими отступниками, лжецами и клеветниками засвидетельствованы, вашему суду предоставлены, и тогда только вы им поверите, а святым вселенского христианства всех веков вы не доверяете... Хорошо сказал про вас Спаситель: "если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес - не поверят"...

Так, пусть слова, запечатленные верой этого рассказа будут вам, отступники, в свидетельство, чтобы не сказать вам в день Судный: не было во времена наши свидетелей милости Твоей, Господи!

Христос - вчера, днесь и во веки Той же. Аминь.

Николо-Бабаевский монастырь.
Двадцать второго июня 1906 года

Свидетельство живой веры
(Из келейной монашеской сокровищницы)
I
Истинное событие из жизни княгини Анны Феодоровны Голицыной
(Из рукописи монаха Арсения)

В тридцатых годах прошлого столетия, стало быть, с небольшим семьдесят лет

тому назад, жило в Москве семейство князей Голициных, род которых, вероятно, и до наших дней не потерял еще связи с Первопрестольной и в потомстве своем, надо полагать, и теперь еще здравствует и благоденствует во славу Божию и Родины. Думаем так потому, что полагаем: от семени доброго растет и древо доброе. А от доброго дерева каким же и плодам-то быть, как не по роду его? Так, по рассуждению человеческому, думается нам, если только не успело за семьдесят-то с лишком лет остареть и задичать дерево, корень которого была в тридцатых годах княгиня Анна Феодоровна, в девицах Боборыкина, а по мужу Голицына. Вот о ней-то мы и поведем сейчас речь со слов келейных записок, оставшихся по смерти престарелого инока, современника описываемому в них событию.

Княгиня Анна Феодоровна была по тем, еще сравнительно богобоязненным временам, женщина простая в своих обычаях и, по замечанию лиц ее знавших, обыкновенная, рядовая православная христианка: добрая жена своему мужу, добрая мать своим детям; жила с мужем во времена описываемого события уже одиннадцать лет с небольшим. Теперь такие жены и матери на редкость, а тогда они еще не были в диковину... От природы княгиня была сложения слабого, нрава тихого и спокойного, всегда ровного, простосердечная, но в православной вере твердая. В те времена высшее столичное общество увлекалось чтением мистически-масонских книг, располагавших ум и сердце к пиетизму или просто к полурелигиозной мечтательности, и редкие из представительниц этого общества могли избежать тонкого яда сей духовной заразы. Строго православно настроенная и утвержденная в вере отцов, княгиня Анна Феодоровна избегла общей участи, оценив по достоинству масонскую пропаганду не столько умом, сколько верным чувством своего православного сердца.

Всецело отдавая себя семейным обязанностям, в них сосредоточив все свои земные удовольствия, княгиня свои интересы заключила в домашний обиход, мужу и детям отдавая всю любовь и нежность своего щедрого сердца. Светские собрания, балы, театры, увеселения были ей чужды - она тяготилась и избегала их, не находя там ничего привлекательного. Святые обители, тихие кладбища, поле, лес, загородные уединенные дачи - вот любимые места ее прогулок и посещений. Влекли ее сердце уединение, тишина, безмолвие, и только ради них, как для высшего удовлетворения душевной потребности, она изредка позволяла себе покидать тихий семейный очаг. Но и в домашнем кругу, в беседах с мужем любимой темой для ее разговоров бывали разсуждения о будущей жизни, о состоянии душ умерших за гробом и о приготовлении к смерти. Бывали ей неоднократно благодатные сновидения, о которых она с великим умилением

сообщала своим ближним, но в общем порядке своей жизни она не выделялась какой-нибудь особой духовностью, а была просто верующей, хорошей русской женщиной; в ней блеск европейского образования не затмил тихого мерцания Божьего душевного огонька истовой веры в Бога и Его Православие. Говела и постилась она каждый пост, и всякий раз во время чревоношения, близкое к родам, причащалась Святых Христовых Таин.

1834 год. Седьмого мая княгиня, после очень тяжелых родов, разродилась от бремени близнецами-мальчиками. Незадолго до родов удостоилась она в сновидении видеть Спасителя в том виде, в каком он иногда изображается на живописных иконах: во весь рост, в хитоне розового цвета, с голубой верхней ризой, с раздвоенной на конце бородой, с дивным высоким челом, небесного цвета глазами, и - рукою, ее благословляющей. Рассказывая о видении в великом восхищении, Анна Федоровна передавала, что имела дерзновение просить Господа, чтобы Он преобразился пред нею, как на горе Фаворе пред учениками Своими. И отвечал на ее просьбу Господь:

- Для чего ты теперь этого желаешь? Таким ты Меня узришь, во всей славе Моей, во второе Мое пришествие на землю.

И сказала она Господу в видении этом:

- Тогда устрашусь я, Господи, как и прочие люди; теперь же я этого желаю потому, что очень люблю Тебя, Спасе мой!

И ответил ей Господь:

- Жди же святой недели!

Прошла святая неделя, на которой она причащалась, наступил май, совершилось великое таинство рождения в мир православных душ близнецов ее мальчиков, больная стала уже оправляться, а того ожидаемого ею, что обещано было Спасителем, все не совершалось.

На рассвете двадцать второго мая, уже выздоравливавшая княгиня вдруг почувствовала в себе такую перемену, что, опасаясь быстрой кончины от внезапного упадка сил, потребовала немедленно позвать к ней духовника. Когда прибыл к ее постели духовник со Святыми Дарами, у княгини уже стал тупеть язык, но Святых Таин она удостоилась причаститься еще в полном сознании. Потускневший, было, взгляд ее, после Причащения внезапно прояснился, и на ее

спокойном и светлом, но уже помертвевшем лице появилась живость красок возвращающейся жизни. С твердостью духа, замечательной для слабого ее тела, простилась она с мужем, благословила детей, и прося прошения у всех домочадцев, имела достаточно силы сказать:

- Молитесь обо мне Богу, а я там буду за вас молиться, если буду достойна.

Потом княгиня попросила всех оставить ее наедине с духовником, желая получить от него последние наставления для перехода в вечность и для совершения над ней таинства елеосвящения.

- Не долго уже теперь мне жить с вами! - сказала она окружающим.

Когда началось над нею совершение елеосвящения, она велела позвать мужа и тихо спросила его:

- Слышишь ты это пение? Оно тебе нравится? Князь ответил, что для христианина нет ничего более утешительного. Больная сказала:

- Да! Это пение полезно и важно для земных: только оно одно и может быть для них утешением. Приучай к нему себя, детей и домашних, а я скоро услышу там другое, лучшее - ангельское пение... Мне хорошо здесь было, и там будет хорошо - ты не плачь обо мне!

Когда кончилось соборование, во время которого она была в совершенной памяти, утомленная больная закрыла глаза и впала в беспамятство, продолжавшееся более часа и похожее на сон. Но дыхание становилось все тише, реже и незаметнее - чувствовалось разлучение души с телом, и духовник прочел молитвы над умирающей на исход ее чистой и богоугодной души.

К этому великому в жизни каждого христианина часу смертному успели прибыть к постели умирающей один за другим известнейшие московские врачи того времени, доктора - Р. и К. Освидетельствовали Анну Феодоровну и решительно объявили, что жизнь прекратилась. На лице княгини выступили крупные капли холодного смертного пота. Один из врачей, державший ее пульс, положил руку покойной ей на грудь и объявил окружавшим:

- Скончалась!

Все присутствовавшие опустились на колени и заплакали...

Велико же было общее удивление, когда несколько мгновений спустя умершая открыла глаза, взглянула ясно и твердым голосом, какого от нее за все время болезни не слыхали, спросила:

- Где я?

Надо было видеть в это мгновение выражение лиц у светил медицинской науки, только что с непоколебимой уверенностью объявивших о ее смерти. Надо было видеть радость убитого горем мужа!..

Ничего не нашли сказать в объяснение совершившегося врачи, изумленные и потрясенные, не менее всех остальных присутствовавших. Возвращение к жизни княгини Анны Феодоровны представлялось всем подобием воскресения, тем более, что и сама она, вернувшись в жизнь, выглядела существом другого, нездешнего мира: ожившая была в течении девяти часов вне сознания и понимания окружающей ее обстановки - никого не узнавала и всему земному казалась совершенно чуждой.

Свидетели случившегося с княгиней Голицыной этот необыкновенный случай записали так:

- Где я? - проговорила княгиня по своем пробуждении, - скажите мне кто-нибудь! Неужели я опять в этом темном, скверном, душном и скучном мире?.. Ах, зачем я разлучилась с тем светом, где видела Спасителя? Там такие прекрасные лица... А здесь - какие все уроды, безобразные, грубые, гадкие!..

- Неужели, - спросили ее окружающие, - вы не узнали нас княгиня? Это - ваш муж, а это ваши дети.

При этом лицо, обратившееся к княгине, назвало ей всех ее детей по имени.

- Муж! Дети!.. - повторила княгиня. - Нет, никого не знаю, да и слов ваших не понимаю. Я видела там, правда, детей, но как те были прекрасны!.. А эти... какие они дурные!..

Помолчав немного, она снова заговорила:

- Да, не хотела бы я уходить оттуда: там так хорошо, светло, весело - как мне там было легко!.. Я была там совсем здорова, а здесь мне трудно, тяжело, скучно! Но Спаситель мне сказал: "Поди еще, поживи там, где была, и, когда не будешь там

нужна, Я опять тебя возьму оттуда"... Что же делать!..

Тут она вздохнула:

- Опять пришла на мытарство, на страдание, но нельзя было не повиноваться Спасителю - Он наш Бог, Он искупил нас... Но Он скоро за мной пришлет.

Ожившая умолкла. Спустя немного попросила:

- Как мне хочется видеть Спасителя! Дайте мне Его образ!

Подали образ Успения Божией Матери.

- Нет - не этот, - сказала она, - здесь много ликов, а мне подайте образ одного Спасителя - к Нему одному я стремлюсь. Его одного люблю, к Нему стремлюсь... стремлюсь! Надо любить, почитать и молиться Божией Матери и святым угодникам - это нужно, это необходимо, но там, откуда я сейчас вернулась, там вся жизнь в Господе нашем Христе Иисусе... Его образ дайте мне!

Муж княгини подал ей открытый молитвенник.

- Вот тут, - сказал он, - есть образ Спасителя.

- Нет, - отвечала она, - я не хочу целовать картинки - подайте мне тот самый образ Спасителя, которому молятся.

Подали Нерукотворенный образ Спаса.

- Вот Он, Которого я видела, - воскликнула она в восхищении, - вот Он - Спаситель мой! - и крепко взяв в руки образ, она осыпала Его пламенными лобзаниями, повторяя в восторге: - Люблю Тебя, Спаситель мой! Одного Тебя люблю! Возьми опять меня к Себе!

Потом княгиня обратилась к присутствовавшим:

- А вы любите Спасителя? А если любите, то целуйте Его все, все, - призвала Анна Федоровна. - Он наш Бог, наш Искупитель - нельзя не любить Его!

Все, кто был у постели больной, приложились к образу...

Княгиня велела поставить образ перед собою и, не отрывая от него взгляда,

исполненного неземной любви, смотрела на Спасителя.

Обрадованный возвращением к жизни любимой жены, муж княгини приблизился к ее постели и, наклонясь к ожившей страдалице, нечаянно сел спиной к образу. Оглядевши мужа быстрым, негодующим взглядом, княгиня воскликнула:

- Мне говорят, что это мой муж... Что же это за муж, который так непочтителен к Спасителю! Сейчас обернись к Нему и поклонись - Он Бог наш. Он наш Искупитель!

Приказание было немедленно исполнено. Увидав на руке мужа обручальное кольцо, она спросила:

- Что это у тебя на руке?

- Это обручальное кольцо, мой друг, - отвечал князь.

- Я не понимаю, что это за слово - кольцо, - в недоумении произнесла княгиня.

- Да это то самое кольцо, - напомнил князь, - которым меня с тобой обручил священник, когда мы венчались.

- Почему же у меня на руке нет такого кольца?

- По болезни твоей, мой друг, его с тебя сняли.

- Зачем же?.. Нет. подайте мне мое кольцо - сказано: "Бог сочетает, а человек да не разлучает. Только Бог волен разлучить".

Когда ей подали кольцо, и она сама его надела, то сказала:

- Теперь знаю, когда нас священник обручал. Ты, в самом деле, мой муж.

Тут к больной подошел доктор и попросил:

- Не говорите, княгиня, много - вы слабы. Примите лекарство, или святой воды*. Усните, закройте глаза!

---

* Тогда, в тридцатых годах, очевидно, врачи не отвергали значения для верующих пациентов

святой воды и рецепты свои еще сознательно писали "Cum Deo". Много ли таких врачей теперь?..

_____

- А ты кто такой? - обратилась к нему княгиня, - и что это за слова - слабы, лекарство, сон?.. Какой мудреный, непонятный у вас язык!.. У нас там ничего такого нет, никто так не говорит... Да какое ты право имеешь мне приказывать? Вот, если муж прикажет мне закрыть глаза, так я его послушаюсь: Бог сам велел жене повиноваться своему мужу...

- Что у вас болит, княгиня? - спросил доктор.

- А тебе что за дело? Я закрыла глаза не оттого, что мне больно, а оттого, что мне тяжело смотреть на вас всех, которые утратили в себе образ Божий!

- Ты, мой друг, - обратился к ней муж, - приняла недавно самое лучшее лекарство - Святое Тело и Кровь Христову.

- Да, - согласилась княгиня, - я это знаю и понимаю. Как мне стало после того легко и приятно!.. Только вы напрасно теперь думаете, что я больна: я не больна, а здорова... Я видела там Спасителя, но Он опять послал меня к вам. Тогда князь спросил:

- Не приказывал ли нам через тебя Спаситель чего-нибудь?

- Да, приказывал, - отозвалась княгиня, - Он велел усерднее молиться и лучше жить.

- Скажи мне, мой друг, - попросил князь, - удостоюсь ли я также быть там, где ты была теперь?

- Да, - отвечала княгиня, - будешь и ты там, только молись Богу.

- Кстати, милая, - обратилась к княгине ее тетка, - видела ли ты там Володеньку (это был княгинин новорожденный ребенок, который после крещения вскоре умер), видела ли ты и остальных твоих умерших детей?

- Видела или нет - вам об этом знать не нужно, а если и видела, то вам не скажу, да и не могу сказать, потому что вы недостойны. Да вы меня и не поймете... Какие вы злые - все только любопытствуете, а в душе своей не верите и верить не хотите... Да ты-то кто такая, что у меня спрашиваешь?

- Я - твоя тетка, М. Д., кума твоя, которая твоих детей принимала от купели.

- Ну, - сказала княгиня, - у тебя там другое имя... А меня как у вас здесь зовут? - неожиданно спросила княгиня.

- Тебя зовут Анной, милая!

- У вас тут еще как-то величают друг друга, - сказала, немного помолчав княгиня, - как меня здесь величали?

- Ваше сиятельство, княгиня Анна Феодоровна Голицына, - ответили ей.

- Какой у вас вздор! Там ничего такого нет... Ах, как мне у вас скучно, как скучно быть с вами!

В это время пришел в дом духовник княгини, священник прихода, в котором жило ее семейство. Никто об его приходе ей не докладывал, но она тотчас его узнала и с радостной улыбкой сказала:

- Как я рада вам, батюшка! Благодарю вас, что вы меня причастили и особоровали. Я видела Спасителя, и вас я очень рада видеть: ведь вы носите на себе Его образ... Отойдите все прочь!

Все присутствовавшие отошли в сторону, и когда у ее постели остался только один духовник, она негромко попросила:

- Именем Господним благослови меня, отче, в путь!

Священник благословил ее и, возложив руку на ее голову, громко прочел над нею молитву:

- Господь Бог Премилостивый да ущедрит тя, Господь Иисус Христос вся благая прошения твоя да исполнит, Господь Всемогий да избавит тя от всякие напасти, Господь да научит тя, Господь да вразумит тя, Господь да поможет тебе, Господь да спасет тя, Господь да защитит тя. Господь радости духовные да исполнит тя. Господь душе и телу твоему да будет заступник. Господь, яко милосерд и благий человеколюбец, прошение грехов да подаст ти. Господь Бог Иисус Христос в день судный да помилует тя и да благословит тя во вся дни живота твоего. Аминь!

Взволнованный великим таинством совершавшегося, священник, прочитав

молитву, ушел, а княгиня по уходе его только о нем одном и говорила, но уже голосом изнемогающим. Еле внятно потребовала, чтобы ей подали образ Спасителя и крест, семейную святыню со святыми мощами, в последний раз приложилась к ним, велела отнести на место и коснеющим языком едва выговорила:

- Молитесь и говорите за мной: во имя Отца и Сына, и Сына... Сына...

И со словом "Сына", замершим на ее устах, княгиня Анна Феодоровна Голицына предала дух свой Богу, Которого так возлюбила.

Двадцати семи лет от роду была она, чистая эта и Богу угодная православная русская женщина, когда отлетела со своим Ангелом хранителем ее светлая душа в мир горний и вошла в славу своего Господа.

Для чего даровано было Творцом всяческих ее кратковременное возвращение из небесных обителей на грешную землю к людям, грехами исказившим свое Богоподобие, свой образ божественный, - как знать? Свидетели совершившегося чуда, записавшие это дивное событие, пытались в рукописи своей объяснить его тем, что почившая княгиня, из любви к мужу, обещала ему явиться по смерти своей, чтобы утешить его извещением о своей участи за гробом. Но такое объяснение годится, быть может, для спиритуалистов, а для нас, верующих православных, объяснение только одно - в словах нашего Спасителя: "Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет"...

II
Дивные откровения в сновидениях крестьянской девушки Евдокии

Передо мной старая, пожелтевшая от времени тетрадка в четвертую долю листа старинной, толстой и грубой бумаги; на ней надпись: "Тетрадь иеромонаха Евфимия". На заголовке тетради: "Чудные сновидения девицы Евдокии, крестьянки двадцати пяти лет, бывшие с нею в разные времена ее жизни. Перевод с французских слов Татьяны Борисовны Потемкиной, которая слышала их от Евдокии на простонародном языке"... а ниже заголовка: "Евдокия, девица двадцати пяти лет, крестьянка княгини Горчаковой (ее деревни в Смоленской губернии)"...

Невольно возникают образы минувшего: великосветская, известная, даже

знаменитая барыня высшего русского общества, близкая ко Двору, лично известная и любимая Государями Александром I, Николаем I и почитаемая Александром II, истинно православная христианка, патриотка, богатейшая женщина своего времени - словом, высота знатности и богатства, в русском обществе времен крепостного права, а рядом с нею... простенькая, бедная, темная, крестьянская крепостная девушка... Девушка что-то рассказывает, и, надо думать, рассказывает нечто удивительное, настолько чрезвычайное и интересное, что знатная ее собеседница ловит каждое слово и быстро его записывает в свою книжку... по-французски?!..

Татьяна Борисовна - настоящая, хорошая, православная русская женщина и истинная патриотка по своему складу; она хорошо говорит и чувствует по-русски, ну, а писать и думать она может только на языке Боссюэтов и Фенелонов, которые в то время почитались творцами всей образованности и изящества, на том языке, незнание которого в высшем русском обществе не давало права считать себя образованным... Такое уж было время!..

В конце тетрадки отца иеромонаха Евфимия, неведомого мне старца (уже из третьих, а может быть, и четвертых рук досталась мне эта рукопись), подписано: "перевод отца Феофана Комаровскаго".

Итак, четыре личности в свое время заинтересовались тем, что было записано в этой старенькой, ветхой тетрадке: знатная барыня, аристократка, крестьянская девушка, иеромонах, владелец рукописи, и переводчик ее - тоже человек духовного звания, но не из простых, поскольку знал французский язык образованных русских прошлого столетия. Что же это за ветхая деньми тетрадка, которая могла в себе сосредоточить столько живого интереса, который захватил собою внимание столь разнообразных по своему положению лиц?..

Думаю, и ты заинтересуешься этой тетрадкой, мой боголюбивый читатель, когда, сгладив несколько ее старинный слог, но сохранив без всякого изменения ее содержание, я передам тебе поразительную историю. Слушай!

... Когда сравнялось Евдокии девять лет, у нее умерла от родов мать, разрешившись от бремени двойнями. Новорожденные двойняшки так быстро последовали за матерью на тот свет, что их даже не успели окрестить, Евдокия осталась на руках у отца, человека честного и благочестивого, чего нельзя было сказать с такой же уверенностью про покойницу. Отец Евдокии был крепостной крестьянин княгини Горчаковой, едва разумея грамоту, он имел в своем сердце страх Божий, любовь к ближним и святое сознание обязанности перед долгом.

Все, чем был внутренне богат отец Евдокии, он старался воспитать и в сердце сироты-дочки, внушая ей, что закон Божий состоит в том, чтобы удаляться от зла и творить добро, и что только тот человек Богу приятен, кто несет свой крест в терпении и уничижении.

- Я так была в этом наставлена, - говорила Евдокия, - что только это у меня и было, и, когда надо мной насмехались, я никогда не чувствовала злобы и думала, что в эти минуты угождаю Богу. Это мне помогало переносить людские насмешки.

Евдокия росла девочкой робкой и молчаливой и, казалось, не умела сказать двух связных слов, за что и слыла у своих сверстниц дурочкой. Так и звали ее дурочкой, но господа ею были довольны, поскольку она была очень трудолюбива.

Когда Евдокии еще не исполнилось девяти лет, стало быть, при жизни матери, она увидала во сне, что мать ее должна умереть в течение года. Мать была испугана этим сном, а отец бранил ее, что верит снам ребенка; но сон сбылся, и мать Евдокии умерла от родов в том же году.

Отец старался выучить Евдокию молитвам и часто бивал за непонятливость; и, правду сказать, девочка была не из понятливых и вслед забывала мудреные для ее возраста и развития молитвенные слова, но душа ее, видимо, уже умела молиться и настолько была близка невидимому миру, что девочка опять во сне получила приказание сказать отцу, чтобы он перестал ее бить, потому что все, чему он ее учит, она впоследствии узнает и выучит без труда. Евдокия рассказала свой сон отцу, и на этот раз он ей поверил и бить перестал.

В другой раз она видела: будто находится в каком-то большом храме и моет пол. За работой она приблизилась к церковной стене и увидела в полу отверстие, а в глубине его - гроб. Оказалось подле смышленное с виду дитя, и она спросила:

- Чей это гроб?

Дитя отвечало:

- На вашем языке это гроб, а на нашем покой, там опочивает старец, который в храме этом ежедневно совершает Литургию.

И в самом деле, увидела Евдокия этого божественного старца, совершающего с великим благоговением великое Таинство Вечери Господней и услышала дивное

пение. Видела она потом, как старец этот сел как бы для отдохновения на стул у окна и погрузился в благоговейное размышление. Перед старцем на столе лежали благословенные хлебы и, казалось, он вкушал от них, но не было умаления хлебов. И сказал невидимый голос Евдокии:

- Подойди поближе к старцу: тебе впоследствии предстоит о нем вспомнить!

Подошла она к старцу, упала к ногам его и в умилении омочила их слезами. Поднявшись с полу, Евдокия просила у старца его святых молитв о себе и о ближних своих.

- Я думала, - рассказывала она, - что меня солнышко освещало, а это исходили лучи света и тепла от лика святого старца.

На старце было черное одеяние, и сердце девочки исполнилось к старцу любовью и невыразимым благоговением.

Несколько мальчиков вывели Евдокию из церкви, указывая ей дорогу, и вид их был так прекрасен, таким сияли они светом, что она подумала - это Ангелы...

- Мне показалось во сне, - говорила потом Евдокия, - что я одна найду дорогу, но мальчики эти, или Ангелы, не оставили меня, а проводили, напоминая мне, чтобы я ничего не забыла из виденного, и даже заставили повторить все по порядку, как было, и запомнить в точности и лик, и одежду старца. Они сказали:

- Старец этот - святой Макарий, а храм, в котором он опочивает во святых мощах в гробнице на левой стороне церкви - древний Можайский собор.

Евдокию очень тревожила загробная участь ее матери, и она, в тревоге за спасение ее души, неотступно молила Бога, чтобы Он ей открыл посмертную жизнь матери. Однажды после исповеди, в ночь перед причащением, привиделся ей сон: пришла к ней какая-то женщина и спросила:

- Хочешь ты видеть мать свою?

Евдокия ответила, что желает. Тогда женщина эта предложила сводить ее к известному всей Москве Ивану Яковлевичу Корейше, который жил в доме умалишенных и слыл, а может быть - Бог весть - и был великим прозорливцем. Но, приглашая Евдокию в Москву к Ивану Яковлевичу, женщина сказала:

- Он - колдун и может тебе показать мать твою!

Услыхав слово "колдун", Евдокия во сне от посещения Ивана Яковлевича отказалась, сказав, что нехорошо обращаться к колдунам, ей это строго запрещено отцом ее духовным.

- И в ту же минуту, - рассказывала Евдокия, - я очутилась перенесенной на середину некоего поля, где и увидала два стада: одно стадо состояло, как я почему-то сразу узнала, из десяти с половиной тысячи овец, а другое - из пяти с половиной тысячи; большое стадо было без пастыря, а у меньшого был пастырь и хорошие пастбища. Я попала в малое стадо, и мне среди него было так хорошо, что и выходить из него не хотелось.

- Боже мой! Оставь меня здесь, - сказала я, - нигде мне так хорошо и сладко не было. У нас, теперь зима, а тут - что за весна благоуханная!

Но ответил мне незримый голос:

- Не для того ты сейчас здесь, чтобы остаться, а для того, чтобы рассказать на земле обо всем, что увидишь.

Тут мне приказано было взглянуть на большое стадо, состоящее из десяти с половиной тысячи овец, и тот же голос сказал:

- Видишь ты это большое стадо? Оно без пастуха и нуждается в пастбищах: твоя обязанность словом своим и молитвой возвратить сих овец в хорошее стадо и на лучшие пастбища.

"Видно, господа мои, князья Горчаковы, на меня прогневались, - подумала я, - и назначат меня пасти стадо - ведь у нас, крестьян, обязанность эта почитается самой низкой". Только успела я об этом подумать, вместо большого стада овец на миг увидала я собрание людей, скорбящих и тоскующих, а на месте доброго, меньшого стада явились существа, схожие между собой лицами, и такие все молодые, такие прекрасные, что не описать их человеческим словом. Но это лишь миг длилось. Еще увидала я, что два маленьких ягненка, черные и худые, стоят вне обоих стад, стараясь присоединиться к доброму стаду; но все овцы, к которым они приближались, не подпускали их к себе; и слышны были из доброго стада голоса:

- Это - не наши!

Бедные ягнятки эти, отринутые всеми овцами доброго стада, приютились к одной овце одинакового с ними цвета, тоже одиноко и сиротливо стоявшей вне доброго стада. Овца эта испускала жалобные стенания, и место, где она стояла, было холодное, мрачное, и дышалось там с большим трудом и нуждой великой. И как только увидала я эту овцу, тотчас она изменила вид свой, и в ней я узнала матушку свою, а в двух маленьких ягнятках показаны были мне два рожденных ею близнеца, которые не успели принять Святого Крещения. И - дивное дело! - как только я опознала мать свою и ее детей, вся к ним чувствительность и все о них сомнения превратились в холодность, вместо того явилось желание уйти как можно скорее от этого печального и мрачного места.

И повел меня незримый голос по таким трудным и смрадным дорогам, что я едва в состоянии была идти; но тот же голос сказал:

- Потрудись и ты - Я страдаю более тебя; а затем Я покажу тебе дела еще более дивные.

Ведомая каким-то длинным проходом, я, услыхав жалобные и громкие стенания, спросила:

- Откуда исходят эти стоны? Было мне сказано:

- Это страждущие во аде души грешников. Я попросила:

- Господи! Покажи мне это место вечных страданий!

И голос ответил:

- Я тебе покажу многое.

Была я подведена к краю огромной пропасти, и незримый мой спутник сказал:

- Ты увидишь здесь страшные мучения.

И увидала я в пропасти той народ, кипящий как бы в негашеной извести, и увидев, ужаснулась, и напал на меня страх, как бы и мне не упасть в эту пропасть... Из пропасти этой кто-то невидимый как бы железными щипцами извлек одну грешную душу, и мне было поведено следовать за нею. Я спросила:

- Куда она идет?

В ответ я услышала:

- Душа эта идет отыскивать свое место.

И увидала я мертвое, обезображенное тело, которое при земной жизни принадлежало этой душе. Когда эта душа приблизилась к тому безобразному и мертвому, что было некогда ее телом, то возопила:

- Господи! Неужели мне надо войти в этот отвратительный труп?

И принялась она плакать и сетовать, и стенать жалобно.

Образ души этой был образом человеческим, но только много меньше по величине своей, и душа эта вид имела непривлекательный. Так боялась, так трепетала эта душа от отвращения при виде своего земного тела, что лишь об одном могла вопиять к Господу:

- Господи! Лучше умножь во стократ мучения, какие я терплю в аду, но не посылай меня в это отвратительное тело!

Когда я попросила объяснить смысл этого видения, то услышала:

- Это образ будущего воскресения грешников, ты видишь, что для грешной души самым тяжким мучением будет войти в прежнее свое тело, которое станет вечным, и в нем душа будет испытывать сугубые мучения, так как ее плоть, ставшая вечной, будет служить возгнещением* вечному огню... Обо всем, что ты здесь видишь и что узнала, ты должна рассказать на земле.

---

* Возгнещать - разжигать, распалять.

- Господи! - сказала я, - но кто же мне, простой крестьянке, да еще такой, которую считают дурочкой, поверит, что мне были такие откровения?

- Поверят те, кто помнит Слово Божие, а остальные пусть смеются над тобой: те поверят после.

Тут душа, за которой я следовала, бросилась в кипящую смолу. Не сдержалась я:

- Пойдем отсюда! Голос отвечал:

- Потерпи - близость Моя утешает здесь находящихся!

- Господи! - осмелилась я спросить, - как Ты, Всеблагий, не имеешь к ним сострадания?

И голос мне говорил:

- Я жалею о мире и потому показываю тебе все, что ожидает грешников после смерти. Я дал им Мое Слово, но они забыли его: напомни им угрозу Мою - расскажи, что видела, что было показано тебе из жалости к миру. Я Сам за них страдал более, нежели они. Я дал им даром рай, а они купили себе ад... Но ты просила показать тебе еще адские муки: так вооружись мужеством - ты их увидишь!

Тут была я подведена как бы к какому-то дому и поставлена против его двери, и в дверь эту кто-то сильно ударил, и тотчас эта дверь отворилась... И увидала я "некоего", сидящего в огне, и страшное пламя исходило из уст его... Я была столь потрясена невообразимо страшным видом его, что в ужасе возопила:

- Теперь я вижу, что уже умерла! Но голос призвал:

- Слушай теперь, что тебе будут говорить!

И страшный "некий", в огне сидящий и из себя извергающий пламя заговорил:

- Душа! Чему дивишься? Если ты в продолжении твоей жизни жила, чтобы угождать диаволу и его ангелам, то ты уже больше не Божия, а моя!

Тогда в ужасе я вскричала:

- Так, стало быть, Тот, Кто меня привел сюда, меня оставил?

Но тот же голос, за которым я шла все время, ответил;

- Нет, не оставил Я тебя и не оставлю здесь, но слушай со вниманием слова, которые Я говорю, ибо ты должна все, что услышишь и слышала, рассказать на земле, ничего не прибавив и не убавив из слышанного и виденного.

Обратясь к "ужасному", голос сказал:

- Сатана! Ты ошибаешься: эта душа еще не принадлежит ни Мне, ни тебе: еще не кончена земная жизнь ее.

И изумился тогда "ужасный":

- По какой же причине и за что Ты даешь этой душе такое видение и показываешь ей тайны и глубину Твоих путей?

Голос отвечал:

- Не за заслуги сей души извещаю ей судьбы Мои, но по милосердию Моему к людям, и во свидетельство им должна она видеть и, знать то, что ей показано. Ты поторопился, сатана, послать свою сопротивную силу на землю, чтобы смутить и погубить людей - еще не узнал ты времени своего, и хотя ты успел приобрести царству своему десять с половиной тысяч овец Моих, но Я прошу им и, если нужно будет, то прибавлю тридцать лет земной жизни этим душам грешным, чтобы привести их на путь покаяния. Ты водил свою силу на разорение и погибель народов, ты воздвиг против них свое орудие - Наполеона, но для Меня нет деления людей на французов и русских, а знаю Я только человеческие души. Сила твоя - в злобе и лжи, но Моя сила - в милосердии, и на сто грехов Мне довольно одного доброго дела, чтобы спасти душу. По образу Моему Я сотворил человека, но не для тебя, а для Меня. Люди своевольно следуют и губят себя за тобой, но Я сотворю во время определенное, что они отдалятся от тебя. И сказал мне голос:

- Выйдем отсюда!

И привел Он меня в место сокровенное, где я услышала некое совещание и вновь получила повеление объявить его на земле. Речь там шла о казнях, определенных земле, дабы ими привести людей через покаяние в злых их делах к Богу.

И был совет святых послать на землю язву тяжкую, смертную, или превратить в знамение людям воду в кровь, или потрясти землю великим землетрясением, или уничтожить великий град Москву за беззакония человеческие, как Содом и Гоморру. Но сказал святым Своим Господь:

- Если Я пошлю язву: добрые истребятся вместе со злыми, а не останется на земле добрых, как устоит она? Если воды обращу в кровь, то все живущее на земле погибнет - и люди, и звери, и птицы, и рыбы. Пошлю землетрясение: те, кто будет им пощажен, возомнят, что они лучше тех, которые им будут

наказаны. Москву истребить? Святые, от многих веков в ней почивающие, просят к ней Моей милости, и ради Моей любви к ним пощажу Москву.

Было решено на Совете Господнем опустошить часть земли голодом и не дать ей плодоносить для наказания тех стран, где забыты законы Господни, где презрены священные праздники, установленные в память благодеяний Божиих, явленных Его милосердием грешной земле. А мне поведено было решение Совета Господня оповестить людям моей земли. И усомнилась я:

- Господи! Верить мне никто не захочет, что я была свидетельницей всего виденного и слышанного.

Но незримый голос наставлял:

- Моим повелением уже возвещали в иных странах христиане, сердцем и разумом простые. Теперь и для России Я избираю глас невежественных и слепцов, дабы им посрамить премудрость сего мира. Правосудие Мое истинно, и суд Мой нелицеприятен: твоя обязанность - говорить, а Мне - творить Мою волю. Если в этом году слова твои сочтут басней, следующий докажет истинность твоего посольства. Как верно то, что святой Мой Макарий нетленными мощами почивает в Можайске, так и то верно, что исполнится на людях России Мое наказание.

Еще сказано мне было, что тот старец, которого я видела в своем видении в древней соборной церкви в Можайске и есть святой Макарий, что мощи его почивают в земле сто девяносто пять лет, и молитвы его низведут на Россию великое Божие благословение.

И было мне сказано о пастырях Церкви Господней, о священниках, что весьма немногие из них достойно носят это имя, но как бы ни были они мало достойны великого своего призвания. Литургия, ими совершаемая, все-таки - Литургия, ибо вместо них Ангелы Господни совершают служение. Говорили святые, что грех великий тем священникам, которые нюхают табак во время Богослужения и принимают без должного благоговения Тело и Кровь Христову. Но сказал мне голос:

- Ты слышала в Можайске Божественное служение Моих Ангелов, знай, что и в земном Моем клире ты услышишь певцов Моих, тела которых изможденны Меня ради, а души Мною насыщены. Но много и таких, коих тела насыщены, но души

изнеможены.

О господах наших мне было сказано, что они прогневляют Бога балами, театрами - роскошью сатанинской и обольщением.

И сказано мне было еще про мудрецов мира и ученых, что они забыли Божий закон, не веруют вечным мучениям, учат многому, а "единое на потребу" оставили. Сказал мне голос:

- Не тот Мне любезен, кто много из премудрости земной знает, а воли Моей не творит, а тот, кто хотя и весьма мало знает, но делает много, творя по заповедям Моим.

О военных мне было сказано, что беседа их соблазнительная и нечестивая - мерзость в очах Господних, и что невоздержанность языка их погубит...

Видение это мне было шестнадцатого февраля 1839 года...

Третьего мая 1840 года я видела во сне, что мне должно быть двадцатого мая в Можайске и заказать панихиду по святому Макарию, и молитвы святого отстранят гнев Божий.

В другом сне мне было сказано, чтобы я сходила в Новоспасский монастырь к отцу Филарету* рассказать свой сон. Я пошла к нему и рассказала все, чего удостоилась видеть. Отец Филарет советовал мне не унывать от препятствий, искушений и даже гонений, которых я должна ожидать, а пребывать во всякое время верной Богу и Его велениям.

_____

* Один из тех, вероятно, Божних подвижников, которыми стоит мир и которых весь мир недостоин.

_____

В другой раз я получила во сне повеление идти во Ржев к Спиридону Яковлевичу*, который в то же время видел сон, возвестивший ему мое прибытие.

_____

* Ржевский блаженный Христа ради юродивый и прозорливец.

На третьей неделе Великого поста 1839 года, в ночь с пятницы на субботу, я видела сон, в котором мне было приказано рассказать все, что видела. Великому Князю Наследнику Александру Николаевичу. В этом же сне, в утверждение моей душевной бодрости для исполнения страшного приказания предстать пред очи Наследника Русского Престола, мне было показано, что и Наследник имел в ту же ночь видение Господа, Который ему сказал:

- Хочешь ли ты знать пути Мои?

- Хочу, Господи! - отвечал Великий Князь. И ему было сказано:

- Не от Меня ты услышишь их, а вот эта тебе их расскажет.

И я была показана Наследнику в его сонном видении.

Но прежде чем мне решиться говорить с ним. со мной сделалось такое душевное томление, такое явилось отвращение от исполнения данного мне поручения, что я себе места нигде не находила, пока, наконец, находясь в церкви, не приняла твердого решения идти к Государю Наследнику во что бы то ни стало. Необходимо мне было сказать об этом своим господам и просить их разрешения, и, к великой моей радости и удивлению, господа меня выслушали с любовью и дозволили следовать моему внушению.

В это время в Бородине были военные маневры, на которых присутствовали Государь Император с Наследником Цесаревичем. Когда я подошла к Наследнику Престола, он спросил меня, что мне нужно. Я рассказала ему мои сны и, чтобы он поверил им, прибавила, что я та самая, которую он видел во сне в ночь с пятницы на субботу третьей недели Великого поста. Ночь эта оказалась отмеченной в памятной книжке Великого Князя и, крайне удивленный, он выслушал меня с большим вниманием и немедленно послал меня в палатку Государя Императора. Целых два часа я пробыла у Государя, рассказывая ему обо всем виденном и удостоилась монаршей милости: Государь приказал через князя Орлова выдать мне десять рублей. Я не хотела их брать, но и отказаться побоялась, потому что это было приказание Императора.

Рассказывая Государю о бедствиях, которые угрожали России, я сказала, что он может их, отчасти, предотвратить открытием мощей святого Макария. Государь на это ответил:

- Я недостоин такого дела. Тогда я спросила:

- А разрушить древний Алексеевский монастырь, чтобы на том месте выстроить новую церковь. Ты почел себя достойным, не потрудившись даже вопросить людей богоугодных, угодно ли то Божией воле?

Мне показалось, что слова мои тронули Государя, и я прибавила:

- Ты назначил на построение новой церкви семнадцать лет, но я тебе скажу: если бы ты открыл мощи святого Макария, то церковь в его имя выстроил бы в короткий срок, а новую тот, кого ты назначил строителем, не выстроит и в семнадцать лет!..*

---

* Примечание Т.Б. Потемкиной: "В самом деле, спустя несколько месяцев он умер".

Выслушав, Государь угрожал мне тяжким наказанием, если окажется, что все рассказанное я выдумала от себя, но я ответила ему, что для меня лучше претерпеть всякие казни, чем молчать, ибо я получила повеление говорить. Когда я вернулась из Бородина к своим господам, то, оказалось, что Меня уже ожидало от них гонение: отнесясь прежде с верой к моим видениям, теперь они выражали к ним презрение, укоряли меня в тунеядстве и бродяжестве, а затем объявили сумасшедшей.

Тяжко мне было вступать в прежнюю свою жизнь, и я, наконец, решилась опять оставить своих господ и идти в Петербург, чтобы увидеть Государя и напомнить ему о суде Божием над Россией. Пришла я из Москвы пешком с рублем серебра и отправилась в Петербург. Не зная здесь ни одной души, я попросила первого, встреченного мной, будочника свести меня на съезжую, так как у меня не было ни паспорта, ни пристанища. На съезжей и в управе благочиния, я провела четыре дня, вынося всякие насмешки, но и там нашлись люди, которые меня слушали со вниманием. Из полиции, сняв допрос, меня перевели в большую тюрьму, где одна из тюремных надзирательниц, пожалев меня, вывела из тюрьмы и взяла к себе в дом на поруки.

На том и конец удивительного свидетельства гверы*. И уже видится мне современный мир неверия и отступничества, куда отдаю эти строки: много ли в этом мире найдется людей, которые с должным вниманием отнесутся к

неисповедимым путям Божиим, явленным здесь, открываемым младенцам, подобным крепостной крестьянской девушке Евдокии, и сокрытым от премудрых и разумных?..

---

* Как от тюремной надзирательницы попала Евдокия в палаты Татьяны Борисовны Потемкиной, неизвестно, но можно думать, что при всем известной доброте этой боголюбивой женщины, дававшей приют в своем доме странникам и странницам всякого звания и посещавшей своей добротой места заключения, нетрудно было до нее добраться и Евдокии. Пути Господни неисповедимы.

"На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы".

Когда знаешь духовную слепоту современного человека и страшные кары Божий, на него ниспосылаемые, сердце, смятенное от страха надвинувшихся и грядущих бедствий, невольно ищет в словах Спасителя грозного предупреждения и для современных событий и в них видит угрозу близкого Страшного всеобщего суда Господня.

Судить грядет Судья Грозный и Нелицеприятный слепотствующих богоотступников!

Покайтесь!

III
Видение одного послушника

Когда архиепископ Ювеналий (Половцев) был настоятелем Курской Коренной пустыни, он получил от одного из послушников этой обители извещение в виде докладной записки об удивительном видении, которого этот послушник был удостоен. Близость архиепископа к Оптиной пустыни, где он полагал начало своему иночеству и с которой не терял общения в духе до конца жизни, оставила след этого дивного видения в копии с помянутой докладной записки в бумагах и рукописях одного оптинского монаха. От этого монаха я получил копию в свое распоряжение и хочу поделиться с моим боголюбивым читателем. Записка эта довольно малограмотна, но изложение настолько ясно, что я приведу ее в подлиннике, исправив лишь погрешности против правил правописания.

"Его Высокопреподобию настоятелю Курской Коренной Рождества Богородицкой пустыни, отцу благочинному монастырей, архимандриту Ювеналию.

Простите, батюшка, с вашего благословения Приступаю к сему делу с дерзновением и, объятый слепотою и неразумием, прошу и надеюсь, что вашим благоразумием и милостивой отеческой любовью они будут покрыты, ибо в вашей особе вижу истинного служителя Божиих Таин и потому вручаю себя вашей святыне.

Как теперь, помню, меня жестоко смущал помысел оставить монастырь и уйти в мир. Соизволяя сему помыслу и смутившись сердцем и душой, й предался отчаянию и, наконец, решил осуществить свое намерение. Это было в четверг, а уйти из монастыря я назначил себе в воскресенье.

На следующее утро, то есть в пятницу, когда, по чиноположению монастырскому, будильщик ходил будить братию к утрени, он зашел и ко мне, но я по обычной своей лености, лег опять на постель - подождать, когда зазвонят к утрени, и тотчас заснул.

И представилось мне странное видение: вижу, что я будто уже умер без покаяния, сижу над своим телом и горько плачу. И внутренний мой голос говорит, что я осужден в ад на вечное мучение. Пуще прежнего я заплакал и говорю:

- Господи! Если бы я знал, что умру в настоящую ночь, то сходил бы к своему духовнику, покаялся бы и просил бы братию помолиться обо мне. А теперь я умер без покаяния, и что мне теперь делать? Господи! Хоть бы Ты, подвергнув меня временно мучениям, дал мне воскреснуть, чтобы принести покаяние: Ты долготерпелив и многомилостив, и что невозможно у человека, у Тебя все возможно.

В ту минуту, когда я взывал к Господу, явился некий Юноша, весьма красивый лицом, в белой, блестящей, как бы шелковой одежде, опоясанный крестообразно на груди широкой розовой лентой. Подошел ко мне этот Юноша, взял за руку и повел в какое-то темное, мрачное место. Ах, что же я там увидел!.. Много нагих людей сидело там: одни горько плакали, другие жалобно стонали, а иные, скрежеща зубами, рвали на себе волосы и кричали:

- Увы! Увы! Горе нам! О, горе, о, беда!..

При виде этого сердце мое исполнилось страха и ужаса, так что я затрепетал. И говорит мне Юноша:

- На это место мучения широким путем пришли люди, а теперь я покажу тебе, куда тесный путь вводит, и куда войти можно только скорбями многими.

И только он выговорил эти слова, как явился другой Юноша, во всем подобный первому, и назвал его по имени, но имени этого я припомнить не могу. И Юноша этот берет меня за руку и говорит первому, приведшему меня:

- Пойдем к его гробу: там начали петь панихиду!

Тут мы все трое очутились в нашем соборе, но только ни гроба, ни тела моего я там не видал, а лишь слышал пение: "Твой есмь аз, воззови мя, Спасе, и спаси мя".

Мне стало вдруг легко, радостно и весело на душе. И говорит мне первый Юноша:

- При пении панихиды душе делается всегда весело.

В это мгновение представилось мне, что мы стоим пред какими-то великолепными вратами, и вижу я, у врат этих стоит множество Ангелов в белых сияющих одеждах, и лица их - красоты неизреченной. Путеводители мои вошли в эти врата невозбранно, а меня предстоящие Ангелы туда не допускали, и один из них сказал:

- Писано есть: ничтоже скверно внидет семо! Тогда один из моих путеводителей обернулся на эти слова и сказал Ангелам:

- Пустите его - Бог милосердует о нем!

По слову его расступились Ангелы и дали мне дорогу. Не успел я переступить порога врат, как раздалось неслыханное, великолепное пение:

- Сии врата Господни и праведные внидут в них!

И так пение это было приятно, что я не мог достаточно насладиться несказанной его сладостью.

Пройдя врата, мы вступили во внутренность какого-то дивного храма, и там я увидел великое множество людей всякого возраста и звания, и одни из них держали в руках кресты, другие - зеленые ветви, иные - цветы, иные - свечи, а некоторые ничего в руках не имели, но все были в великом восхищении и неизреченной радости. И носился там благоуханный воздух, тонкий и приятный, как бы голубого цвета. И сказал мне один из Юношей:

- Смотри - это покой мирских людей... Пойдем далее: я покажу тебе покой монахов, потрудившихся в Коренной обители.

Тут мне показалось, что мы поднимаемся как бы по лестнице куда-то выше. И я спросил водившего меня Юношу:

- Позвольте мне узнать ваше имя! Юноша отвечал:

- Имя мое - Послушание. Запомни же, что и тебя послушание ведет в Царство Небесное.

Только были сказаны эти слова, как мы вновь предстали пред великими вратами и затем оказались в храме, или обители, красоты неописуемой и еще более великолепно сияющей, чем виденный мною раньше храм. И пояснил сопутствующий мне Юноша:

- Се - покой монахов!

В умилении и восторге, не в состоянии достаточно насладиться открывшимся предо мною зрелищем, смотрю я влево от себя и вижу как бы облако, а на нем - множество Ангелов, и плетут они венцы из различных цветов такой красоты и приятности, что нет им подобия на земле нашей грешной. Спросил я:

- Кому эти венцы и цветы? Последовал ответ:

- Работающим в терпении усердно Господеви, терпящим скорби в самоотвержении, писано бо есть: "Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает; не даст молвы праведнику". Терпи и ты: терпение преодолеет всякие скорби. Ибо говорит Господь: "В терпении вашем стяжите души ваша". Вмале потрудившиеся покоиться будут здесь вечно со святыми отцами. Все они терпением заслужили славу. Жизнь земная ни что иное как воспитание младенца, потому и писано: "Аще не будете аки дети, не внидете в Царство Небесное. Разбери свойство доброго отрочати и поревнуй!"

Наслаждаясь красотой небесной обители, мы пошли далее и вступили в просторную долину, где росли многоразличные цветущие деревья, а некоторые были с плодами, только я не мог понять - с какими. По долине протекали дивные реки чистой, прозрачной, как хрусталь, воды, и весь воздух был напоен ароматным запахом бесчисленных прекраснейших цветов. Спутник мой Юноша, указывая на это место, сказал:

- О нем, провидев духом, говорил пророк Исаия: "Имже не возвестися о нем, узрят, и иже не слышаша, уразумеют". А апостол Павел, увидев славу, уготованную любящим Бога, желал разрешится и со Христом быти. Пророк же Давид, мысленно созерцая эти покои Господни, так говорил: "Покой мой зде, да вселюся в онь. Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни"... Слышал, сколько я привел тебе свидетельств? Смотри же, зажегши светильник веры, не угаси его и старайся сосуд твой наполнить елеем добрых Христа ради дел, чтобы выйти тебе с радостью во сретение Небесного Жениха, Христа. Если будешь всегда таков, как теперь, и станешь верою ограждать себя от духа уныния и отчаяния, я всегда буду с тобой".

И сказал мне Юноша:

- Пойдем к Престолу Господа Вседержителя Иисуса Христа!

Двинулись мы далее все той же прекраснейшей долиной и увидали впереди нас стоящий хор Ангелов и как бы храм, а посреди его - второй ангельский хор, стоящий по левую сторону, а по правую - третий. И расступились перед нами Ангелы, давая нам невозбранный проход и смотря на нас с улыбкой небесной любви и радости. Когда же мы проходили через ангельские ряды, то два моих спутника, Юноши-Ангелы, тихо коснулись моего плеча и сказали:

- Блажен ты, юноша, что оставил мир и измлада возлюбил Христа Господа!

И Ангелы запели: "Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки!"

Что же это было за дивное пение! И нет ему подобия в звуках человеческого пения!..

Тут увидел я: с левой стороны стояли три аналойчика, подобные нашим церковным, на одном лежал Крест, изукрашенный цветами, на другом - Евангелие золотое, на третьем - икона Знамения Божией Матери. И смотрел я,

как идет прикладываться к ним попарно, с великим благоговением множество монахов, одетых в белоснежные одежды: игумены впереди, за ними архимандриты, сзади архимандритов - иеромонахи, монахи и послушники.

Сказал мне Ангел:

- Это монахи, потрудившиеся в Коренной пустыни.

Ангел назвал их всех по имени, но имен я не помню.

Я спросил:

- Где же отец Иоанн Асеев? Ангел ответил:

- Он здесь.

- А можно его видеть? - спросил я.

- Нет - отвечал Ангел, - увидишь его после. Пойдем и мы приложимся!

И пошли мы в паре с моим Ангелом и, когда мы подошли ко Кресту, то Ангел сам перекрестился и сказал мне:

- И ты перекрестись!

Мы приложились ко Кресту, Евангелию и иконе. И в это время правый хор Ангелов запел: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...", а левый затем пел: "Просвети мя светом разума святого Евангелия Твоего". Потом вышли все хоры ангельские на середину храма и запели: "Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе Моем"... - и так до конца песни.

Если бы душа моя была в теле, то расторгся бы их союз: до того сладко, величественно и великолепно было ангельское пение. И трепетала душа моя восторгом невыразимым.

При небесных звуках этого песнопения храм наполнился такого благоухания, что и уму представить невозможно. Не передать мне языком человеческим того восторга, радости, услады сердечной, какие испытывала тогда моя душа, растроганная и умиленная.

В храме, где совершалось это дивное торжество, иконостаса не было, а место его занимала как бы огромная завеса розового цвета, и по всему храму сиял свет

светлее в бесчисленное число раз земного солнца, так что не было возможности смотреть вверх от нестерпимого блеска.

И там, в свете неприступной славы Своея, был Престол Господень...

Но я не мог Его видеть...

И сказал тогда мой Ангел:

- Теперь пора тебе к утрени. Только помни, что имя мое - Послушание. Ты теперь видел славу, уготованную любящим Бога: не скорби, что пошел в монастырь. Многие желали этого пристанища, но, не быв избраны, не могли его достигнуть...

При этих словах Ангела я проснулся. Сердце мое исполнено было страха и радости и, как голубь, трепетало, и не знал я, где нахожусь - на небе, или на земле. Пошел я к утрени в церковь и стоял там до поучения, углубясь в размышление о виденном, после чего возвратился в келью...

Прошу святых ваших молитв и благословения. Многогрешный послушник С. Ч. 1863 года сентября двадцатого дня".

Вот что, по видению неведомого, но Богу угодного послушника Коренной пустыни, уготовано для вечного радования о Христе Иисусе, Господе нашем, всем любящим Его и проходящим путь земной жизни, этого великого училища младенчествуюших душ, в послушании, смирении и терпении.

Неземной, непередаваемый языком человеческим восторг, радость, умиление и исполненное вечного удовлетворения счастье вечное и неизобразимое!

И когда посмотришь с высот небесных, отверзающихся в видениях смиренным сердцем и простым разумом, просвещенным единым чистым светом живой и деятельной веры, когда взглянешь оттуда на смуту современного человечества, в погоне за призрачным, невозможным и недоступным на земле счастьем заливающего братской кровью войн и междоусобий грешную землю, тогда заскорбит и заноет великой жалостью сердце верующего христианина о безумии жалкой гордости человеческого разума, бессознательно и стремительно влекущего человечество на самое дно геенны нечеловеческой злобы и страдания, откуда уж нет возврата...

Но кто из мнящих себя богатыми разумом поверит теперь этому свидетельству

истины?

"Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят".

IV
Замечательное сновидение

Второго октября в два с половиной часа пополудни 1850 года в Предтеченском скиту Оптиной пустыни скончался иеромонах Никон.

Несколько дней спустя по исполнении шести недель, а именно восемнадцатого ноября в день воскресный, после утрени, новопосвященный иеромонах Варсонофий, готовясь служить раннюю Литургию, прочел правило ко Святому Причащению и от усталости, в ожидании звона к обедне, присел на стул и тотчас заснул. И показалось ему во сне, что он видит в каком-то незнакомом ему месте многочисленное собрание скитской и монастырской братии и среди других, к удивлению его, сидит умерший иеромонах Никон. И удивился во сне Варсонофий: как он здесь? Ведь он умер! Тогда Варсонофий обратился к братии:

- Смотрите - это отец Никон!

И братия будто бы тоже увидела почившего иеромонаха. В какой тот был одежде, этого Варсонофий не заметил, но запомнил, что на голове его была камилавка, а не клобук, как обыкновенно носят иеромонахи во время служения. На руках Никона, обернувшегося лицом к востоку, лежал младенец, и Никон вслух поминал некоторые имена, и, когда произнес имя Никон, то младенец, до того времени молчавший, проговорил:

- Я - Никон!

Ответ младенца пробудил у Варсонофия желание узнать о его загробной участи, и он спросил:

- Где же ты теперь находишься?

- В раю! - ответил младенец. - Между святыми.

Варсонофий еще спросил:

- А каков рай?

Младенец восхвалил красоту рая. Какими словами он был описан, этого Варсонофий упомнить не смог, но впечатление осталось у него, что рай неизобразимо прекрасен. Вспомнив о мытарствах, он спросил:

- А по мытарствам тебя водили? Младенец, как бы вспоминая что-то очень тяжкое, несколько раз протяжно повторил:

- Уж водили, водили, водили, водили!

Всем своим видом, и интонацией младенец выразил, что он прошел мытарства с тяжелым испытанием.

- Как же ты от них избавился? - продолжат спрашивать Варсонофий.

- Пришел Архангел Михаил, - отвечал младенец. - и вывел меня оттуда.

Долго расспрашивал младенца Варсонофий, и тот отвечал на все его вопросы, только все это Варсонофий позабыл. Из этой беседы он запомнил только, что обращался к окружающей братии, говоря им, чтобы и они предлагали свои вопросы младенцу. Но братия стояла молча, и никто у младенца ничего не спрашивай. Варсонофий вспомнил об аде:

- А ад ты видел? Скажи мне: тяжки в нем мучения?

Варсонофию показалось, что младенец не находит слов, чтобы выразить лютость адских мучений, тотчас явилось у ног Варсонофия какое-то чудовищное животное, которое беспрестанно на его глазах меняло свой вид, поднималось, опускалось, делилось на части и мало-помалу исчезло. Варсонофию во сне подумалось, глядя на его видоизменения, что в них заключен образ многоразличных степеней адских мучений. После этого видения Варсонофий более не видал младенца, а как будто вышел к братии сквозь какую-то отворенную дверь и рассказывал им об ужасах ада, как сам мог о них понять из своего видения...

Проснулся Варсонофий в великом страхе, и тут пришел будильщик возвестить о времени идти служить Литургию.

Иеромонах Никон был приобщен Святых таин всего за три с половиною часа до кончины, в полной памяти, хотя говорил мало и не совсем внятно. По верованию

же Святой Православной Церкви, умирающий вскоре после уподобления Святых Таин не проходит мытарств. Почему же, спросят боголюбцы, не так было с Никоном?

В самом деле, преподобные Каллист и Игнатий (в 92 гл. "о безмолвии") приводят слова Иоанна Златоустого о некотором чудном старце, который сподобился "увидети и услышати, яко имущии отсюда отходити, аще Святых Таин причастятся с чистою совестью, егда умрети имут, дориносяще Ангели, причащения ради онаго, отсюду возносят". Но кто из нас похвалится чистую совесть иметь? Ежели преподобный Марко Фраческий, которого Святых Таин приобщали святые Ангелы, задержан был на мытарствах целый час, то как можно сделать решительное заключение о тех, кто в жизни христианской менее совершен этого дивного святого? Задержан же был Марко Фраческий, как уверяют некоторые прозорливцы, сподобившиеся это видеть, за то, что возбуждал и убеждал душу свою перед кончиной не бояться приближающегося разлучения ее с телом, вспоминая многие свои труды, многие слезы и различные скорби. Бога ради понесенные. Злые же мытари представляли на мытарствах, будто бы преподобный Марко перед смертью хвалился строгою и подвижническою своею жизнью, и потому не допускали душу его восходить на небо до тех пор, пока Божественный глас не повелел святым Ангелам:

- Принесите Ми сосуд избранный!

Это сокровище веры было найдено мною в келейных записках одного из оптинских иноков. Они достались ему по наследству духовному преемственно от целого ряда предшественников его монашеского подвига, изучавших великое дело Христовой веры "не в препретельных человеческого разума словесах, а в явлениях силы и духа".

Забыли эту науку из наук многие из новых богословов и, вожди слепые, - куда ведут они вверенное им ученическое слепое стадо?..

Христос воскресе!

I

Пасха 1906 года долго будет памятна Оптиной пустыни. Светло праздновался верными в Оптиной обители этот праздник из праздников; торжество из торжеств возвещали миру могучие оптинские колокола; неслись к самому небу ликующие их голоса, радуясь вечной победе Неба над адом, жизни над смертью,

когда от Литургии Светлого Христова Воскресения многочисленная семья Оптиной братии во главе с маститым своим настоятелем шла в братскую трапезу воздать хвалу Воскресшему Господу радостными розговенами после труда бденного и поста строжайшего Великой седмицы Страстей Господних.

Радостно, победно, торжествующе гудела и переливалась в весеннем воздухе могучая медная волна колокольного великопраздничного трезвона.

О, Пасха велия и таинственная, Христе!

Много собралось народу из окрестных сел и деревень на пасхальную ночь в Оптину: переполнен был собор обители. И после Литургии весь праздничный богомольческий люд веселым и шумным, жизнерадостным потоком вслед за монахами разлился по горе Оптинской, по ступеням храма и лестницы, ведущей к святым воротам, торопясь к перевозу через многоводную Жиздру, чтобы поспеть к семейным розговенам в кругу своих, проведших святую ночь в приходском храме.

Хорошо, светло, радостно было на душе у всех. Кто из православных, живущих жизнью матери-Церкви, не знает светлой радости пасхального утра, когда и само солнышко-то по особому светит - "играет"?!..

В 1906 году Пасха совпала с весенним половодьем. Немного не доходя до белокаменных стен Оптиной разливается весной многоводная, омутистая Жиздра; а бывает, хоть и редко, и так, что прямо из ворот, - садись и поезжай на лодке. И неся взломанные весенним пригревом седые, косматые от талого снега льдины по стремнине своего русла, доплескивается расходившаяся, могучая река желтой волной разлива, заливая прибрежные ветлы и монастырские яблони до самой твердыни стен оптинских и лижет порог святых ворот и каменные ступени входа в святую обитель.

II

В пасхальное утро памятного дня Жиздра еще не выливалась из берегов, но полая вода, едва сдерживаемая упругими берегами, уже мчалась с ними вровень, шумя и волнуясь не меньше праздничной толпы, стремившейся к перевозу.

На Оптинском берегу парома не было; он только что отчалил, перегруженный передовой толпой богомольцев. Надо было ждать, а ждать, ох, как не хотелось деревенской молодежи, по большей части, молоденьким девочкам-подросткам

лет от двенадцати до шестнадцати. Были с ними и мальчики того же возраста.

- Давай, переедем на лодке! Чего там парома дожидаться!

Сказано - сделано. А на грех, на Оптинском берегу и лодка оказалась. Старших никого не случилось: своя, стало быть, молодая волюшка! И залезло девичьего народу в лодку столько, что застонала бы лодка, если бы только была живая.

Какой-то мальчишка, на другой грех, тут оказался и вызвался править: и отвалила перегруженная народом лодка, и поплыла, едва не зачерпывая бортами, на стремнину.

И пяти саженей не отплыли от берега, как лодка, накренившись черпнула воды одним бортом. С визгом шарахнуло к другому борту девичье стадо и в миг один на самой быстроте перевернулась лодка и, как яблоки спелые в бурю, попадал народ в омут вешняго половодья.

Батюшки-светы, родимые мои! Что ж тут только было! Одно слово: великая кара грозы гнева Божьего. Не пощадил Господь святыни Своей: Светлого Своего Праздника не пощадил... Стоном застонала, криком закричала быстрая Жиздра от стону да от крику утопающих. Увидели на Оптинской колокольне страх этот, стали бить сполох: выбежали с иконами - бегут все к берегу, кричат: "Народ тонет, тонет православный народушко!" Пока бежали да добрались до берега, - по Жиздре уж только мертвые, дубелые от холодной воды молодые тела плывут девичьи, да кружится над омутом между льдинами кверху дном лодка, а на лодке верхом - одна молодая бабенка; за края лодки душ пять - шесть девок в воде держатся; и все они кричат:

- Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

Только и спаслись эти, что "Христос воскресе" кричали.

Шестнадцать молодых девичьих душ со Светлого Праздника отошли из царства земного в Царство Небесное. Тела одних разыскали, других же сколько ни искали, так и не нашли: быстра, многоводна и омутиста весенняя Жиздра!

Долго не забудет пасхального этого утра святая Оптина пустынь. Не забудут его и окрестные крестьяне, особливо те, у кого на Пасху справлялись поминки по утопленникам.

III

С 1903 по 1907 год мне ни разу не довелось быть в Оптиной, но духом и в письменном общении я был с нею неразлучно до тех пор, пока Господу не было угодно призвать меня вновь в это святое и великое гнездо старчества, духовного окормителя многих православных и, особенно, женских обителей. Первого октября 1907 года, на Покров Пресвятой Богородицы, Господь призвал меня не только посетить эту дорогую моему сердцу пустынь, но и поселиться в ней на жительство во внешней монастырской ограде. Отвели мне, страннику и пришельцу, любвеобильные и богомудрые старцы оптинские уютный домик и благословили жить и работать во славу Божию, пока живется да пока Бог грехов терпит. И поселились мы с женой в этом всех обуреваемых отишии, не помня себя от радости, что укрыл нас Господь от молвы и злобы обезумевшего мира.

Еще с первых моих посещений Оптиной, когда я был довольно богатым помещиком, у меня завелись добрые отношения с окрестными жителями и, в их числе, с одним захудалым мужичком из соседней с Оптиной деревни Стениной. Звали его Сергеем, был он хлебопашцем, а в подспорье коренному своему делу, которое плохо стало кормить и мужика, и барина, занимался извозным промыслом на паре заморенных от работы и бескормицы клячонках. Привязался этот Сергей к моей былой помещичьей тароватости и с первого знакомства принял в свою дружбу, величая меня "мой барин". Хотя и знал я цену Сергеевой дружбе, но по человеческой слабости, уступал ее излияниям: и лошаденки Сергеевы были дрянь отменная, и сам он, как ямщик, никуда не годился, а вся снасть его дорожная была и того хуже, но я других ямшиков и знать не хотел и всюду по козельским святым местам - и в Оптину, и Шамордино* - разъезжал с Сергеем.

---

* Шамординская Казанско-Амвросиева Женская пустынь в двенадцати верстах от Оптинон. Основана великим старцем, иеросхимонахом Амвросием Оптннским. Чудная по красоте и по духу обитель.

И в этот свой приезд в Оптину я вновь, когда мне понадобилось ехать в Шамордино, послал в Стенино за Сергеем. Не забыв старого хлеба-соли, мой Сергей явился немедленно, по первому зову, на знакомом мне полуразрушенном тарантасе, перевязанном во всех направлениях пеньковыми обрывками, и с той

же парой заезженных, замученных ездой и голодом клячонок.

Не успели мы и полуверсты отъехать от Оптиной, как мой возница обернулся ко мне в пол-оборота с облучка и, по старой дружбе, стал мне выкладывать свои домашние скорби. Они у него были и прежде бесконечные: незадачливый был какой-то мужичонок.

- А уж и скорбь же мне была в скорости после вашего отъезда*: ведь у меня на Пасху девка моя, Катька, утопла. Вспомнить, аж живот замирает! И девка-то какая была - прямо красавица, невеста!

_____

* Последний раз я был в Оптиной зимой 1905 года и выехал шестнадцатого января 1906 года.

_____

В голосе Сергея при этих словах задрожали слезы; и тут он мне рассказал все то, что читателю уже известно.

- Так и не нашли девки, - продолжал он, едва перемогая волнение, - видно, ее илом затащило. И мне-то горе, но вдвое горше, кажоден* смотрю, как старуха моя по ней убивается: глаз не осушая, второй год по дочке плачет. Аж жуда нападает слушать, как она голосит!

_____

* Каждый день.

_____

Я старался, чем мог утешить, а утешить могла только вера: о ней я и заговорил.

- Жалко мне тебя, Серега болезный, - говорил я, - а все ж не худо бы нам с тобой попомнить, что не век же нам тут всем жить; а на печи ли, на лавке ли, или под лавкой, а умирать каждому придется, как срок его. Богом положенный, выйдет... Говела постом твоя дочка?

- Как же! В Великий Четверг причащалась.

- Ну, разве тебе это не в радость? В Великий Четверг причастилась, а в первый день Пасхи Бог ее взял к Себе. А знаешь ли ты, чем Церковь-то наша святая

утешает? Кто, сказывает она, помрет на Пасху, того душа прямо, минуя все мытарства, идет к Господу.

- Знать-то знаю; а все ж, сам посуди: каково это родительскому сердцу? Пуще же всего мне старуху свою жалко: она по девке совсем иссохла.

Жалко мне было Сергея, но утешить в таком горе может только Бог да время, а благодать Божественного утешения еще, видно было, не касалась сердца Сергея. И пришлось мне перевести разговор на другое, чтобы дать иное течение Сергеевым мыслям. Прием этот удался, как нельзя лучше, но и переменив разговор, не напали мы с Сергеем на веселые речи: издавна тяжела доля крестьянская, а теперь с разными свободами да своевольством деревенской молодежи, с дорогой и вольной водкой, и того хуже. Не стало никакого порядку в деревне, пропала правда-матушка, да к тому же и веры поубавилось, а где и вовсе в крестьянском быту вера пропала. Не жизнь, а адово преддверие стала жизнь крестьянская. Помоги только, Господи, ее вытерпеть!

Жалко мне было родительского сердца Сергея, но не было мне жаль Сергеевой дочки. Кати.

IV

Как переселил меня Господь на Покров в Оптину, так и стал ко мне Сергей похаживать, то за делом по своей извозной части, а то просто так, не без тайной, однако, надежды: не перепадет ли ему от барина полтинничка на нужду его крестьянскую?..

В конце мясоеда, перед самым Филипповым постом, затеял Сергей играть свадьбу своего второго сына; а незадолго до этого его старший сын, тоже недавно женившийся, чуть не убил их со старухой; затеял с женой от стариков отделиться и отделился, а при дележке отцовского достояния едва-едва не покончил насмерть своих родителей.

- Только я ему сыграл свадьбу, - жаловался тогда Сергей, - потратился из последнего да еще призанял у добрых людей, а они, вишь, как меня отблагодарили! Спасибо, что хоть живым-то оставили; а все-таки, сам-друг с невесткой здорово меня потрепали. Вот они, детки-то, ныне стали! И жаловаться некому!.. Прежде хоть розги боялись, а нынче никого понимать не стали.

Просил, конечно, Сергей у меня денег на новую свадьбу, но у меня на ту пору

денег не случилось, да, прости Господи, и были бы, так не дал бы из боязни: для Сергея на мои деньги нового раздела со вторым сыном и с новой невесткой.

Так и ушел от меня Сергей, не получив поддержки.

V

- Уж и горький же этот мужичонка, - сказывала мне по уходе Сергея живущая у меня на покое одна раба Божия, тридцать семь лет, по благословению старца Амвросия Оптинского, несшая великий и тяжкий подвиг странничества, - одна беда за другой на него сыпятся. Давно ли одного сына на каторгу за чужой грех сослали! Там дочь утонула; там, вишь, в семье какая идет завируха: делятся, дерутся, никак не разделятся. А что делить?..

Ну, и времена! Доколе же только, Господи, Ты им терпишь?.. А тут ему и от старухи своей ни днем, ни ночью покою нет: все по дочери голосит, да ведь как голосит-то! Иду я нынче, полету как-то, уж поздно вечером из Шамординой в Оптину: прошла Стенино да и пробираюсь тихонько со своей палочкой по берегу Жиздры. Темнеть уже стало. Вдруг в кустах, у речки кто-то около меня как застонет, как взвоет, да в голос, у меня аж мурашки в спине закопошились. С нами сила крестная! Я в сторону, давай только Бог ноги: уже не дорезывают ли, думаю, какую душу христианскую? А то сила, думаю, нечистая не тошнует ли в омуте?.. Смотрю: мальчишки деревенские - мне навстречу... Что-то, спрашиваю, мальчонки, у вас тут на речке точно кто стонет? Слышите?.. А, говорят: да это стенинского Сергея жена каждый вечер сюда на реку по своей девке голосить ходит... Тут я осмелела, пошла к ней, стала утешать бабу; да где утешить-то, когда у нее от тоски все нутро выболело? И Сам Господь ее утешал: сколько раз она во сне свою дочь, как живую, видела, и дочь ей наказывала: "не плачь, - говорит, - маменька, - мне хорошо у Господа". А она и после этого, знай свое, голосит. Жалко бабу, а Сергея еще жалче, беднягу!

"Да, - подумал я, - где ж тебе, матушка, утешить, когда и Сам Господь, по ее маловерию, не утешит!.."

VI

Не прошло и двух недель со дня последнего посещения Сергея, как мне пришли сказать, что у него умерла его старуха, и что сам Сергей меня дожидается на кухне. На этот раз уж не на свадьбу пришел он просить помощи, а на похороны.

Тут отказу не было.

- Как же это у тебя горе такое стряслось? - спрашиваю.

- Да на свадьбе, должно быть, простудилась моя старуха. Свадьбу-то мы, ведь, сыграли. А после свадьбы и трех ден не вышло, как свалилась совсем моя баба; неделю похворала да и померла.

На том наш разговор и кончился. А вечером я от своей прислуги и той же старушки-странницы услыхал, что не просто умерла Сергеева старуха, а с великим утешением отдала свою исстрадавшуюся душу Господу.

- Вы ушли от Сергея, как дали ему на похороны, а мы его задержали на кухне чайком попоить, - хоть чем-нибудь утешить. Дивно ведь умерла его старуха! Сказывал он нам: в день смерти и до самой кончины была она в полной памяти, причастилась Святых Таин Христовых; а за час, или полчаса до смерти она вдруг поднялась на печке, где лежала, лицо все просияло, да и говорит: "Здравствуй, Катечка, дочка моя родимая! Да, в каком же ты сарафане-то хорошем! Как же это ты, моя девочка, иль ты не утопла?.. Ведь, утопла ж ты? А сарафан-то на тебе, гляди, новешенький... Как не истлел он в речке-то?.." "Мы, - говорит Сергей, - думали, что это она в бреду говорит - кончается, значит. Что. мать, - спрашиваем, - аль помираешь?" "Помирать-то, - говорит, - помираю: вон и Катя за мной пришла..." "Какая, - спрашиваем, - Катя?" "Да наша Катя, - говорит, - да неужто ж вы ее не видите?.." Она говорит, а мы все думаем, что она уж не в своем разуме; только - нет: сказала это и стала тут же со всеми прощаться. "Прощайте, - говорит, - теперь уж на этом свете нам больше не видеться. Только знайте, что утешил меня Господь, и отхожу я от вас в радости: въяве была сейчас у меня моя Катенька и сказывала, что за мной пришла. Теперь, - сказала она, - идем ко мне, маменька! Я близко от Господа, и у нас всегда Пасха, и все Христос воскресе поют. А как поют-то! Хорошо у нас, маменька, не так, как у вас!" Простилась со всеми старуха и с тем кончилась. Вот ведь, как померла жена Сергея. Дивны дела Твои, Господи!

Христос воскресе! Христос воскресе!.. Кто в пучине холодной весенней Жиздры воспел в виду неизбежной смерти эту победную песнь торжества Христова, тот спасся; а кого поглотили в своей бездне вешние воды и кому, по неисповедимым судьбам Божиим, не было дано здесь на земле, в водах Жиздры, помянуть спасительное Христово Воскресение, тот за вечную славу Христовой Пасхи, за победный день Воскресения, поет и в веки веков безконечно петь будет славу Воскресшему Господу там, на Небе, в Обителях райских Царя Небесного,

радуясь о вечном своем спасении.

Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

Воистину Христос воскрес!

Оптина пустынь.
Двадцать третьего ноября 1907 г.

Вражья сила

Еще в раннем детстве приходилось мне слышать жуткие рассказы о страшных проявлениях власти силы нечистой над людьми, поработившими волю свою служению греху и диаволу. Память до дней моих, склоняющихся теперь к своему закату, хранит в тайниках своих воспоминания тех впечатлений, которые отразились в ней под влиянием моей старой няни и тех Божиих старушек, для которых еще сравнительно недавно были открыты двери "девичьих" и "детских" в старинных русских дворянских домах, не порывавших еще вековечной связи с многомиллионной толпой простолюдинов, с их простой, бесхитростной детской верой. Какие только тайны невидимого не были открыты этой вере, чего только не было из того, потустороннего мира доступно зрению этих "младенцев"!.. Кто из нас, православных русских людей, какого бы он ни был звания или состояния, не ознакомился в годы зарождающегося сознания с тем таинственным, полным чудес и вместе страшным невидимым миром, где действовали на погибель православной душе силы нечистые? Кто не помнит всех этих, олицетворенных верою, а по мудрости века сего - фантазией русского простолюдина "леших", "водяных", "домовых" и их приспешников и рабов из рода людского - "колдунов", "ведьм" и всей им подобной нечистой собратии? Чье детское сердчишко не трепетало в вечернем сумраке осенней или зимней ночи, озаренной трепетным сиянием одинокой лампады, от этих страшных историй?.. И как оно им верило! Как билось от жуткого волнения - разорваться, казалось, могло бы, если бы не спокойная и торжествующая уверенность старушки-няни, что питомцу ее и слушателю нечего бояться, так как доступ к нему силы вражьей прегражден и его Ангелом хранителем, и его детски-чистой душой, и ее молитвами, и, наконец, всей той неисчислимой благодатью, которой в виде - Крещенской святой воды, афонского ладанцу, святого маслица от мощей Божиих угодников и всякой другой святыни - была полна ее божничка, мерцающая огоньком неугасимой лампады. Да и могло ли детское сердце, чуткое ко всякой

правде, не верить этим рассказам, когда и сама няня и другие ее собеседницы и рассказчицы в них были уверены еще больше своих маленьких слушателей, а некоторые из них и сами бывали до полусмерти перепуганными свидетельницами того, о чем повествовали?

Верил и я ото всего своего детского сердца, пока дух времени, дух всяческого скептицизма не заглушил, было, в нем совсем всякой веры в то, что "умные" люди называют сверхъестественным, что обозвали они "бабьими сказками и бреднями" и чему они строго-настрого приказали не верить, пригрозив позорной кличкой "дикого обскуранта", а в худшем случае, и сумасшедшего. И пришлось мне подчиняться приказу "умных" людей и надолго на место детской своей веры в мир духовный поставить иную веру в иных богов и в иных кумиров, которым поклонялись и сами "умные" люди: и то сказать, кому была охота в век прогресса прослыть "обскурантом"?

Счет потерял я за время своей, так называемой, сознательной жизни всем этим кумирам и богам, которых за прожитые дни мои воздвигало, повергало и вновь воздвигало умное человечество, пока, к душевному своему томлению и разочарованию, не убедился, что и конца не предвидится этим бесконечным сменам богов, пока не признал, Божией милостью, той вечной истины, что тайны Свои Творец утаил от премудрых и открыл младенцам.

Но какой борьбы душевной стоили мне и разочарования мои, и обретение той вожделенной истины, которая так просто была дана и так просто воспринята "буими" мира в Православной вере: в Священном Писании, Предании и житиях Божиих угодников.

Помнится мне из времени этой тяжелой борьбы сердца моего, упорно отказывавшегося удовлетворяться одной материей, которую на место жизни духа стремилось поставить "освободительное" движение "великих" реформ шестидесятых и последующих годов. Помнится мне, что впервые резким разладом показалось мне, что в то самое время, когда весь духовный мир подвергся осмеянию и поруганию, а затем и отрицанию, "умные" люди, стоявшие во главе общественного движения, каким-то совершенно непонятным логическим скачком перескочили от "превращения видов", "клеточек и протоплазмы" в ту самую область, которую сами же они подвергли остракизму: материализм подал руку спиритизму, и "умные" люди сочли возможным соединить это несоединимое в общую кашу, "скушали ее, ложки обтерли и сказали - спасибо". Чья-то властная незримая рука бросила самый цвет

образованного общества и даже профессоров к вертящимся столам, блюдечкам, и обратила вчерашних отчаянных материалистов в сегодняшних материализаторов невидимых духов.

И тут впервые после вечерних посиделок с няней мне пришлось уже из уст образованных людей, глумившихся над няниными предрассудками и суевериями, услышать убежденные повествования о том, что мне хорошо было знакомо из детских воспоминаний. Заговорили о "непокойных" домах, о привидениях, о предчувствиях, о влиянии умерших на живых; передавали о том, как в "непокойных" домах летали по воздуху тарелки, стаканы, миски, ведра, щетки, раздавались по ночам стуки, слышались чьи-то страшные шаги, леденящие сердце холодным ужасом... И не одна полиция, не одни перепуганные квартиранты бывали злополучными свидетелями совершавшихся бесчинств, а целые улицы, кварталы и даже города, собиравшиеся толпами глазеть на необъяснимые явления.

"Умные" люди из тех, которые были знакомы с медиумическими явлениями, приписывали эти явления действию "шаловливых духов", ярые нигилисты - жуликам, простые люди, простые и сердцем, и верою - нечистой силе. Большинство, таким образом, стояло за духов и этим, в моих глазах, оправдало детские мои верования, которые ими же, были осмеяны во дни моей юности, когда я высокомерно пренебрегал голосом простолюдина.

Сразу воскрес в моей памяти забытый мир старых русских детских и няниных рассказов. Но как полно было ненаучное миросозерцание моей старушки, озаренное и осмысленное светом веры, сравнительно с тем хаосом, в котором ученые и умные люди производили свои исследования в области спиритических и медиумических явлений! Знала моя няня эти явления, а с нею вместе знал их и весь простой русский народ еще в то время, когда и речи не было о психофизической "науке", и относили их к действу исконного богоборца и человекоубийцы - диавола. И были им известны и цель, и смысл этих явлений: погибель создания Божьего - души человеческой и вечная ее мука в том месте вечных мучений, какое уготовано сатане и всему его сатанинскому воинству.

Теперь это Богооткровенное и некогда опытное знание христианского разума, отнятое сперва у руководителей дехристианизированного человечества, отнимается и у простого народа: отступающая от отступнического мира благодать Божия попустила врагу человеческого рода утаить свое существование от сынов противления века сего, чтобы тем легче их обольстить и опутать

своими сетями... Взгляни же, дорогой читатель, во что обошлась человечеству утрата этого знания! Оглянись вокруг себя и, если душа твоя еще не окончательно лишена способности со скорбью об утрате Христовой веры отзываться на деяния твоих современников, то ты поймешь, что вражья хитрость удалась лукавому, как нельзя лучше, и что он теперь воистину - князь беснующемуся и бесноватому человечеству.

Надолго ли?

"Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени..." (Откр. 12, 12).

* * *

От одного из старцев великой Оптиной пустыни Бог привел получить в мое распоряжение рукопись, которая еще во дни блаженной памяти великого старца отца Амвросия Оптинского была на его рассмотрении и исправлении. То лицо, от кого мне эта рукопись досталась, утверждало, что она самим старцем предназначалась для печатного назидания современникам, но почему-то от этой мысли он отказался. По недоведомым судьбам Божиим только теперь, спустя пятнадцать лет после смерти отца Амвросия, настало ей время увидеть свет. Пусть благодаря этим пожелтевшим страницам прольется еще немного света во тьму совершающихся злодейств и бедствий, от которых застонала Русская земля!..

I

В кругу простого народа нередко приходится слышать рассказы, которые могут показаться странными и даже невероятными. Один из таких рассказов, записанный со слов очевидца, мы предлагаем читателю. Ему трудно поверить, но и совершенно отвергать истинность его, пожалуй, нельзя, потому что сотни людей были очевидными свидетелями описываемого события. Мы намеренно указываем место, где случилось событие, и называем имена тех лиц, которые каким бы то ни было образом участвовали в нем, дабы любопытствующие, кто имеет возможность, лично расспросили их о случившемся.

Событие, описываемое нами, не единственное. Подобные рассказы часто можно услышать в простонародии, и если внимательно и без предубеждения выслушать их, то найдется немало причин поверить.

Подобный рассказ мы встретили в "Православном Собеседнике" (1868 г. март, стр. 76), издаваемом Казанской Духовной Академией. Там, в житии преосвященнейшего Иллариона, митрополита Суздальского, бывшего первым строителем Флорищевой пустыни, говорится, что в царствование царя Алексея Михайловича, в Москве, в Патриаршей богадельне на Куличках, по действу некоего чародея, вселился демон и живущим там причинял многие пакости. Тогда, по повелению цареву, для изгнания демона послан был в оную богадельню преподобный Илларион, находившийся в то время в Москве. По принесении Господу молитв, во время которых диавол безчинствовал, и по окроплении всей богадельни святой водой, когда диавол все еще не выходил из дома, преподобный спросил его:

- Како ти есть имя? Он отвечал:

- Имя ми есть Игнатий, княжеского роду; обаче плотян есмь: меня послала мамка к демону, и абие взяша мя демони...

То было на Москве, при царе Алексее Михайловиче, а вот что случилось в Новгородской губернии в наше время.

Новгородской губернии, Череповецкого уезда, Колоденской волости, в деревне Миндюкине, в имении действительного статского советника Секретарева, у крестьянина Трудникова* был сын Михаил, мальчик здоровенький и веселенький, да при этом еще и порядочный шалун.

---

* Прозвище, а не настоящая фамилия крестьянина, которое он получил оттого, что был трудолюбив, но неуспешен.

В 1850 году или, может быть, на год раньше, когда Михаилу сравнялось пятнадцать лет, бедные родители вздумали отдать его в пастухи; но мальчик, привыкший к одним шалостям и детским забавам, которому каждая мало-мальски серьезная работа казалась мукою, сильно начал роптать на свою мать, когда она ему объявила о своем намерении сделать его пастухом. Ропот мальчика доходил даже до дерзости, которая, в свою очередь, возбудила сильное негодование в сердце его матери. В порыве гнева неосторожная крестьянка прокляла сына и оттрепала его, как только было угодно ее раздраженному сердцу... Волей-неволей, а Михаил должен был, наконец, уступить требованиям

матери: в скором времени его отправили к предназначенной для него обязанности за тридцать пять верст от своей деревни в село Лентево Устюженского уезда.

II

Живет там мальчик день, другой; прожил целую неделю. Время шло обычным порядком без особых приключений, и можно было полагать, что он уже примирился со своей незавидной долей...

Как-то раз Иван (так звали главного пастуха) отлучился от стада, оставив при нем своего маленького помощника. День склонялся к вечеру. Иван скоро возвратился к стаду, но только Михаила уже не нашел... Начал его кликать, что было мочи, но в ответ только зловещее эхо повторяло последние звуки его же голоса...

Возле самого места, где пасся скот, было озеро. У берега этого озера стояла небольшая лодочка... "Уж не там ли он? - подумал Иван про Михаила. - мальчик - баловень - пожалуй, еще вздумает на лодке кататься, беды бы тут с ним не нажить!.." С такими мыслями Иван подошел к тому месту, где стояла лодка и неподалеку от берега увидел поверх воды несчастного Михаила уже без всяких признаков жизни. В сильном смятении от такой неожиданности пастух побежал в свое село, находившееся верстах в четырех от пастбища, известить о печальной участи его товарища. Слух об утопленнике скоро разнесся по всему селению и вызвал любопытных - и старых, и малых - на место печального события... Уже закоченевший труп вытащили из воды. Затем это дело было доведено до сведения станового пристава и матери Михаила, которые не замедлили явиться, первый - для производства дознания о нечаянной смерти мальчика, а вторая, - чтобы удостовериться в истинности происшедшего и оплакать несчастную кончину своего сына.

Причина смерти Михаила была у всех на виду, и потому порешили без дальних хлопот предать покойника обычному христианскому погребению.

Поскольку возле самого озера на довольно большом пространстве было топкое место, то тело мальчика сперва несли на руках, а потом на твердой земле его положили на подводу и везли уже до самого Лентева на лошади.

Труп, судя по летам покойника, был небольшой и не представлял собою особенной тяжести, и потому было весьма удивительно для всех

присутствовавших, сопровождавших утопленника, что лошадь тянула подводу с таким напряжением, как будто на телеге была навалена огромная тяжесть.

Все дивились этому необычайному обстоятельству и никак не могли доискаться его причины...

Между тем над покойником, по уставу Святой Церкви, был совершен обряд погребения, и тело предали земле.

Поплакала бедная мать над прахом своего Миши, погоревали и все свидетели ее нечаянного горя и разошлись по домам, сохранив грустные воспоминания о прощальном обряде.

III

Еще время не успело утишить материнское горе, как однажды утонувший сын Трудниковой дал о себе весть в сонном видении и сообщил нечто страшное и столь невероятное о своей мнимой смерти, что если бы не было на памяти народной подобных примеров, сообщению этому трудно было бы поверить.

Вот как было дело.

Настала ночь. Легла Трудникова спать. В глубоком сне видит она своего Михаила. Приходит он к ней, как будто живой, и говорит:

- Матушка! Ты не думай, что я умер: я жив и теперь нахожусь во власти демонов за то. что ты меня прокляла. Если хочешь, чтобы я воротился к тебе, то кайся в грехе своем, молись обо мне чаше Богу и подавай за меня милостыню.

Этот сон Трудникова видела три ночи сряду...

Сильная скорбь об утрате сына, ужасное известие о его гибели вследствии материнского проклятия, надежда, хотя и слабая, видеть его опять в живых - все это заставило Трудникову обратиться за советом к одному благоразумному крестьянину, пользовавшемуся доверием среди крестьян всей окрестности.

- Что сын твой жив, - говорит советчик, - тому не верь, а молиться Богу за него, подавать по нем милостыню и каяться в грехе своем - это твоя обязанность. Жив ли твой сын, умер ли - во всяком случае твое покаяние, молитвы и милостыня полезны будут и для него, и для тебя.

Советчик имел основание говорить так; на его памяти был удивительный случай: в селе Курилове Череповецкого же уезда жили два брата-купца - Шин доброй нравственности, другой - беспорядочной жизни. Такой контраст в характерах родных братьев заставил их разделиться и разойтись. Добрый брат стал богатеть, а другой вскоре окончательно прокутился... Как-то этот последний был у своего брата и застал его с одним крестьянином за дележом довольно большой суммы денег. Подметив это, он подстерег вечерком этого крестьянина в лесу, через который шла глухая тропинка к его дому, ограбил, а самого убил и пошел, как ни в чем не бывало, пьянствовать в кабак. Но мужик не был убит до смерти! Оправившись он добрел до своего села и объявил, кому следует, о случившемся. Преступление было открыто, и преступника засадили в острог...

У преступника была жена. Когда стряслась эта беда, несчастная женщина и дни, и ночи напролет плакала... Но вот, к ее утешению, муж начал по ночам ходить к ней. На вопрос изумленной жены - как это может быть, коли он сидит в остроге, муж отвечал:

- Дружба со смотрителем острога дала мне полную свободу. А что я по ночам к тебе хожу, это для того, чтобы люди не видели: не видят - и не бредят.

Спустя немного времени и сама жена вздумала навестить мужа. При свидании она заговорила о его ночных посещениях... Муж сразу догадался, что дело не ладно и, не дав никакого ответа на вопрос жены, написал письмо и велел ей, не теряя времени, отнести его к брату. Возвратившись домой, она отложила мужнино поручение до следующего дня. Наутро крик малютки дочери созвал народ, и бедную женщину нашли мертвою. При допросе девочка сказала, что ночью приходил к ним какой-то мужчина и задушил ее мать. Нашли на божнице письмо от мужа, не доставленное брату, и оно подтвердило показание дочери о таинственных ночных посещениях покойной каким-то лицом, принимавшим на себя образ мужа задушенной женщины.

Рассказал этот случай советчик Трудниковой и убедил ее не доверяться ночным видениям, но велел молиться и подавать за душу сына милостыню.

Послушалась мать доброго совета и начала за своего сына молиться Господу и раздавать бедным милостыню, сколько позволяло ей ее скудное достояние.

Проходит год, и другой. Сны, подобные тому, памятному, по-прежнему ей снятся, хотя уже не так ясно, как прежде. Искренне кается мать в грехе своем, не

устает молиться Богу и раздавать милостыню.

Целых двенадцать лет прошло со дня постигшего Трудникову горя.

О сыне не было ни слуху, ни духу; да и самые сны, подававшие слабую надежду на его возвращение, давно уже прекратились...

IV

В это время, верст за семьдесят от деревни Миндюкиной, неподалеку от города Череповца, неизвестно откуда появился очень странный молодой человек из крестьян.

Росту он был среднего, телом сух, что называется, - кости да кожа.

Одежда его состояла из грубых лохмотьев. Но что в нем особенно удивляло всех - это его необыкновенная дикость: точно он был существо какого-то иного, нездешнего мира.

Всех он боялся, ото всех старался укрыться, и только, чтобы не умереть с голоду, он заходил в дома некоторых крестьян. "Придет это он, - рассказывали очевидцы, - станет около двери, не говоря ни слова, да и стоит так несколько минут. Дадут ему что-нибудь поесть, съест, а не дадут - и так пойдет, опять-таки не сказав никому ни одного слова..."

Путь свой этот таинственный и странный человек держал к деревне Миндюки ной.

Версты четыре не дойдя до Миндюкиной, он остановился для отдыха в селе Воротишине у крестьянина Василия Яковлевича, где его приняли и успокоили так, как еще недавно простые русские люди умели принимать странников, Божиих людей. Сердце русского крестьянина, всегда сострадательное к бедствию ближнего, заставило хозяина предложить страннику трапезу и угостить его, чем Бог послал. На этот раз у Василия Яковлевича истоплена была и банька. Хозяева предложили своему гостю помыться...

И вот тут, в бане, хозяин был поражен и даже напуган странностями своего гостя: то он захохочет как-то дико и страшно, то начнет как будто от кого-то прятаться - лезет под полок, за печку... Кое-как вымывшись, он оделся, вышел из бани и побежал куда-то. На бегу он так высоко подпрыгивал, что, казалось, не бежал, а летел по воздуху, при каждом прыжке подымаясь вверх, по крайней

мере, сажени на три.

Вскоре, однако, это поразительное явление прекратилось, и он отправился в деревню Миндюкину, оставив гостеприимного своего хозяина, надо полагать, в крайнем испуге и недоумении...

Прошу моего читателя простить меня, что я прерву последовательное изложение лежащей передо мною рукописи на этом месте и обращусь к личным воспоминаниям.

Верный списатель доверенного мне документа, я не могу не чувствовать, что случай, им передаваемый, до того необычен, до того страшен, что в читателе, мало подготовленном к восприятию такого рода рассказов из явлений таинственного потустороннего мира, он может вызвать не только недоумение, но, от чего Боже упаси, и подозрительность: а ну как сказатель этой истории глумится над доверчивостью своего читателя и рассказывает такие вещи, которых не только не было и быть не может, но и сам-то он им не верит. Спешу успокоить тебя, мой читатель, я сам не только верю тому, что передаю здесь твоему изумленному вниманию, но попутно сообщаю, что и в моей памяти сохранился еще в детстве нечаянно подслушанный разговор покойной моей матери со своей тоже уже покойной родной сестрой.

Обе они были воспитанницами передового духа дворянства сороковых годов, были обе образованны по последнему слову того времени, вкусили и даже пресытились материализмом годов шестидесятых и, конечно, ни во что сверхъестественное и чудесное не верили. И вот, тем не менее, из уст их я слышал и запомнил разговор между собою о каком-то мальчике лет шести или семи, едва ли не о брате моей матери, моем дяде, который, впадал в какое-то таинственное состояние, во время которого с ним совершались удивительные и неразгаданные явления: он, не умея играть ни на каком инструменте, брал из рук первого скрипача дедушкиного домашнего оркестра скрипку и играл на ней, неожиданно и даже к испугу для всех, удивительные и неслыханные мелодии; говорил на иностранных языках, которых не знал и о которых в то время не имел и понятия; перепрыгивал с одного берега на другой речку шириною в несколько сажен и вообще творил нечто столь необычное не только для него, но и для всякого возраста, что ставил в тупик всех к нему близких.

Простые люди из прислуги с ужасом видели в этом проявлении силы нечистой и твердо этому верили в простоте своей сердечной, а образованные и умные думали, конечно, иначе, но о том мало говорили, а если и говорили, то так, что и

сами смысла в своих речах видели немного. Потом уже, когда стали увлекаться спиритизмом, умные люди додумались до "четвертого измерения", но и на нем, кажется, ногу сломали.

Вот это я слышал в своем детстве.

А что теперь творится в области спиритических явлений там, где спиритизму, не зная с кем имеют дело, предаются "умные" люди, то, пожалуй, могло бы показаться еще невероятнее моей трудниковской истории. Но тому верят, то исследуют, о том пишут, о том говорят, тому предаются "умные" люди и даже профессора всем сердцем, всей душой, всей верой своей.

Дивное дело! Не верят там, где бесы действуют, как бесы, прямо, открыто под явным своим бесовским обличьем, а всю свою веру отдают им же, когда они действуют в облике ангела света "наук" психофизических - в спиритизме, медиумизме, моитивизме или социальных - "свободы, равенства и братства".

Не оттого ли и беснуется современный мир, заливая братской кровью поле смерти всякой свободы, всякого равенства, всякого братства!..

Прости же, читатель, это невольное отступление: далее уже пойдет опять моя рукопись.

V

Был воскресный день заговенья перед Петровским постом 1863 года. Перед избою миндюкинского крестьянина Федота Иванова Гришина резвились его маленькие дети со своими сверстниками. Тут же был и сам Федот кой с кем из стариков-соседей. К ним-то и подошел таинственный и молчаливый странник.

- Откуда ты? - спросил его Федот.

- Я - здешний, - отвечал он, - я тебя, дядюшка, знаю.

- Кто ж ты такой? - продолжал спрашивать его Федот.

- А знавал ты Трудникова Мишку? - осведомился странник.

- Как не знать - знавал!

- Ну, так вот этот-то Мишка - я самый и есть.

- Как так? Мишка утоп, и тело его похоронено.

- Нет, я вовсе не утоп, - с уверенностью ответил странник...

Стали тут всматриваться в лицо незнакомца и, в самом деле, нашли в нем сходство с лицом давнишнего утопленника. Разница была только в том, что из мальчика, каким он был прежде, теперь он стал большим парнем и имел на переносице знак, как будто от ушиба...

По всей деревне быстро разнеслась весть о таком неслыханном событии, и вокруг Михаила вскоре стояла большая толпа народу. Не веря своим глазам, изумленные крестьяне и, особенно, шаловливые ребятишки наперерыв лезли к нему каждый со своим испытующим вопросом;

- А меня как звать?.. А меня? А меня?.. - только и слышалось в толпе.

Михаил точно отвечал на все вопросы... Изумление толпы достигло крайнего напряжения... Тут вмешалась одна гришкинская крестьянка:

- А меня знаешь ли?

- Как не знать, - отвечал Михаил - еще в вашей семье есть слепая старуха, которая только и знает, что на всех ропщет, а потому "мы" постоянно бывали у вас и делали разные проказы.

- А что это за метка у тебя на носу-то?

- Эта метка оттого, - ответил он, - что, когда мы с "дедкой" лесом шли в одно место, я вдруг вспомнил о Боге: за это в наказание "дедка" схватил меня за ноги и так сильно ударил о сосну, что и теперь, как видите, знак остался.

- Да как же с тобой все это случилось? Расскажи нам, расскажи!

- А вот, послушайте! - так начал свой рассказ Михаил. - После того как мать меня прокляла, что и было главной причиной моего несчастья, я отправлен был в Лентево пасти скот. Как вам и самим известно, только одну недельку потерпел грехам моим Господь. Прошла неделя. Вдруг подходит ко мне какой-то старик с длинной седой бородой и говорит мне: "Твоя родная мать прокляла тебя, и это материнское проклятие дало мне полную власть над тобой!.." Тотчас начал он скидать с меня все мое платье и, наконец, раздел меня донага. Оставался на мне один только крест, к которому старик не смел прикоснуться, и велел самому его

снять. Я волей-неволей должен был ему повиноваться... Затем он взял обрубок осинового дерева, что валялся поблизости, надел на него все мое платье, а на том месте, где должно быть моему лицу, он в одно мгновение начертил чем-то лицо, как две капли воды похожее на меня, и бросил этот обрубок в озеро. И я видел, как сбегался народ смотреть на утопленника, как приезжал становой и приходила моя мать. Видел я, как все дивились, почему лошадь через великую силу тащила мертвое тело... А отчего это было, знаете?

- Отчего?

- Оттого, - продолжал Михаил, - что таких, как я, на телеге сидело человек двадцать да, вдобавок, с нами был и "дедка" наш*. С той самой поры, - продолжал Михаил, - как старик обласкал меня, я стал подобен бесплотному. До самого погребения мнимого моего тела я находился при нем неотлучно. Видел всех людей, там бывших, слышал все их разговоры; но меня никто не видал... С тех пор я уже не чувствовал более ни голода, ни холода и, хотя иногда ел и пил помногу, но делал это лишь по старой привычке. Ел же я и пил, как и подобные мне, там, где люди пили и ели без молитвы и крестного знамения. Это нам давало возможность после осквернять и самую посуду, в которой была пища: люди удивлялись, отчего это пища и питье не вкусны, а удивляться-то и нечему было, коль бы знали, что посуда осквернена нами.

---

* В жизнеописании старца иеросхимонаха Амвросия (изд. Оптиной пустыни, ч. II, стр. 42-43) записан случай о том, как на оптинском пароме оборвалась огромная тяжелая цепь, на которой было укреплено бревно парома, поднявшись от этого разрыва, ударило по голове барыню, проезжавшую на пароме в тарантасе. Все недоумевали, как могла оборваться такая цепь. О. Амвросий разрешил недоумение такими словами: "много уж их (бесов) насело на нее".

Я мог в мгновение одолевать большие пространства; ничто не могло служить преградой на моем пути: дремучие леса и неприступные горы я перелетал, как птица; ходил по воде, как по твердой земле. И скажу вам - подобных мне людей немало: помню, что в ином месте собиралось нас человек до тысячи. Самым же любимым местом наших сборищ были разные увеселительные гулянья и нескромные зрелища, нас привлекали также места, где бывали ссоры и брань, - немало есть мест, где люди много грешат без всякого страха... Во время наших сборищ мне не раз приходилось встречаться с одной слепой девкой из деревни Липенки Устюженского уезда, которая участвовала во всех наших проказах*. В

наших деяниях и злобных походах на людей соблюдался своего рода порядок: во время сборищ наших "дедка" разделял нас на группы и каждой давал особое поручение, клонившееся ко вреду людей. Мы являлись ревностными исполнителями страстей и похотей человеческих и скорыми помощниками в злодеяниях и бедствиях людей: задумает, например, кто-нибудь утопиться или удавиться, мы помогаем ему в этом. Вон - кузнец Иван Рябинка (в семи верстах от Миндюкина в деревне Давидове) удавился у себя в овине из-за того только, что управляющий Петр Андреевич Бехтер хотел, было, слегка его наказать за небольшой обман. Мы ему помогли привести свое намерение в исполнение. Вон - Акулина Потапова (в шести верстах от Миндюкина в деревне Супранове) из-за пустяков начала тосковать и от тоски удавилась в своей новой избе, а дети ее, чтобы избежать подозрения и судебной волокиты, тайком вынули ее мертвую из петли, отвезли в лес, и там труп повесили на березе. И в этом деле мы тоже были участниками**...

---

* Об этой слепой девке местные жители рассказывали, что вследствие родительского проклятия, она, как и Михаил, подпала масти злых духов и внезапно куда-то исчезла. Усиленная молитва родителей избавила ее от этой страшной власти: месяца через два после исчезновения ее нашли брошенной в поле. Дело было зимой, и она отморозила обе ноги. Когда ее спрашивали, где она была и что делала, она охотно отвечала, и ее рассказы были похожи на необыкновенные повествования Михаила. Тогда это был в той местности единственный случай, и девке никто не поверил.

** Замечательно, что до рассказа Михаила в течении десяти лет со времени этого события никто не знал его подробностей и участия детей Потаповой в сокрытии от властен места ее самоубийства. Все. не исключая и властей, производивших следствие, думали, что Акулина удавилась в лесу на березе.

На пожарах мы старались усилить бедствие. Впрочем, если горели дома людей благочестивых, и пожар происходил не от наказания Божия, попущенного за грех, тут уж мы никоим образом не могли участвовать. В противном же случае мы в этом деле принимали самое живое и деятельное участие. А вот недалекий пример: в деревне Зимнине (Устюженского уезда) одна крестьянка ночью ходила с огнем давать корм овцам и заронила маленькую искорку. Поскольку она была в ссоре со свекром, то это нам дало власть раздуть искру в большой пожар, от которого сгорело все их имущество. Так-то вот, и Воротишино горело: помнится, дело это было утром; погода была хорошая, тихая, а во время пожара поднялся такой сильный вихрь, что бревна раскидывал в разные стороны. Все это мы

постарались сделать*.

---

* Эти факты и другие, рассказанные Михаилом в подробностях, замечательны тем, что все они случились после его мнимой смерти, и о них он ничего бы не мог знать, не будучи очевидцем да еще таким, для которого никаких тайн не существовало.

Словом, мы имели доступ всюду, где только пренебрегали призыванием имени Божия и знамением креста. Особенно, хула и явное презрение к святому давали нам власть входить в общение с людьми, это творящими, и издеваться над ними, как только нам хотелось и позволяло состояние наше. Впрочем, и самая молитва, и крестное знамение получали свою силу лишь у людей с доброй христианской нравственностью, а грешник, не желающий оставить своего греха, не избавлялся от нас ни молитвою, ни крестом. Иногда случается, что и добрый христианин забывает про молитву и крестное знамение, однако мы к такому человеку никак не смели подойти, и нам не было дано даже знать и домов таких людей. В деревню Ванское (в четырнадцати верстах от Миндюкина) мы не смели входить, а - почему? Потому что там одна набожная старуха имела обыкновение ежедневно вечером обходить свою деревню с молитвой...

- Ну, а молиться Богу, стало быть, вы уже вовсе не молились? - спросил кто-то Михаила.

- Нет, молились, - отвечал Михаил, - у нас ежедневно было утреннее и вечернее правило. Только молитвы, которые мы читали, были кощунственным извращением ваших молитв. Молитву Господню, например, мы читали так: Отче не наш! Да не святится имя Твое... и прочие молитвы - все в таком же роде...

Так-то вот за мою дерзость и неповиновение воле родительской наказал меня Господь. Целых двенадцать лет вел я такую скорбную жизнь, и никогда бы мне уже не видать света Божьего, как христианину, если бы не помогли мне избавиться от гибели молитвы и милостыня моей матери.

Когда совсем уже приближалось время моего освобождения из-под власти диавола, наш "дедка", не желая упустить из рук добычу, вознамерился, было, совсем погубить меня: приготовил петлю и велел мне самому лезть в нее. Как ни плохо мне жилось, а умирать, все-таки, не хотелось. Ну, думал я: как впихнут меня в оселок поневоле - куда уж ни шло, а сам ни за что не полезу... Не знаю,

чем бы все это дело кончилось, если бы перед самим концом не появился защитить меня от "дедки" какой-то благообразный старичок, помнится, еще с крестиком на остроконечной шапочке. "Материнские ниточки* вытащили его из твоей власти", - сказал старичок "дедке" и оттолкнул его от меня. "Дедка" исчез.

---

* Будучи бедной, Трудникова, по большей части, творила милостыню, раздавая прохожим солдатам нитки своей пряжи.

Затем мой благодетель обратился ко мне и сказал: "Мать тебя прокляла, мать и вымолила!" - и с этими словами надел на меня крестик... После я не видел более старика и очутился в поле... На мне не было никакой одежды, уже начал ощущать холод, чего со мною за все двенадцать лет ни разу не бывало. В это время, на мое счастье, проходили мимо какие-то женщины.

Приняли они меня за сумасшедшего и, сжалившись, отвели меня в свою деревню и дали кое-какую одежонку... Вот, теперь Господь помог добраться и до вас.

- Что ж ты домой нейдешь? - спросили Михаила пораженные его рассказом слушатели.

- Боюсь! - отвечал бедняга.

VI

Между тем слух о чудесном возвращении Михаила дошел до его матери, и она тотчас прибежала к сыну. При виде матери Михаила объял какой-то страх, его точно невидимая сила трясла, как это бывает с бесноватыми.

Мать сейчас же в страннике признала своего сына и повела его домой.

Опомнившись от страха, Михаил просил немедленно послать за приходским священником, отцом Алексием, в село Гришкино. Желание Михаила исполнили.

Узнав от посланных о случившемся с Михаилом, священник был в недоумении от такого необыкновенного случая: "Уж не бес ли, явившись в образе человеческом, морочит людей?" - подумал священник и поспешил отправиться к Трудниковой. Тут священник читал над Михаилом заклинательные молитвы из требника Петра Могилы, но не мог обнаружить в молодом человеке присутствия

злого духа. Странным казалось только то, что со времени, как Михаил увидел свою мать, его не оставляла какая-то робость... Чтобы получше убедиться, что в Михаиле нет беса, и сам он - не злой дух, принявший образ человека, священник взял его с собой в церковь, отслужил молебен Спасителю, Божией Матери и святителю Николаю Чудотворцу, и велел в алтаре принести перед Господом чистосердечное покаяние во всех грехах своих по чину Православной Церкви. Михаил от искреннего сердца исповедал отцу своему духовному все, что только мог припомнить из прежней жизни, когда над ним тяготело материнское проклятие. Прочтена была и молитва, разрешающая его ото всех грехов. Священник все время ожидал, что вот-вот исчезнет привидение, но Михаил оставался по-прежнему Михаилом. Тем не менее и после этого сомнение не оставило священника, и он побоялся допустить Михаила к причащению Святых Таин.

Вскоре после этого Михаил был взят в близлежащий Моденский Николаевский монастырь и там, еще дважды исповедавши грехи свои сперва -перед настоятелем, а потом перед монастырским духовником, сподобился, наконец, приступить и к Страшным Христовым Тайнам.

VII

Любопытство Трудниковой, а еще более желание убедиться в истинности явления своего сына, так как она и глазам-то своим не слишком доверяла, заставили ее отправиться в Лентево на могилу, в которой она хоронила своего сына. Ей хотелось, было, просить отрыть могилу и посмотреть, что там находится, но время сделало свое: на месте, где было погребено тело или то, что считали телом Михаила были возведены постройки, и могила не могла быть найдена*.

---

* Это можно объяснить тем, что еще в недавнее время у нас самоубийц и утопленников не хоронили на общих кладбищах, а предавали земле на таких местах, которые считались пустырями.

Недели три после своего появления жил Михаил дома. После того его потребовали к становому в волостное правление для допроса, точно ли он то самое лицо, за которое себя выдавал. Михаил и перед становым стоял на своем, а, чтобы сильнее его убедить в истинности своего показания, он перед всеми,

здесь бывшими, начал перечислять становому его сокровенные грешки.

Крестьяне, перед которыми Михаил открывал темненькие тайны станового, подтверждали, что он говорит правду и только изумлялись, как это могло быть ему известным, но правда эта настолько не понравилась становому, что он приказал обличителя своего высечь розгами, а затем, как преступника, заковал его в кандалы.

Произведя суд и расправу, становой отправился проверять показание Михаила в Миндкжино.

- Твой это сын? - предложил он вопрос матери Михаила.

- Мой! - отвечала она утвердительно.

- Ваш ли это селянин? - обратился он к прочим миндкжинским крестьянам.

- Наш! - ответила толпа в один голос.

- Эх, вы, дураки, дураки! - стал их увещевать становой, - теперь стоит рабочая пора: уедете вы все в поле - а как спалит он вам всю вашу деревню, вот и будет он вам тогда ваш. Раскаиваться будете, да поздно будет.

Повесили носы мужики, почесали затылки, и никто - ни слова.

Алексей Купцов, самый богатый крестьянин из всего Миндюкина, первый отказался от Михаила, за ним - другие, и один по одному все присоединились к Купцову, и Михаила в скором времени, подержавши в холодной, упрятали в дом умалишенных.

На другой день после своего отказа от Михаила Алексей Купцов, первый от него отказавшийся, заболел и вскоре умер от водянки. Миндюкиниы тут же усмотрели в этом кару Божию за Михаила, но, конечно, пальцем не шевельнули, чтобы выручить бедняка из сумасшедшего дома. Тем не менее, "глас народа - глас Божий", говорит пословица. Да и самая пословица, говорится тоже, во век не сломится, а ломаются и сокрушаются, как утлые ладьи, как гнилые деревья, лишь те, кто попирает правду Божию и правосудие...

* * *

Здесь конец рукописи.

В тех же шестидесятых годах, если не изменяет мне память, в журнале "Странник" было напечатано сообщение о случае с одним ямщиком села Костина Петербургской губернии. Этот ямщик водил своих лошадей на водопой на речку и вдруг, к неописуемому своему ужасу, увидал, что ветви прибрежных ракит, как бесчисленной стаей ворон, усеяны бесами. От тяжести их гнулись ракитовые ветви до самой воды.

Вне себя от страха ямщик бросил лошадей и, что было мочи, побежал на село, а бесы кричали ему вдогонку:

- Наше время - наша воля! Наше время - наша воля!..

Рассказал ли он об этом своему духовному отцу, или другому кому поведал, только рассказ этот увидел в свое время свет в духовной печати и, конечно, вскоре был позабыт невнимательной памятью современников.

В Бозе почивший один из современных нам праведников отец Амвросий Оптинский восстановил его в памяти тех немногих внимательных, которые скорбными очами смотрели на события, совершающиеся в мире и зарождающиеся в Православной России. Тогда еще, с лукавых дней шестидесятых годов зарождались только они, эти события, но верующий дух проникал в тайну их беззакония и трепетал перед ее угрозой. И отец Амвросий не утешал своей всероссийской паствы, своих детей по духу, надеждами на просветление горизонта России, уже и в то время смущаемой тлетворными поветриями с Запада и, вспоминая колпинского ямщика, скорбно повторял зловещую бесовскую угрозу торжества бесовской воли, бесовского времени.

И теперь, когда восклонишь от земли свой взгляд, потупленный и скорбный, когда оглядишь исполненным тягчайшего ужаса взором на то беснование, которому предается молодая сила страны, что еще сравнительно недавно была святою Православною Русью, разве что историей Михаила Трудникова, здесь рассказанной, и можешь себе объяснить причину осатанения нашей несчастной, гибнущей и все вокруг себя губящей молодежи.

Не над всею ли ею и не над нами ли, их отцами и матерями, тяготеет почти поголовное проклятие наших отцов и матерей, из воли и повиновения которых мы с такой жестокой ненавистью вышли, презрев и растоптав все то святое, чем были живы они, чему они веровали и молились и чем строили они в былые

времена то, что мы с таким остервенелым озлоблением разрушали, а теперь доканчиваем? Но в Михаиле Трудникове сила сатанинская, овладев им через материнское проклятие, действовала потаенно, скрывая целых двенадцать лет и себя, и свое орудие; теперь же она работает явно: тогда в невежестве темного простолюдина, но с боязнью перед светом его веры, теперь - в "образованности" толпы и ее руководителей, открыто и дерзко - во тьме их отступничества и безверия. Но сатана и его темные силы все те же, что и семь с половиною тысяч лет назад. Увы! И соблазняемые им люди, отступившие от Христа, все те же и, как некогда в раю до своего изгнания, так и теперь продают блаженство вечности за плод познания... одного зла.

Несчастные, жалкие, ослепленные, безумные Мишки Трубниковы!

Кому только за вас молиться? Чьи "ниточки", Христа ради за вас поданные, могут вас вырвать из когтей диавольских? Ведь большинство ваших отцов и матерей уже разучились и молиться и веровать!..

Помилуй нас, Господи! Господи, помилуй!

Тринадцатого июля 1906 г.
Николо-Бабаевский монастырь.

Послесловие

Я еще работал над рукописью, готовя ее к печати, когда над злополучной Сызранью разразилось страшное несчастье: объятый пламенем большой цветущий город с пятидесятитысячным населением сгорел в течение одного дня до тла, унеся в своем разрушении множество человеческих жертв. Обратимся к официальному сообщению господина Алексея Толстого: "...сгорела часть города, но все же это, хотя и было большим бедствием, не представлялось еще катастрофой. Вдруг около пяти часов пополудни на город обрушился по направлению с севера на юг смерч, циклон, или ураган - одним словом, нечто невообразимое, что разметывало стоги на лугах и железные листы с городских крыш относило на расстояние до пятнадцати верст от города. К какому роду метеорологических явлений должна быть отнесена эта буря, сказать трудно, но показания обезумевших от ужаса жителей в этом случае не расходятся - это было нечто невообразимое. Подняв весь пыл и жар с горевшей части города, ураган в какие-нибудь тридцать минут зажег ими всю центральную часть города

одновременно, так что через час весь город был объят пламенем... Мне кажется, - пишет далее составитель этого сообщения, - что этого краткого описания достаточно, чтобы убедить читающую публику, что катастрофа должна быть отнесена к разряду стихийных бедствий..."

К какому разряду бедствий или метеорологических явлений отнесешь ты кару Сызрани, боголюбивый мой читатель, после прочтения моей рукописи?.. Не слышишь ли ты в набатном гуле колоколов, несущемся над ее пожарищем, злорадного сатанинского хохота:

- Наше время - наша воля! Наше время - наша воля!..

Помилуй, Господи!.. Господи, помилуй!..

"Покайтеся, люди, а то все такожде погибнете!"

Марко Фраческий

Исполняется вторая тысяча лет с той великой и таинственной ночи, когда разверзшееся небо открыло пастухам вифлеемским сонмы сил ангельских и наполнилось дивным славословием: Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!.. Тысяча девятьсот восемь лет, как день один, кануло в вечность с той великой и препрославленной ночи, когда Сын Божий, Предвечный Младенец, вся исполняяй Неописанный, вселившись в утробу Девичью, явил спасение миру Своим воплощением, готовясь волею Своею исполнить волю Отца Своего Небесного и совершить воедино с Собою и со Отцем и Духом Святым все верующее в Него человечество, искупив его крестной Своей смертью и воскресением от рабства диаволу, греху и смерти.

Побелели нивы, близится жатва... и жатвы так много, что перед страдой предстоящей, непосильной слабым человеческим силам, трепетное сердце человеческое взывает к Господину жатвы - да вышлет Он делателей Своих на ниву Свою.

"Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас..." Сказавший то Сам Христос Господь, днесь и во веки Той же, Он - Господин жатвы, от Него и делатели: помолимся Ему и изведет Он их на жатву Свою, на мир Свой, на мир души моей, на мир всех, любящих Его и чающих второго и славного Его пришествия на землю для Страшного и нелицеприятного суда над

искупленным Его страданиями человечеством.

Христос днесь Той же и во веки! Сила Его та же и теперь, что была от создания и прежде создания мира в премирной вечности, и силы Его, совершающейся в Церкви, и врата адовы не одолеют. Что же это за сила такая, в чем ее проявление? Мы, именующие себя христианами, так далеко ушли теперь от полноты и простоты первоначального христианского ведения, что нам непонятна и чужда стала сила эта, заключенная вся в явлениях силы и духа, а не в словах премудрости человеческой. А между тем, она была и, стало быть, она жива и до сего времени, стало быть, есть она и теперь, только мы-то, насильно отторгающие себя от Первоисточника силы, ею уже владеть не в состоянии: мы - машина, в которой все части исправны, в котле налита вода, наложены дрова в топку, - готовая к действию, к великой и плодотворной работе, но нет огня и некому зажечь его, потому что не зовем Того, Кто один этот огонь возжечь может. А если и зовем, то "от скверны плоти и духа", забыв, что Бог наш есть Огонь, поядаяй все нечистое.

И стоит наша машина без действия: дрова гниют в топке, вода в котле тухнет, железо окисляется, заклепки, проеденные ржавчиной, вываливаются, протухшая вода просасывается во все швы и... наконец, рвет и самую машину. Наложена печать разрушения и мерзости запустения...

Кто виноват?

А между тем, эта машина призвана работать и работала, и творила дела, как и те, и даже больше тех, которые творил Тот, Который все Тот же, что был вчера, каким будет во все времена, каким останется и тогда, когда уже не будет времени, когда все пройдет и сотворено будет все новое - и новое небо, и новая земля, то небо и та земля, где правда обитает и где будет Бог обитать с человеками, и где Он отрет всякую слезу с очей их, и где уже не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

В наше лютое и страшное время, когда безумцы, именующие себя христианами, возвышают свой голос, объявляя христианство дискредитированным и отжившим свой век, полезно и благовременно напоминать всем, чье сердце, призванное питаться и жить высоким, не может в тайниках своих сокровенных примириться с хулителями Духа, полезно и важно восстановить в памяти те Божественные проявления силы христианского духа, которыми так велика была подвижническая вера угодников Божиих... Не новое и не свое предлагаю я вниманию тех, кто удостоит меня своим вниманием, а старое и христианское,

настолько основательно забытое, что оно может показаться не только новым, но для некоторых и... неудобь вместимым... Но дело мое - сеять, а прозябнет ли и даст свой плод посеянное семя, - это в руках Бога. Итак, с Божией помощью - в путь! - в Египетскую пустыню, в Эфиопию, за много веков назад к Тому Христу, Который и теперь Тот же.

* * *

Поведал авва Серапион: живя во внутренней Египетской пустыне, пошел я к великому отцу Иоанну на благословение и, приняв его, присел отдохнуть от трудов путешествия и задремал. И увидел я во сне двух отшельников, которые так же, как и я, пришли к старцу за благословением. Заметив меня, один сказал другому:

- А, это авва Серапион, - примем от него благословение.

Тогда мой старец Иоанн, услыхав это, сказал им;

- Дайте ему немного отдохнуть: он только нынче пришел из пустыни и очень устал.

Они же на это сказали старцу:

- Ведь вот, сколько времени он трудится в пустыне, а все не идет к Марку, который живет на горе Фраческой в Эфиопии. А ведь между всеми подвижниками пустынными нет равного тому Марку: ему уже сто тридцать лет от рождения и девяносто пять лет протекло, как он подвизается в пустыне, не видя лица кого-либо из живущих на земле. И вот, незадолго до нашего к тебе прихода, были у него из света уже вечной жизни некоторые святые и обещали ему взять его к себе...

Как только сказали они это отцу Иоанну, я воспрянул от дремоты и, не видя никого у старца, рассказал ему виденное. На что старец сказал мне:

- От Бога тебе это видение... Только где она, гора Фраческая?..

И сказал я ему на это:

- Молись за меня, отец! - и, сотворив молитву, поцеловал старца и пошел в Александрию. До Александрии же пути было около двенадцати дней, а я его прошел в пять, день и ночь трудясь в пути по жестокой той пустыни,

пожигаемый днем таким солнечным зноем, что попалялась и самая земля. Войдя в Александрию, спросил я о пути к горе Фраческой одного купца, - как далеко она в Эфиопии?

И отвечал мне купец:

- Воистину, отец, велика длина того пути: только до пределов Эфиопии, до племени хетфеев, двадцать дней пути, а та гора, о которой ты спрашиваешь, еще дальше.

И опять я спросил его:

- А сколько нужно будет на потребу телесную взять с собой пищи и пития? Хочу я идти туда.

Отвечал мне:

- Если бы тебе туда отправиться морем, путь твой тогда не будет продолжителен, потому что морским путем не далеко отстоит та страна. Ну, а пойдешь по сухому пути, то пройдешь все тридцать дней.

Услыхав от него все это, взял я воды в плоскую тыкву, немного фиников и, возложив упование на Бога, взялся за труд путешествия и шел по той пустыне двадцать дней. И в пути этом не видел ничего - ни зверя, ни птицы: нет в той пустыне ни покоя, ни корма - не сходят там на землю ни дождь, ни роса, и нет в той пустыне ничего, что могло бы идти в пищу.

Прошло двадцать дней и вышла вся вода, что была у меня в тыкве, и вышли все финики, и я сильно изнемог: ни дальше мне идти было нельзя, ни назад возвращаться. И был я, как мертвый. И вот явились мне те два отшельника, которых я раньше видел в видении у Иоанна, великого старца, и они, вставши предо мною, сказали мне:

- Встань и иди с нами!

И когда я встал, то увидел, как один из них приник к земле и, обратившись ко мне, спросил:

- Хочешь ли ты освежиться? И отвечал я ему:

- Твоя на то воля, отче!

И показал он мне корень от семян пустынных и сказал:

- Бери и съешь от этого корня, а затем продолжай свой путь с силой Господней.

Я съел немного и тотчас освежился, и была безпечальна душа моя: как будто и не было вовсе изнеможения. И, показав след, по которому надлежало мне идти к святому Марку, они отошли от меня. Я же, продолжая свой путь, подошел к горе настолько высокой, что она, казалось мне, достигала высоты небесной; и не было на ней ничего, кроме земли и камней. И когда подошел я к горе, то увидел сбоку ее море. И восходил я на гору ту семь дней.

Когда же настала седьмая ночь, увидел я Ангела Божия, сходившего с неба к святому Марку со словами:

- Блажен ты, авва Марк, и благо тебе будет. Вот мы привели к тебе отца Серапиона, которого возжелала душа твоя видеть, так как иного из рода человеческого ты не пожелал видеть.

Я же, слышав это, шел, по видении том, без боязни до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой жил святой Марко. Когда же я приблизился к дверям пещеры, то услыхал, что святой стихословит псалом Давидов:

- Перед очами Твоими, Господи, тысяча лет, как день вчерашний...

И прочие стихи из того же псалма... Затем, от великого избытка в нем духовной радости, начал говорить себе:

- Блаженна душа твоя. Марко, тем, что не осквернилась нечистотами мира сего, не пленился ум твой помыслами скверными. Блаженно тело твое, что не увязло в похотях и страстях греховных. Блаженны очи твои, что не мог их пресытить диавол зрением красоты чуждой. Блаженны уши твои, что не услышали они ни голоса, ни призыва жалкого в суетном мире. Блаженны ноздри твои, что не обоняли они неприязненного смрада греховного. Блаженны твои руки, что не удержали в себе и не прикоснулись к чему-либо от вещей человеческих. Блаженны твои ноги, не вступившие на пути, в смерть ведущие, и стопы твои, на грех не подвизавшиеся. Душа твоя и плоть твоя исполнились духовной жизни и освятились сладостью святых Ангелов...

И опять продолжал святой говорить к душе своей:

- Благослови, душа моя. Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его!

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его!.. Чего скорбишь, душа моя, не бойся, - не будешь ты удержана в темницах адовых, и не возмогут беси оклеветать тебя: нет в тебе благостию Божьею порока греховного. Ополчится за боящихся Господа Ангел Господень, и избавит их Господь. Блажен раб, сотворивший волю Господа своего...

И это, и многое другое, в утешение своей души и в утверждение несомненной надежды на Бога, изрек Марк преподобный... Затем подошел он к дверям пещеры и с плачем радости воззвал ко мне:

- Как же велик труд сына моего духовного, Серапиона, потрудившегося увидеть пребывание мое!

И благословив меня обеими руками и поцеловав, сказал:

- Девяносто пять лет я пробыл в пустыне сей и не видел человека. Ныне же вижу лицо твое, видеть которое желал я уже много лет, и ты не поленился взять на себя труд такой, чтобы придти ко мне: Господь мой Иисус Христос воздаст тебе воздаяние в тот день, в который будет судить тайное человеческое!

И сказав мне это, преподобный Марко велел мне сесть.

И начал я, - говорит Серапион, - спрашивать его о всякой хвалы достойном житии его, а он поведал мне:

- Девяносто пять лет, как я уже говорил тебе, пребываю я в этом вертепе, и не видел не только человека, но ни зверя, ни птицы, ни хлеба человеческого не ел, ни в одежды не одевался. Тридцать лет я страдал от великой нужды и терпел скорбь от голода и жажды, и наготы, а больше всего от диавольских нападений. В те годы, вынужденный голодом, я ел простую землю, изможенный жаждой, пил воду морскую. До тысячи раз клялись друг другу бесы потопить меня в море и, схвативши меня и нанося мне побои, стаскивали меня вниз горы сей, но я вставал вновь и опять всходил наверх горы. И опять они влачили меня до тех пор, пока осталась на мне кожа да кости. И когда они, влача меня, били, то вопили мне: "Уйди из земли нашей: от начала не было здесь ни одного человека - как же ты дерзнул придти сюда?"

После же такого тридцатилетнего страдания от голода, жажды, наготы и бесовской брани, излилась на меня благодать и милосердие Божие, и Его смотрением изменилась плоть моя естественная, и выросли волосы на теле моем,

и приносится мне пища неоскудевающая, и приходят ко мне Ангелы Господни. И было дано мне видеть место Царства Небесного и обителей душ святых, блаженства, обещанного и уготованного творящим добро. Видел я явление рая Божьего и древо разумения, от которого вкусили наши праотцы; видел и Еноха в раю и Илию... и все чего только я ни просил, все показал мне Господь...

И спросил я блаженного Марка, - говорит Серапион:

- Скажи мне, отец, как совершился приход твой сюда?

Святой, в ответ начал повествовать так:

- Родился я в Афинах и проходил там учение философское. Когда же умерли мои родители, то я сказал себе: и я так же умру, как и мои родители умерли - восстану-ка я да добровольно отлучу себя от мира, прежде чем мне неволей быть из него восхищену. И в тот же час совлек я с себя одежды и поверг себя на доске в море, и, носимый волнами, по Божиему смотрению пристал к горе сей...

В такой-то беседе, говорит Серапион, застал нас наступивший день, и я увидел тело его, все обросшее волосами, как у зверя, и ужаснулся, и затрепетал от страха: до того не оставалось в нем благолепия вида человеческого, и нипочем нельзя было бы узнать в нем человека, если бы не голос и не слова, из уст его исходящие.

Увидев боязнь мою, сказал он:

- Не ужасайся виду моего тела: плоть тленна - взята от тленной земли...

И спросил меня святой:

- Стоит ли мир в законе Христовом по прежнему обычаю?

И я ответил:

- Стоит благодатию Христовой теперь тверже, чем во времена прежние.

Опять спросил он меня:

- Продолжается ли идольское служение и гонение на христиан доныне?

- Престало гонение, - отвечал я, - с помощью святых ваших молитв, и нет

идолослужения.

И, слышавши это, возрадовался старец радостью великой... Опять спросил он меня:

- Есть ли ныне в мире такие святые, которые творили бы силою чудеса, о которых Господь в Евангелии сказал: "Если будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей: сойди отсюда и ввергнись в море, и будет по вашему?"

И при этих словах святого, - говорит Серапион, - внезапно сдвинулась гора с места своего тысяч на пять локтей и села в море. Подняв голову, увидел Марко, что пошла гора, погрозил рукою и сказал ей:

- Что с тобою, гора? Не тебе я говорил сдвинуться, а в беседе с братом, стань опять на месте своем.

И когда он сказал это, стала гора на месте своем. Видев же это, я пал ниц от страха, а он, взявши меня за руку и подняв, сказал:

- Разве ты не видел таких чудес во дни твои? Я же ответил ему:

- Нет, отче!

Вздохнув, заплакал он горько и сказал:

- Горе земле, на которой христиане только именем этим называются, а не таковые по делам своим... - и опять сказал: - Благословен Бог, что привел меня на место сие святое и не дал мне умереть в отечестве своем, чтобы быть погребенным в земле, оскверненной многими грехами!

И, когда прошел день тот, проведенный нами в псалмопении и духовной беседе, и настал уже вечер, сказал мне преподобный:

- Брат Серапион, не время ли нам, помолясь, сотворить любовь и вкусить от трапезы?

Я же ничего ему на это не ответил... И тотчас, воздев руки к небу, начал преподобный говорить псалом: "Господь пасет меня и ничего меня не лишит"... А по окончании псалма, обратился он к пещере со словами:

- Предложи, брат, трапезу, - а затем, обращаясь ко мне, сказал: - Войдем и

приступим к трапезе, которую послал нам Бог.

Я подивился в себе и был в ужасе, так как никого за весь день в пещере не видел, кроме одного Марка святого, а он обращает свое вещее слово кому-то невидимому и повелевает предложить трапезу.

Когда же мы вошли в пещеру, то я увидел трапезу и два стола стоящих, а на них положены были два мягких и светлых хлеба, сияющих, как снег, и благолепные видом своим овощи, и две рыбы печеные, и чистые травы, и маслины, и финики, и соль, и корчага полная воды, слаще меда. Когда мы сели, сказал святой Марко:

- Благослови, сын мой, Серапион! Я же сказал:

- Прости меня, отец! И сказал святой:

- Господи, благослови!

И увидел я с неба простертую близ трапезы руку, крестом знаменующую предложенные явства. Когда же мы поели, сказал он:

- Возьми, брат это отсюда!

И трапеза была принята невидимой рукой.

И дивился я и тому, и другому: и тому невидимому слуге (то Ангел Господень бесплотный, повелением Божиим, служил ангелу во плоти, Марку преподобному) и тому, что я во все дни жизни моей не вкушал такого сладкого хлеба и прочей пищи и не пил такой сладкой воды, как за той трапезой. Тогда сказал мне святой:

- Видел ты теперь, брат Серапион, сколько благ Бог посылает рабам Своим? На всякий день посылалось мне от Бога по одному хлебу и по одной рыбе, ныне же ради тебя удвоил наш Господь трапезу и послал нам два хлеба и две рыбы. И такой трапезой питает меня Господь все время за первое мое злострадание: за тридцать лет, говорил уж я тебе, моего пребывания на этом месте, не нашел я ни одного корня растительного, которым мог бы питаться; претерпевая и голод, и жажду, от великой нужды ел я землю и пил горькую морскую воду, и ходил я и наг, и бос; и отпали от ног моих пальцы от мороза и сильного зноя; и солнце пожгло плоть мою; и лежал я на земле ниц, как мертвый; и бесы бороли меня, как Богом оставленного. Но я с помощью Божией все это терпел ради любви Его Божественной. Когда же исполнилось тридцать лет страдания моего, повелением

Божиим выросли на мне волосы, пока не покрыли, как одеждой, все мои суставы. И с тех пор и доныне не возмогли бесы приблизиться ко мне; голод и жажда не обладают мною и не тяготят меня ни мороз, ни зной, и, сверх всего, ничем я не был болен. Сегодня же кончается мера жизни моей, и послал тебя Бог сюда, чтобы святыми твоими руками упрятал смиренное тело мое.

И спустя мало времени опять сказал мне святой:

- Брат Серапион! Побудь со мною эту ночь без сна, ради разлучения души моей с телом.

И стали мы оба на молитву и пели псалмы Давидовы.

Еще сказал мне святой:

- Брат Серапион! По исходе души моей, положи тело мое в пещере этой с миром Христовым и камнями загради двери пещерные и тогда ступай восвояси, а здесь не оставайся.

Я же поклонился преподобному и начал со слезами просить прошения и, моля его, говорил:

- Отче! Умоли Бога, чтобы взял Он меня с тобою, чтобы идти мне туда, куда и ты идешь.

Отвечал мне святой:

- В день веселия моего не плачь, а возвеселися. Тебе же подобает возвратиться на место свое. Господь же, приведший тебя сюда, да дарует тебе спасение ради труда твоего и Богоугождения твоего. Знай же, что твое возвращение отсюда будет не тем следом, каким ты пришел сюда, но иным необычным шествием дойдешь ты до места своего.

И, помолчав мало времени, опять начал говорить Марко:

- Брат Серапион! Велик этот день для меня - из всех дней жизни моей велик: сегодня душа моя разрешается от страданий плотских и идет успокоиться в обители небесной. Сегодня почиет тело мое от многих трудов и болезней; сегодня примет меня свет покоя моего.

И только сказал он это, как пещера исполнилась света светлее солнца и вся гора

та - благоухания ароматного, и, взяв меня за руку, начал так говорить Марко преподобный:

- Пребудь такой же, пещера моя! В тебе пребыл телом моим, работая Богу во временной моей жизни, и опять пребудет в тебе до общего воскресения мертвое тело мое, бывшее домом болезням, трудам и нуждам. Ты же, Господи, душу мою от тела разлучи: Тебя ради претерпел я голод и жажду, и наготу, и мороз, и зной, и тесноту всякую. За то Сам Владыко, одень меня одеждой славы в страшный день пришествия Твоего. Почийте, очи мои, не дремавшие в ночных молитвах; почийте, ноги мои, утомленные от трудов ночных стояний! Отхожу я от временной жизни, всем же, остающимся на земле, желаю спасения: спаситесь, постники, в вертепах и горах скитающиеся Бога ради! Спасени будьте, трудники Божий, всякую нужду и труд терпящие ради приобретения Царства Небесного! Спаситесь, узники Христовы заточенные, правды ради изгнанные, не имеющие утешения, кроме Бога единого! Спаситесь, монастыри и лавры, работающие Богу день и ночь! Спаситесь, церкви святые, грешников очищение! Спаситесь, священники Господни, ходатаи к Богу за человеков! Спаситесь, чада Царства Христова, Христу святым крещением усыновленные! Спаситесь, христолюбцы, принимающие странников, как Самого Христа! Спаситесь, милостивые, достойные помилования! Спаситесь богатые в Господе, богатеющие в делах добрых, расточители Христа ради благ земных! Спаситесь, обнищавшие Господа ради! Спаситесь, цари благоверные и князи правдой и милосердием суд творящие! Спаситесь, смиренномудрые постники и трудолюбивые подвижники! Спаситесь, все о Христе друг друга любящие! Да будет спасена вся земля и все на ней живущие в мире и любви Христовой!

И по тех речах обратился ко мне преподобный Марко, - говорил Серапион:

- Да будешь спасен и ты, брат Серапион! Христос, ради Которого ты с упованием принял на себя труд сей, Тот да воздаст тебе воздаяние по труду твоему в день Своего пришествия!

И опять сказал мне святой:

- Брат Серапион! Заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, да не возьмешь ты чего-либо от смиренного моего тела, даже ни волоса единого, и да не прикоснется к нему какое-либо одеяние: пусть те волосы, в которые облек меня Бог, пусть они будут телу моему одеждой погребения. И ты здесь да не останешься!

И когда изрек это святый, и я рыдал, был с небес голос, вешающий:

- Принесите Мне сосуд избранный от пустыни, принесите Мне делателя правды, совершенного христианина и верного раба! Гряди, Марко, гряди, упокойся во свете радости и духовной жизни!

- Преклоним колена, брат мой!

И мы преклонили колени. И услышал я голос ангельский, говорящий преподобному:

- Простри руки твои!

Услышав тот голос, я, - говорил Серапион, - тотчас встал и, взглянув, увидел душу святого, уже разрешившуюся от союзов с плотью, покрываемую руками ангельскими одеждой белосветлою и на небеса возносимую. И увидел я путь воздушный к небу и открывшийся покров небесный... И видел я изготовившиеся и на пути стоящие полки бесовские, и голос ангельский, к бесам обращенный, говорящий:

- Бегите, сыны тьмы, от лица света правды! Удержана же была на воздухе святая та душа не более часа единого; и был с неба голос, к Ангелам вешающий:

- Возьмите и принесите сюда посрамившего бесов!

И когда преподобная душа без вреда прошла сквозь строй полков сатанинских и приближалась к небу, увидел я как бы простертую с небес руку, принимающую душу непорочную. И тут же скрылось видение от очей моих и более я уже ничего не видел. Было же это около шестого часа. И спрятал я и положил честное тело святого, и ночь ту всю провел на молитве.

Когда же настал день, сотворил я с радостными слезами над телом обычное песнопение и, облобызав его, положил в пещере, заградив двери пещеры камнями. Помолившись довольно, я сошел с горы той, с молитвой к Богу, призывая святого на помощь мне для исхождения из той страшной и непроходимой пустыни.

Когда же солнце село, я присел отдохнуть, и вот, предстали мне вновь те два отшельника и сказали:

- Воистину, брат Серапион, тело такого блаженного отца ты сегодня предал

погребению, что и мир весь его недостоин. Теперь встань и путешествуй ночью, так как воздух прохладен - днем же из-за сильного зноя тебе ходить неудобно.

Я встал и последовал за ними и путешествовал с ними до утра следующего дня. Когда же стало светать, сказали они мне:

- Брат Серапион! Иди с миром восвояси и молись Господу Богу.

И недалеко отошел я от них, и, когда поднял очи и посмотрел перед собою, то увидел, что я уже подхожу к вратам церкви, что в монастыре Иоанна великого старца. Был же я в удивлении великом и прославил громогласно Бога, и помянул я тут слова Марка преподобного, им мне сказанные: "Не тем следом, которым ты пришел ко мне, будет твое возвращение". И уверовал я, что невидимо я был перенесен сюда молитвами святого, и возвеличил я милость Преблагого Бога нашего, явленную мне по молитве и прошению преподобного отца нашего Марка, верного раба Божия.

Когда же авва Иоанн услышал мой голос, то скоро вышел навстречу и сказал мне:

- В мире с Богом ты возвратился к нам, брат Серапион!

И пошли мы с ним в церковь, и поведал я старцу и ученикам его все со мной бывшее. И все прославили Бога. Старец же сказал мне:

- Воистину, брат мой, это был совершенный христианин, а мы только именуемся христианами, делами же далеко отстоим от истинного христианства!..

*** * *<.p>**

Такова дивная и, по языческим нашим современным понятиям, сверхъестественная история, переданная позднейшим христианским поколениям со слов преподобного Серапиона Четьи-Минеями Православной Церкви.

Творим ли мы дела самоотвержения ради любви Искупителя, подобно Марку Фраческому? От мала до велика подобны ли мы великому старцу Иоанну, в смирении своем сказавшему, что он уже считает себя христианином только по имени, а делами далеко отстоит от истинного христианства?

Что же мы про себя-то скажем? Лучшие из нас, наиболее совершенные! Что вы про себя-то скажете?.. И когда нам слышится адский голос отступничества,

вопиющий, что христианство дискредитировано, скажем себе: "Узнаем в устах человеческих уста апокалипсического зверя, говорящие гордо и богохульно, того зверя, которому дано вести войну со святыми и победить их, и которому поклонятся все живущие на земле, имена коих не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира" (Откр. 13).

Повесть о пяточисленных молитвах

От времен апостольских христиане всех веков, приступая ко всякому труду, начинали его молитвою, а окончание его тоже освящали молитвенным славословием Господу, о Нем же живем и движемся, и есмы. Поступим же и мы так с тобой, мой боголюбивый читатель!

Но не имея дара творческой молитвы, вспомним и запечатлеем в своей памяти то, что некогда вознеслось ко Господу из вдохновенного благодатью Всесвятого Духа сердца великого молитвенника Русской земли, иже во святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского и Ярославского. Я уверен, что и для тебя, как и для меня, предлагаемая твоему вниманию "Повесть о пяточисленных молитвах" - творение великого святителя, будет радостной и многополезной новинкой, особенно, по тем дивным обетованиям, которые она в себе заключает.

Так прослушай эту повесть, дорогой мой читатель! Я уверен, что ты не посетуешь на меня за то, что предлагаемое в этой "повести" новое - не мое и не новое, а только основательно и накрепко позабытое. Прости, что я встряхнул ею пыль веков: но эта пыль святая...

* * *

Один старец от богоносных отцев, стоя на молитве и быв в восторге, слышал глас Господа нашего Иисуса Христа, глаголющий с Пречистою и Пресвятою Богородицею, Материю Своею, рекши к Ней:

- Рцы Мне, Мати Моя, колико болезней наибольших, живущи на свете, претерпела еси Мене ради?

И рече Пресвятая:

- Сыне и Боже Мой! Наибольших пять болезней Тебе ради претерпела: первая - егда услышала от Симеона Пророка, еже имел еси убиен быти; вторая - егда, ищущи Тебе во Иерусалиме через три дня, Тя не видела есмь; третья - егда Тя

поймана и связана от жидов услышала; четвертая - егда Тя на кресте между разбойниками Распятого видела; пятая - егда Тя видела во гробе полагаема.

И рече к Ней Господь:

- Глаголю Тебе, Мати Моя: аще кто каждую болезнь Твою на кийждо день прочтет с молитвою Моею, сие есть "Отче наш" и Архангельское обрадование, сие есть "Богородице Дево, радуйся" - за первую болезнь дам ему познание грехов и жаление о них; за вторую - дам ему всех грехов прошение; за третью - возвращу ему добродетели его, чрез грехи изгибшия; за четвертую - напитаю его, при смерти его, Телом и Кровию Моею Божественною; за пятую - явлюся ему Сам при смерти его и прииму душу его в живот вечный. Аминь.

* * *

По видению этого богоносного старца святителем Димитрием Ростовским было сложено нижеследующее молитвословие.

Начало к сим пяточисленным молитвам.

"Слава Тебе, Христу Богу моему, не погубившему мя грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехом моим потерпевшему". Поклон.

"Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам; даруй ми, Господи, да ни словом, ни делом, ни помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго имени Твоего". Поклон.

"Боже, милостив буди мне, грешному, во всей жизни моей: во исходе моем и по кончине моей не остави мене".

Поклон.

Сие, падши ниц на земли, глаголи: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими умершаго мя душею и умом, приими мя грешнаго, блудника, сквернаго душею и телом, отыми неприязнь безстудную и не отврати Лица Твоего от мене, не рцы, Владыко: не вем, кто еси, но вонми гласу моления моего: спаси мя, яко имеяй множество щедрот и не хощеши смерти грешника. Не оставлю же Тя, Создателя моего, и не отступлю от Тебе, дондеже послушаеши мя и даси всем грехом моим прошение, молитв ради Пречистыя Матери Твоея, представительства честных Небесных Сил Безплотных, святаго, славнаго Ангела

хранителя моего, пророка же и Предтечи Твоего, Крестителя Иоанна, богоглаголивых апостол, святых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец наших и всех твоих святых, помилуй и спаси мя грешнаго. Аминь".

"Царю Небесный. Трисвятое. Отче наш. Яко Твое есть Царство и Сила, и Слава во веки, Аминь. Богородице Дево, радуйся".

По сем: *Молитва первая*

"О, Мати Милосердая, Дево Марие, аз грешный и непотребный раб Твой, воспоминаючи Твоя болезни, егда Ты услышала еси от Симеона Пророка о немилостивном убиении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, приношу сию Тебе молитву и Архангельское обрадование, приими в честь и память болезней Твоих и умоли Сына Твоего - Господа нашего Иисуса Христа, да дарует ми познание грехов и жаление о них". Поклон.

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

Молитва вторая

"О, Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице, Мати и Дево, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда позабыла Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в церкви и через три дни Его не видела еси; умоли Его и испроси у Него всех грехов моих прошение и оставление, Едина Благословенная".

Поклон.

Отче наш. Яко твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

Молитва третья

"О Мати Света, Преблагословенная Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, поймана и связана слышала еси. Умоли Его, да возвратит мне добродетели, чрез грех изгибшие, да Тя, Пречистая, во веки величаю".

Поклон.

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

Молитва четвертая

"О милосердия Источниче, Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда на кресте между разбойники видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Егоже умоли, Владычице, да подаст ми дар милосердия Своего в час смерти моея и да напитает мя Телом и Кровию Своею Божественною, да Тя, Заступницу, славлю во веки". Поклон.

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

Молитва пятая

"О надежно моя, Пречистая Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, во гробе полагаема, Егоже умоли, Владычице, да явится мне в час смерти моея и да приимет душу мою в живот вечный. Аминь". Поклон.

"О, Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадолюбивая Горлице, небесе и земли Самодержавная Царице, любезная Приемнице всех простирающих к Тебе свои мольбы, печальных Утешительнице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, пяточисленное мое сие моление, в немже воспоминаю земные и небесные Твои радости, умильно вопиюща к Тебе сице:

(Земные радости): Радуйся, Зачеснная во чреве без Семене Христа Бога нашего. Радуйся, во чреве без болезни Носившая Того. Радуйся, Порождшая чудным смотрением. Радуйся, Восприимшая от волхвов-царей дары и поклонение. Радуйся, яко обрела еси посреди учителей Своего Сына и Бога. Радуйся, яко Рождество Твое преславно из мертвых воста. Радуйся, Видевшая возносящегося Своего Создателя, к Нему же Сама душею и телом восшла еси.

(Небесные радости): Радуйся, девства ради Своего, паче Ангел и всех святых Преславная. Радуйся, близ Пресвятой Троицы Просияющая. Радуйся, Миротворице наша. Радуйся, Властительнице, обладающая всеми Небесными Силами. Радуйся, паче всех дерзновение к Сыну и Богу Своему имущая. Радуйся, Милосердая Мати всем, к Тебе прибегающим. Радуйся, яко Твое

веселие во веки не скончается!

И мне, недостойному, по неложному обещанию Твоему, в день исхода моего Милостива предстани, да Твоим руководством управлен буду к горнему Иерусалиму, в немже прославленно царствуеши с Сыном Твоим и Богом нашим, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и с Пресвятым Духом в бесконечные веки веков. Аминь.

От скверных устен моих и от мерзкого сердца, от нечистого языка и от души оскверненной приими. Госпоже Царице, сие похваление, Радосте моя. Приими, яко же вдовий прияла еси две лепты, и даруй ми принести Твоей благости дар достоин, о, Владычице моя, Пречистая Дево, Небесная Царице, якоже хочеши и волиши. Паче же и научи мя, что ми подобает Тебе, Матери Божией, глаголати и к Тебе, Единой грешных Прибежищу и Утешению. Радуйся, Владычице, да и аз многогрешный раб Твой радостно зову Тебе, Всепетой Матери Христа Бога нашего. Аминь.

На Твой пресвятый образ взирая, яко истинную Самую Тя зрю Богородицу, верою сердечною и любовию от души припадаю и поклоняюся с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом, боголепно почитаю и молю Тя со слезами, покрый мя Покровом Твоим от враг видимых и невидимых, Ты бо род человеческий ввела еси в Царство Небесное. Аминь!"

По сем:

"Достойно есть, яко воистину..." Слава и благодарение Господу за все!

* * *

Уже кончал я записывать святые молитвы великого святителя Димитрия, как пришла ко мне одна простенькая слепенькая старушка и, узнав, что я пишу и уже кончаю "Повесть о пяточисленных молитвах", сказала мне:

- Знаешь ли ты, трудник Божий, силу того, что ты пишешь?

- Знаю, бабушка, одно, что молитвы это святые, и силу молитвы всякой знаю, - ответил я старушке.

- Ну, так вот, - сказала она мне - послушай, что я тебе скажу: жила в Костроме у нас барыня одна, а звать - Сарра Димитриевна, госпожа Турыгина. Богатейшая

она была барыня и моя благодетельница. У нее был в Костроме дом большой, что теперь под Духовной Семинарией, да и капитал значительный. Так вот, когда у нее умер муж, то она все свое имущество распродала, а капитал обратила в наличные денежки, а денежки эти самые поворотила на дела богоугодные. Вишь, собор-то Бабаевский: в нем ровнехонько, как копеечка одна, ее сто тысяч сидят... И пошла после того моя барыня Сарра Димитриевна, благодетельница, в Горицкий Девичий монастырь, где и поднесь живет великой молитвенницей и затворницей; годков-то ей теперь близ девяноста, а то поболе.

Пришла когда Сарра Димитриевна в Горицкий монастырь, чу*, то посетил ее Господь великой Своей милостью: ослепла моя Сарра Димитриевна на оба глазочка. И позавидовал ей враг нашего спасения, и взялся люто нападать на нее, рабу Божию: и стала всего бояться Сарра Димитриевна. Мышка ли проскочит, мушка ли прозвенит, а то и нет ничего, а Сарру Димитриевну такой страх берет, что и деваться некуда... И пожалела ее одна древняя старушка-монахиня, и стала читать ей на каждый день пяточисленные-то молитвочки святителя Димитрия Ростовского: весь страх той-то, весь у Сарры Димитриевны и прошел... Вот, батюшко ты мой, какова сила этой молитвы-то великой!

_____

* Костромское присловье.

_____

Да послужит же мой малый труд в наше лютое и многобедственное время всякого страха во утешение и успокоение сердца верующего православного читателя!

Впервые опубликовано: Нилус С. Сила Божия и немощь человеческая. ч. 1-2, Сергиев Посад, 1908.

Нилус Сергей Александрович (1862 - 1929), религиозный писатель и общественный деятель.